

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

ГОСПОЖА БОВАРИ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Госпожа Бовари
Гюстав Флобер

Аннотация
Гюстав Флобер. Госпожа Бовари
Предисловие
1
2
3
4
5
6
Часть первая
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Часть вторая
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Часть третья
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Примечания

Аннотация


ГЮСТАВ
ФЛОБЕР
Роман «Госпожа Бовари», в свое время осужденный за покушение на общественную мораль, вот уже полтора столетия потрясает и восхищает читателя.
Разрушены мечты об «идеальном браке», выдуманный Эммой «принц» оказался скучным провинциальным врачом, и она, задыхаясь в унылом безотрадном замужестве, от отчаяния принялась искать счастья в «романтичных» любовных связях... Такова сюжетная завязка одного из самых значительных произведений в истории французской литературы – много раз экранизированного шедевра о «маленькой трагедии» молодой женщины.

Гюстав Флобер
Госпожа Бовари

Предисловие

1

Из пяти книг, напечатанных Флобером за его шестидесятилетнюю жизнь, только две — «Госпожа Бовари» и «Воспитание чувств» — посвящены современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями: 1830 и 1848 годов. Они-то и сыграли наибольшую роль в истории европейских литератур и остались в памяти нашего читателя.

Жизнь Гюстава Флобера не богата событиями. Родился он в Руане в 1821 году в семье врача и с детских лет страстно увлекся литературой. По настоянию отца он принужден был поступить на юридический факультет Парижского университета, но юридическими науками заниматься не хотел. Вскоре он заболел тяжелой болезнью, сопровождавшейся припадками, ушел из университета и поселился в своем поместье Круассе на берегу Сены, поблизости от Руана. Здесь он работал, почти но отрываясь от письменного стола, в течение дней, месяцев и лет. В последние годы жизни он изредка позволял себе поездку в Париж для встречи с друзьями и посещения библиотек. Иногда он совершал

путешествие — на Восток, в Египет, переднюю Азию и Грецию, — и в Африку, чтобы изучить пейзажи, среди которых развивалось действие его романа «Саламбо». Франко-прусская война, повергшая его в отчаяние и возбудившая в нем патриотические чувства, которых он в себе не подозревал, заставила его выехать из Круассе, где стояли постоем немецкие войска. По окончании войны, после Парижской коммуны, смысла которой он не понял, началось все то же: отвращение к современности, вызванное, с одной стороны, непониманием тех прогрессивных процессов, которые происходили в стране и во всей Европе, с другой — жестокой реакцией, подавлявшей всякую свежую мысль и обрекавшей Францию на долгий застой. Флобер умер в 1880 году, задохнувшись во время сердечного припадка.

2

Свою литературную деятельность Флобер начал совсем еще мальчиком. Чуть ли не с двенадцатилетнего возраста он начал писать — сперва на исторические темы, затем на современные.

Это было в тридцатые годы. После реакции, последовавшей за Июльской революцией, и торжества крупной финансовой буржуазии в широких кругах французского общества и особенно среди мелкой буржуазии распространялось глубокое недовольство. Действительность представлялась в самом мрачном свете, многочисленные восстания республиканцев, рабочих, доведенных развитием капитализма до страшной нищеты, подавлялись с необычайной жестокостью, и надеяться на лучшее будущее, казалось, не было оснований. Пессимистические настроения получили свое выражение в так называемой «литературе отчаяния», или «неистовой школе», сказавшейся и на русской литературе этого времени и получившей название «неистовой словесности».

Еще в юношеском возрасте Флобер усвоил республиканские взгляды, ненавидел монархию

Луи-Филиппа и жаждал новой, демократической революции. Он также приходил в отчаяние, отдал дань «неистовой школе» и написал ряд произведений совершенно в духе этой школы. Только в начале 1840-х годов он попытался избавиться и от отчаяния, и от мрачных сюжетов, заполнявших его юношеские произведения. В 1845 году он закончил роман под названием «Воспитание чувств», который не имеет ничего общего с романом, напечатанным под тем же названием в 1869 году.

В этом первом «Воспитании чувств» обнаруживается новое отношение к жизни и некоторое освобождение от «неистовой» литературы и «отчаянного» пессимизма. Двадцатидвухлетний Флобер высказывает идеи, которые в то время широко распространялись в демократически настроенных кругах и были оппозиционно направлены по отношению к правительству. Он убежден в том, что материя и дух, а следовательно, психическая и физическая жизнь составляют нерасторжимое единство. Он рассматривает мир как процесс, определяемый «законами природы», с которыми человеку бороться не дано. Он не верит в прогресс, во всяком случае, в прогресс буржуазный, не верит и в возможность создать

новое, справедливое общество средствами политической борьбы и социальных реформ. Но он твердо уверен в том, что человек может познать законы мировой жизни, что искусство, так же как наука и философия, должно быть не пустым развлечением, а прежде всего познанием, тем более полным и глубоким, что оно выражает общие закономерности жизни в чрезвычайно конкретной, зримой, почти осязаемой форме.

Житейское благополучие, счастье чувств, мещанское эгоистическое счастье, по мнению Флобера, обманчиво и недолговечно, как дом, построенный на песке. Подлинное счастье можно найти только в познании, в искусстве, которое избавляет от житейских бед и лжи и, вскрывая до конца законы существования, помогает преобразовывать мир и приводить общественную и личную жизнь в соответствие с незыблемыми законами бытия.

Литература не должна выражать личные чувства автора, — она должна изображать реальный мир и истины более общего плана. Флобер ищет объективного, бесстрастного, даже безличного искусства, потому что субъективные волнения художника, вызванные толчками и случайностями жизни, могут только затемнить познание,

замутить чистый источник вдохновения и исказить истину, понятную, обязательную и неизбежную для каждого.

«Объективное», «бесстрастное», «безличное» искусство, как его понимал Флобер, отнюдь не исключает ни страсти, ни личности писателя, ни тем более оценки того, что он изображает. «Безличным», по мнению Флобера, искусство должно быть в том смысле, что художник изображает не свои личные страсти, а страсти своих персонажей, которые должны быть объяснены до конца обстоятельствами их жизни, среды, в которую они заключены, общества, которое их создало, извратило или замучило, — законами их общественного существования. В переживаниях персонажей не должно быть ничего случайного, беспричинного, все должно быть объяснено неизбежными силами объективного, общественного и материального мира. Судьба героя может взволновать читателя только в том случае, если его поступки и бедствия даже в самой их нелепости будут закономерны и неотвратимы. «Бесстрастие», о котором говорит Флобер, не значит, что роман должен быть лишен страсти. Так же, как человек не может жить без страстей, желаний, потребностей души и тела, так не может быть

бесстрастным и персонаж художественного произведения. Но читатель должен чувствовать в романе но страсть художника, а страсть персонажа — только тогда, по мнению Флобера, читатель «поверит» в эту страсть и воспримет ее как непреложную истину.

«Объективное» искусство требует отсутствия автора в его произведении. Автор не должен сообщать своему читателю, что такой-то его персонаж положительный, а другой — отрицательный, что одному нужно подражать, а другого презирать или ненавидеть. Как только читатель обнаружит в произведении некую поучительность, желание навязать ему «точку зрения», он увидит за персонажем и событиями романа произвол сочинителя, действия и переживания персонажа покажутся выдумкой, и произведение искусства перестанет существовать.

Но «объективность» не исключает оценки. Общественная и, следовательно, нравственная ценность искусства, всего поведения героя или мотивов, которые им движут, сама по себе есть нечто объективное, свойственное изображаемым в произведении людям и обстоятельствам. Автор неизбежно, в меру своего понимания действительности, своего проникновения в изоб-

ражаемое, определяет его ценность, и читатель воспринимает это как свойство предметов, существующее в реальном мире, независимо от воли автора.

Таковы основные положения новой эстетики Флобера. Свое понимание искусства и творчества он разрабатывал и совершенствовал в течение всей жизни, осуществляя его в каждом своем произведении особыми средствами, в зависимости от поставленной задачи и от особенностей изображаемого материала.

3

Чувствуя отвращение к своей современности, Флобер страстно интересовался экзотикой, древним, доисторическим Востоком, нравами и верованиями варварских народов, далеких от цивилизации, древним Римом, который он тоже рассматривал как варварскую, хотя и героическую эпоху. И тем не менее он не мог оторваться от своей современности. Два самых замечательных его романа посвящены эпохе, которую он знал по собственному опыту. Первым его печатным произведением была «Госпожа Бовари».

В маленьком городке Ионвиле нет ничего экзотического. Затхлое существование мещан, напоминающее, по словам Флобера, существование мокриц, убожество интересов и идей — все вызывало нестерпимую скуку и желание бежать куда глаза глядят. Замысел «Госпожи Бовари» Флобер вывез с Востока, где путешествовал в течение двух лет. Начал он свой роман в 1851 году, еще не остыв от сильнейших впечатлений, пейзажей и нравов Востока, и закончил в 1856 году. Тогда же роман был напечатан в журнале «Ревю де Пари». Некоторые его сцены, — да и все изобра-

жение французской действительности, — имели столь мрачный и прямо разоблачительный характер, что государственный прокурор счел нужным привлечь Флобера к суду за оскорбление общественной нравственности. Суд оправдал его, и «Госпожа Бовари» появилась в свет отдельным изданием в 1857 году.

Когда после Июльской революции жанр исторического романа потерял свою прежнюю актуальность и на смену ему пришел роман из современной жизни, стали говорить о чрезвычайных трудностях этого нового жанра. Он труден потому, что современность лишена резких контрастов: все носят одинаковые костюмы, все говорят приблизительно одинаково и одинаково обращаются друг к другу с обычным «сударь» и «сударыня». Затем писатели заметили, что это однообразие представляет особый интерес; конечно, все носят непременный черный костюм и подчиняются тем же правилам приличия, но оттенков в поведении и мышлении куда больше, чем в примитивном средневековье. Современность предоставляет художнику неограниченные возможности исследования, угадывания и творчества. Так говорил и Бальзак. Флобер словно поставил себе задачей обнару-

жить в этой тоскливой действительности тайны души и оттенки нравов, поражающие своими еще не изученными глубинами. Нужно было только принять это мещанство и эту пугающую пошлость как неизбежность и обнаружить в них то, что захватывает читателя в романах из средневековой жизни, в сказках «Тысячи и одной ночи», в приключенческих и «страшных» повестях. Дело в оттенках, а не в кричащей пестроте красок, и чтобы написать действительность, нужен тончайший психологический анализ, опирающийся на знание современного общества.

Флобер выбрал пошлый сюжет, много раз трактовавшийся в литературе, — историю супружеской измены, обычный адюльтер в глухой провинции. Был ли у Флобера какой-нибудь бытовой источник, или он построил свой сюжет из многих житейских и литературных воспоминаний, не поддающихся точному учету, — вопрос несущественный. Важно другое: Флобер вложил в него такое глубокое содержание и придал ему такой общий смысл, что роман оказался словно формулой современной души и общества эпохи Июльской монархии. Трагедия обыкновенной провинциальной дамы, мещанки, не отличающейся ни образованием, ни умом, под его руками

стала трагедией каждого человека, взыскующего лучшей жизни, более высокого счастья и другой действительности.

Европейская литература давно уже знала героев, не принимавших мира, в котором они существовали, протестовавших против его законов, его несправедливости и его зла. «Фауст» Гете создал целую школу так называемой «символической» драмы, получившей особое развитие после буржуазной революции конца XVIII века. «Каин» Байрона, «Прометей раскованный» Шелли, «Эмпедокл» Гельдерлина, десятки других произведений в стихах и в прозе разрабатывали ту же проблему и ту же «болезнь», которую называли «болезнью века». Но все эти герои были «сверхчеловеками», взятыми из мифа и легенды. Прометей был титаном, Эмпедокл — великим философом, Фауст — ученым, разочаровавшимся в науке, Каин — сыном первого человека и легендарным братоубийцей.

Затем этот герой стал «очеловечиваться». Он получил общественное положение, биографию, среду, которая его создала и воспитала. Из Каина вырос Жюльен Сорель, герой «Красного и черного», честолюбивый плебей, наследник революционеров 1793 года, и Вотрен из «Отца

Горио». Флобер сделал следующий шаг. Он не хотел делить людей на «великих» и «малых», сверхчеловеков и чернь. Задача для него заключалась в том, чтобы обнаружить в каждой живой душе ту же жажду лучшего, неудовлетворенность тем, что есть, условиями существования, противными природе человека. Он продолжал то, что с такой принципиальностью делала Жорж Санд, нашедшая в социальных «низах» стремление к общественной справедливости, тоску по идеалу и прометеевскую жажду пожертвовать собою ради спасения человечества. Но герой ее романа «Странствующий подмастерье» (1841) краснодеревщик Пьер Югенен, влюбленный в графиню, был героем в подлинном смысле слова, готовым на подвиг ради других Флобер понимал протест как свойство если не всех, то многих, но он не любил идеальных героев. Его героиня была так же эгоистична и так же пошла, как и все ее окружение, а идеал, которого она искала, обретал смешные и тоже пошлые формы, подсказанные модной современной литературой. Он сделал ее жалкой прелюбодейной женой, не разглядевшей за уродством действительности вечно живых нравственных ценностей.

Симпатизировал ли Флобер своей героине?

Хотел ли он окружить ее неким ореолом? Или осудить за бессердечие и эгоизм, который привел ее к несчастью, безумию и смерти? Очевидно, Флобер ставил перед собой другую задачу.

Истина, по его мнению, должна заключать в себе все противоречия. Показать человека только с одной его стороны, положительной или отрицательной, значит произвести абстракцию и скрыть правду. Поэтому он не хочет ни оправдывать, ни осуждать, он только показывает и объясняет человека таким, каким его создало общество и его законы. Бунт Эммы Бовари — а это настоящий и несомненный бунт — принимает уродливые, эгоистические и даже отвратительные формы, потому что и самый бунт, и его формы обусловлены обществом, средой, провинцией, нравственным уровнем ее жителей, умственным уровнем современных ей французов, ложью, царящей повсюду, и необходимостью одновременно и принять эту ложь, и бороться с нею, чтобы жить. Такова тайна центрального образа романа и причина того, что Эмма Бовари вызывает у читателя одновременно раздражение и мучительное сострадание. Жажда счастья и отвращение к супу семейного обеда за семейным столом вызывают неосуществимые мечты, приводящие ее к гибели.

Полной противоположностью госпоже Бовари является ее муж, которым роман начинается и заканчивается. Он не блещет ни умом, ни остроумием, ни образованием, не стремится к более высокому положению, не рвется в Париж, не читает романов. Заурядный провинциальный лекарь, он счастлив тем, что имеет, и, повторяя слова Пушкина, доволен «своим обедом и женой». И все же это герой высоких душевных качеств. У него тоже есть своя мечта, есть и свой долг, которого не ощущала госпожа Бовари, жаждавшая только своего личного счастья. Он нашел свое счастье в Эмме и потерял его вместе с нею. В течение всего романа он переживает это счастье в полном удовлетворении жизнью — и в полном противоречии со своей женой, так и не нашедшей удовлетворения ни в чем. Шарль Бовари трогателен в своей вере и любви, он готов на любую жертву ради жены, — и вместе с тем смешон своей удовлетворенностью, ограниченностью и убожеством мысли.

Так предстают перед нами два главных героя — убогими, жалкими в своем счастье н беде, в своем эгоизме и в своей жертвенности, в непонимании того, что происходит с ними и вокруг них. И каждый из них вызывает сострадание, которое

оправдывает всякого человека, бедствующего в этом плохо организованном обществе.

Другие персонажи, пожалуй, не менее выразительны и не менее типичны. Аптекарь Оме — персонаж почти символический. Это персонифицированная пошлость эпохи, это торжествующий Калибан из шекспировской «Бури», но вполне человекообразный, «прогрессивный», «либеральный» и «просвещенный». Орден Почетного легиона и «победа» над слепым нищим, которого наконец «заперли» в богадельню, придают этому наивному, преуспевающему и гадкому персонажу зловещий и угрожающий смысл: это самовлюбленное мещанство, определяющее характер целой эпохи и ведущее страну к духовной и политической гибели.

И чтобы показать другую сторону буржуазного общества, Флобер ввел в свой роман эпизодический персонаж, страшным призраком прошедший сквозь действие, — Катрину Леру, батрачку, получившую за пятидесятилетнюю службу на одной и той же ферме серебряную медаль ценою в двадцать пять франков. Нищая, измученная, отупевшая от непрерывного труда старуха превращает фарс сельскохозяйственной выставки в жестокую трагедию.

Так торжествует в романе «бесстрастность», полная яростного негодования, и потрясающая правда этого действительно объективного изображения. Флобер, боровшийся с «тенденцией» и проповедовавший независимость литературы от политики, создал необычайно острый в политическом смысле роман, настолько злободневный и разоблачительный, что по глубине сатиры и силе идеологического воздействия во французской литературе XIX века трудно было бы найти что-либо подобное.

4

Едва закончив «Госпожу Бовари», Флобер принялся за новый роман, о котором мечтал задолго до возникновения замысла. Из отвращения к современности, как он уверял, он взял сюжет из дохристианской эры и неклассической цивилизации. «Саламбо», потребовавшая огромного труда, была начата в 1857 году и вышла в свет в конце 1862 года.

Это был отдых от современности. Карфаген III века до нашей эры: множество племен и народов Африки, Азии и Европы, зверские религии, нечто чудовищное в правах, инстинктах, сознании варваров и наряду с этим колоссальное событие в истории античного мира — уничтожение Карфагенского государства и утверждение римского владычества на всем Средиземноморье.

Несмотря на замечательные достоинства романа, впервые в художественной литературе «открывшего» психологию варвара отдаленных и малоизученных эпох, «Саламбо» имела очень небольшой успех. Изображенные в ней нравы оказались непонятными и даже смешными читателям и особенно критикам. В журналах

печатались пародии, карикатуры и стишки, высмеивавшие героев и их поступки. И все это свидетельствовало о том, что исторический жанр, воскрешающий чуждые цивилизации, был для французской литературы пройденным этапом. Читатели интересовались только своей современностью, более доступной их пониманию и более важной для дальнейшей практической деятельности.

«Современность мне так же противна, как и прежде, — писал Флобер, закончив „Саламбо“. — От одной только мысли, что я буду описывать мещан, меня тошнит... Вдохновляться господами и дамами у меня больше нет сил». И все же через несколько дней после выхода в свет «Саламбо» он уже разрабатывал план «современного парижского романа», который был назван «Воспитанием чувств». Работа над новым произведением продолжалась семь лет и закончилась в мае 1869 года.

«Жизнь должна быть непрерывным воспитанием, — писал Флобер за три месяца до окончания романа. — Всему нужно учиться, учиться говорить, так же как учиться умирать».

«Воспитание», очевидно, понимается здесь как утрата иллюзий. Под ударами опыта герой

должен понять тщету своих стремлений и невозможность «практического» счастья.

«Я хочу написать нравственную историю людей моего поколения, вернее было бы сказать, историю их чувств», — пишет Флобер. Лучше, чем кого-либо из своих современников, Флобер знал самого себя. Может быть, эта «нравственная история поколения» является историей самого Флобера? Буржуазные критики твердят это в один голос и, конечно, заблуждаются.

В ранней юности Флобер был «бесконечно влюблен» и рассказал об этой любви в одной из своих юношеских повестей. Госпожа Арну и ее муж напоминают подробностями своей семейной жизни госпожу Шлезенжер, предмет юношеской страсти Флобера, и ее мужа. Но это не делает роман автобиографическим и никак не объясняет его проблематику. Герой романа представляет собою прямую противоположность Флоберу. Создав этот персонаж, Флобер вступал в полемику с неприемлемыми для него эстетическими теориями, политическими тенденциями, с самым характером мышления современного ему мещанства. В образе Фредерика он хотел создать нечто типическое, обобщенное, свободное и от личных чувств, и от случайного портретного

сходства. Он мог пользоваться любым материалом своей современности — эпизодом из жизни своего знакомого, каким-нибудь художественным произведением, газетной статьей, фактом политической истории или скандальной хроники, но весь этот «материал», или «воспоминания», или «заимствования» были включены в роман для того, чтобы доказать нужную Флоберу проблему, осмыслить и изобразить особенности и закономерности эпохи.

Фредерик, несомненно, неудачник. Но дело не в этом. Дело в причинах, которые сделали его неудачником. Эти причины — в нем самом, в характере его сознания, в его взглядах на жизнь, в непонимании действительности.

Но эти взгляды и это непонимание свойственны не только ему одному — так же, как во всех своих произведениях, Флобер не хочет здесь отделить личность от общества, хотя в иных случаях его герой противопоставлен среде.

Иногда говорят, что в образе Фредерика Флобер разоблачил романтизм. Но думать так нет никаких оснований. Флобер вступает в борьбу не с романтизмом, который как литературная школа был и прошел, но с эпохой, длившейся дольше, чем романтическая школа, и включавшей в себя

много литературных, философских и политических направлений, — с эпохой, которой сам он был свидетелем. На своем веку Флобер видел несколько революций. Он родился при Реставрации Бурбонов, пережил Июльскую революцию и Июльскую монархию, Февральскую революцию, декабрьский переворот 1851 года и теперь наблюдал Вторую империю, «эпоху безумия и позора», по определению Эмиля Золя, близкую к своему концу.

Он был республиканцем еще тогда, когда писал свои первые детские повести. Он радовался Февральской революции, надеясь, что новая республика сделает что-нибудь доброе для населения страны. И после каждой революции наступала реакция, после взрыва надежд — разочарование и отчаяние.

Основной и самый страшный грех современности, по мнению Флобера, — это субъективизм, отсутствие всякой системы, всякой научности мышления, нежелание считаться с разумом, с логикой, недоверие к знанию. Люди не привыкли и не хотят мыслить. Они больше верят чувству, «сердцу», «первому движению». Они дурманят себя словами, которые вызывают приятное волнение, по не заключают в себе никакого содер-

жания. Все бедствия, обрушившиеся на Францию в течение столетия, позорные предательства и политические мошенничества — все это, по мнению Флобера, свидетельствует о нежелании научно мыслить и о торжестве «личного» начала, то есть произвола и умственной анархии. Предоставив полный простор «чувству», отдаваясь любому порыву, волнению минуты, французы закрыли себе возможность систематического труда и объективного, научного познания действительности. Этот произвол и «ячество», покорность любой эмоции, вспыхнувшей по тому или иному случаю, получили свое отражение и в теории «личной поэзии», которая раздражала Флобера в творчестве Мюссе и Ламартина.

В общественной деятельности это «ячество» приводит к обожествлению своего личного интереса, который заслоняет более широкие горизонты интереса общего. Это психология собственника.

Не веря в возможность социальной революции, но понимая классовую природу политики буржуазии, идущей к своему господству, Флобер рассматривал личный интерес, страсть к чистогану как недостаток «научности», как личную и классовую ограниченность. От этого порока,

по мнению Флобера, можно излечиться при помощи одной только науки, без каких-либо коренных социальных преобразований. Причина всех преступлений, совершенных буржуазией в 1848 году, полагает он, заключается в хаосе неорганизованной мысли, в сутолоке мнений, одинаково нелепых, потому что произвольных и научно необязательных, в непонимании другого человека и в фанатизме личного интереса. Вся Франция больна одной болезнью, индивидуализмом, который равен глупости, а единственно возможное спасение — выход за пределы своего интереса, своего эгоизма в область научного познания, которое создаст право, справедливость и великую новую культуру.

Это отвратительное «ячество» сквозит в разговорах перепуганных буржуа в салоне Дамбрёза и других персонажей романа. Делорье доказывает свои взгляды аргументами логики, он верит в то, что говорит, — и меняет свои убеждения, когда это оказывается выгодно. Художник Пеллерен ненавидит власть не потому, что она плоха, а потому, что его произведения не попадают на выставку. Драматург Юсоннэ ненавидит актеров с тех пор, как его пьеса была отвергнута театральным комитетом. Если она будет принята,

он изменит свои симпатии и взгляды. Защита собственности ссылкой на льва, «который, если бы смог заговорить, объявил бы себя собственником», и гнев коммерсанта, который желал задушить Прудона, «и задушил бы, если бы мог», — все это омерзительное и глупое изображено с необычайной правдивостью. Лучше, чем кто-либо другой из современных ему писателей, Флобер обнажил классовую природу политических мнений и заинтересованность идеологий. Он показал, что искажение действительности в классовом сознании буржуазии приводит к абсурду и несчастьям, терзающим Францию. И чем острее классовая борьба, чем очевиднее опасность, угрожающая буржуазным интересам, тем полнее торжествует «чувство» и парализуется «понимание». После страхов, испытанных буржуазией в 1848 году, пишет Флобер, даже «умные люди... на всю жизнь остались идиотами».

Фредерик Моро — представитель и жертва того же индивидуализма. Его поступки и мысли произвольны. Он мыслит штампами, «общепринятыми идеями», и ему не приходит в голову проверить их разумом. И себя он рассматривает сквозь те же распространенные в его время штампы. Чтобы создать великие произведения

искусства, нужно любить, думает он, — и пишет романы и картины, уповая на свою любовь к госпоже Арну. Разорившись, он надеется, что нужда сделает его великим человеком, и радуется разорению. Он рассчитывает получить портфель министра по протекции почти неизвестного ему банкира Дамбрёза. Во время революции, сочувствуя восставшим, он, однако, бросается в атаку только потому, что рассердился на солдат, которые, как ему казалось, целили в него. В июньские дни Фредерик гуляет с Розанеттой по парку Фонтенебло, и восстание ему, так же как Розанетте, кажется пустяком в сравнении с их ничтожной любовью. И у Фредерика «познание» определено «чувством», — желаниями, мечтами, штампованными идеалами мелкобуржуазного интеллигента. И он тоже несвободен, заключен в круг своего эгоизма, он тоже не может выйти за пределы своего интереса. Единственное, чем он отличается от окружающей его толпы персонажей, это его постоянное в приливах и отливах чувство к госпоже Арну.

После появления «Госпожи Бовари» и «Саламбо» критики упрекали Флобера в том, что у него нет ни одного положительного или хотя бы симпатичного героя. В «Воспитании чувств» Флобер

создал наконец симпатичный образ, задуманный как верх женского совершенства. Госпожа Арну живет в обстоятельствах, которые определяют ее жизненную позицию и нравственную задачу. Она пытается спасти свою семью великими жертвами. Она несет свое бремя безропотно, с восторгом принимает крохи счастья, выпавшие на ее долю, противостоит искушениям и не хочет ничего менять, так как не в этом видит свой долг. Она восхищена Фредериком, а он изменяет и лжет ей. Она принимает оскорбления как ежедневную пищу и не смеет никого обвинять в изменах и лжи, прозревая иногда утешающую ее правду — невысказанную любовь Фредерика.

В поведении Фредерика ложь и правда вступают в удивительные сочетания. Будучи честным юношей, он лжет всем своим близким и живет в постоянном самообмане. Он кому-то признается в любви, но это не любовь, а иллюзия. Он любит, но отказывается от любви. Он сам не знает, что он чувствует, и совершает поступки, неожиданные для себя самого. Может ли если не Фредерик, то хотя бы сам автор объяснить причины этой непоследовательности, этих внутренних противоречий, из которых так трудно найти выход?

Конечно, эти противоречия — не оплошность и

не ошибка Флобера. Путаница чувств, мучащих его героя, говорит не о том, что в душе человека ничего нельзя понять и ничему нельзя верить; Флобер не случайно пришел к таким психологическим парадоксам. Его тонкий анализ — новый метод психологического исследования, связанный с современной Флоберу наукой.

Исходя из своего основного положения — единства материи и духа, психиатры, физиологи и философы утверждали, что никакой психический процесс невозможен без движения нервных клеток. Из этого они делали вывод, что любая деятельность нервных клеток всегда сопровождается психическими процессами ощущения и чувства. Сознание только регистрирует результат этих процессов, происходящих во всех органах человеческого тела, а потому подлинная, творческая работа совершается где-то в темноте неосознанного.

Флобер, внимательно следивший за успехами психологии и психиатрии, мог узнать об этом широко распространенном учении из специальных книг, из бесед с знакомыми ему учеными, например, с И. Тэном, который как раз в 1860-е годы писал свой труд «Об уме и познании», в основном посвященный этой проблеме. С принятой

Флобером точки зрения, волевой акт нельзя рассматривать как чистый результат логического рассуждения. Поступки человека могут противоречить его намерениям и желаниям, так как они возникают из глубины подсознательного, из неясных для самого человека побуждений, инстинктов и социальных привычек, ставших «второй природой».

Поведение Фредерика объясняется этой игрой чувств, над которыми он не властен. Логика руководит им меньше, чем другими, меньше даже, чем импульсивными и чувственными натурами вроде Розанетты или господина Арну. Слабость воли и скудость событий в его жизни, несмотря на множество бестолковых поступков, объясняются здесь противоречивостью побуждений и почти равной силой борющихся сторон. Обнаружить борьбу противоположно направленных влечений, подсмотреть возникновение волевого акта, определить различные мотивы, диктующие человеку его поведение, расслышать эти голоса, звучащие где-то на границах физиологии, понять целую жизнь в ее видимой нелепости как результат этой единой борьбы — такова была задача Флобера, наиболее полно разрешенная в образе Фредерика.

Поступки сами по себе не интересуют Флобера. Ведь поступок не означает ничего, если мы не знаем вызвавших его побуждений. Эти-то побуждения и стоят в центре его внимания, и действия героя он показывает только тогда, когда за ними можно угадать причины. Фредерик после аукциона отказывается от брака с госпожой Дамбрёз и тут же удивляется своему решению; страшная душевная усталость, которую он чувствует после того, как захлопнул дверцы кареты, свидетельствует о длительной и трудной борьбе, происходившей где-то в глубине. Этот поступок не требует объяснений, он ясно и четко объясняет то, о чем, может быть, не догадывался и сам герой. В последней сцене романа Фредерик отказывается от любви госпожи Арну, которую любил всю жизнь, — этот жест непонятен сам по себе, и Флобер анализирует его мотивы.

Очевидно, Фредерик ошибался в течение всей своей жизни. Так же, как он не понимал искусство, творчество, политику, людей и свое отношение к ним, он не понимал стоящих перед ним задач, своих потребностей, возможностей и характера. И все это от того же мещанского индивидуализма, от неумения или нежелания самостоятельно и «научно» мыслить. То, что его

внутренняя сущность и нравственный инстинкт сопротивляются его намерениям и идейным штампам, которым он следует без критики и без размышлений, свидетельствует о том, что он не дает себе труда познать ни самого себя, ни окружающий мир с его законами и необходимостями.

В этом психологическом романе или, лучше сказать, романе нравов огромную роль играет революция. Это естественный результат Июльской монархии — как протест против нее и как ее продолжение. То же мещанское «ячество», классовые интересы, выражающиеся в форме личной выгоды, действуют и в 1848 году. Социальное благополучие, по мнению Флобера, невозможно, пока люди и общество не излечатся от этого «порока» или «свойства», и потому революция кончается переворотом 2 декабря.

Во время революций будущее приходит быстро, говорил Гюго: за какие-нибудь три-четыре года революция сменилась реакцией, все менялось много раз, но ничто не изменилось, и Вторая империя вернула страну к тому же положению, в котором она находилась до Февраля, — таков был вывод Флобера из трагических событий, которые прошли почти на его глазах. История со всеми ее

переменами есть, в сущности, топтание на месте. К этой мысли приводили Флобера неудачи двух революций, но также упорное, страстное нежелание уловить в истории развитие и общественные закономерности, ведущие человечество сквозь все заблуждения и бедствия к твердо осознанным идеалам.

Флобер мог бы прийти к другим взглядам на историю и общество. В картине революции, показанной в романе, можно обнаружить четко осознанные классовые противоречия, к которым он относится далеко не безразлично. Буржуазия, ошалевшая от страха, затем торжествующая свою победу, изображена в самом отвратительном виде. Это глупцы, хитрецы, предатели и убийцы. Рабочие, которых нищета и голод приводят к Июньскому восстанию, более беспомощны, чем господствующие классы, еще раз утвердившие свое господство после кровавого избиения во время Июньских дней. Но на стороне рабочих, на стороне побежденных — справедливость, героизм, подлинно человеческие идеалы, и единственный положительный персонаж в этой массе беснующихся стяжателей, честолюбцев и проходимцев — это Дюссардье, представитель обездоленного труда, преданный своим идеалам,

сквозь заблуждения и сомнения пришедший наконец к правде, за которую отдает свою жизнь.

Флобер хотел «вымазать свою современность навозом», как индусы покрывали коровьим пометом свои храмы. Он сделал это в «Воспитании чувств». Но он избегал «выводов», потому что считал их вмешательством автора в объективную действительность. Внимательный читатель, современник Флобера, так же как читатель нашего времени, не может не сделать своих выводов из того, что предложил ему писатель. Бесстрастный роман превратился в разоблачение, осмысленное и осознанное. Можно было бы сказать, что он оказался в известном смысле пророчеством.

Все бедствия 1870 года, говорил Флобер, произошли потому, что французы не поняли его «Воспитания чувств», — так, насмехаясь над своим великим другом, рассказывал в своих воспоминаниях Максим Дюкан. Он передал нам подлинную мысль Флобера, не уловив ее смысла. Действительно, Флобер хотел показать, к каким бедствиям приводит неумение мыслить, непонимание действительности, корысть личная и классовая. И со свойственной ему наивностью считал, что, если общество поймет этот разъедающий его порок, оно избавится от него, придет к

научному познанию и, следовательно, к великой общественной справедливости — без восстаний, насилий и катастроф. Это была утопия человека, паче всего боявшегося утопий.

5

Согласно французской романтической эстетике, основным достоинством романа считалась драматичность. В романах этой поры конфликт был максимально острым, а действие подчинено борьбе противоречий, почти всегда разрешавшейся трагически. Романтики понимали жизнь как борьбу противоречий, как конфликт личности и общества, а потому чем драматичнее был роман, тем глубже он проникал в самую сущность действительности, тем он был правдивее. Роман Бальзака подчинялся тому же закону.

Во второй половине XIX века представления о жизни и, следовательно, о художественной правде сильно изменились. Жизнь человека в обществе рассматривалась не как борьба, а как монотонное, пошлое, лишенное кризисов и катаклизмов существование.

Такой видели свою современность те, кто, чувствуя отвращение к царству чистогана, жаждали более напряженной работы ума и более рациональной общественной жизни. События банальны, страсти ничтожны, интересы ограничены бытом, а потому искать в этом су-

ществовании острых конфликтов и катастроф значит придумывать то, чего нет. В творчестве Флобера, Гонкуров, Золя драма была сведена до минимума.

В «Госпоже Бовари» действия очень мало, два адюльтера растворены в пошлости провинциальной жизни, а самоубийство и смерть Эммы лишены какого-либо героизма. Однако страсть, самоубийство, смерть сами по себе драматичны, и уже после того, как роман был напечатан, Флобер решил, что его произведение недостаточно правдиво, что оно подчинилось старым традициям драматического романа. Принимаясь за новый роман из современной жизни, он попытался совсем лишить его драмы, то есть сделать его еще более правдивым хотя бы даже ценою отказа от искусства. Но пожертвовать искусством ради правды значило создать новое искусство, соответствующее новой действительности и вместе с тем новым требованиям, к ней предъявляемым.

В «Воспитании чувств» нет почти никаких внешних катастроф, ни убийств, ни самоубийств, ничего, что ломало бы уклад частной жизни. Смерть Дюссардье является только фоном, на котором влачат свое существование главные герои. Это движение в неподвижности, толчея

обыденной жизни, ничего не меняющая в своем бестолковом движении. Флобер с удивительной последовательностью развивал то, что формулировал в своих юношеских письмах и выразил уже в первом романе.

Развивается и другой эстетический принцип, поразивший читателей уже в «Госпоже Бовари», — принцип безличности. В «Воспитании чувств» герои еще больше освобождаются от автора. Они существуют сами по себе, они проходят перед нами словно в каком-то бесцветном фильме, в едва уловимых оттенках добра и зла, и читателю приходится «работать» над ними, соучаствовать в творчестве автора, чтобы найти ключ, в котором нужно воспринимать эту унылую действительность, показанную е таким мастерством и с таким авторским самоотречением.

В «Госпоже Бовари» Флобер пытался, насколько возможно, избегать повествования, блестящим мастером которого в то время считался Александр Дюма. Описания, столь обильные у Бальзака, также не привлекали Флобера. Лишь в редких случаях он пользовался диалогом, который ввел в роман Вальтер Скотт. Флоберу казалось, что такими средствами трудно передать душевные

тайны героя, непонятные ему самому. Он открыл для современной литературы «несобственную прямую речь», то есть внутреннюю речь персонажа, не высказанную в разговоре, не оформленную словом.

Эмма размышляет о своей судьбе, о муже, о любовниках — и автор передает ее думы и переживания так, словно это она сама говорит о них в глубине своей души. Она никогда бы не рассказала об этом никому, не призналась бы и самой себе в том, что переживает такое странное и невыразимое, потому что есть в человеке какая-то стыдливость, которая не позволяет доверить своих чувств слову, даже сказанному наедине.

«В самом дело, ведь не все же такие, как Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспитан, обаятелен, — за таких, наверно, вышли замуж ее подруги по монастырскому пансиону». Слова эти, произнесенные самой Эммой, показались бы слишком уж наивными и прямо нелепыми. Но мы знаем, что она не говорит этого. Это ее ощущение, ее тоска, не оформленная в слове, не поддающаяся выражению. Художник выразил ее чувства, едва ею осознанные, в точных, отточенных, волнующих фразах. Ее подруги живут жизнью, от которой «их сердца радуются, их

чувства расцветают. А ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца». Конечно, ей самой таких слов не придумать, но трудно было бы лучше формулировать ощущения, которые приведут ее к адюльтеру и самоубийству. То же происходит и с Шарлем Бовари, который переживает свое счастье, словно человек, только что съевший за обедом трюфели: «Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четырех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче и способнее его... Или позднее, когда он учился на лекаря и когда в карманах у него было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кадриль, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить?»

При первом чтении можно было бы принять эту страницу за авторскую речь, затем — за внутреннюю речь, которую произносит человек, размышляющий о своем счастье. Но здесь нет ни того, ни другого. Этих слов не произносит никто. Они передают не. процесс размышления, не ход мысли, как могло бы показаться, а сумму впе-

чатлений, которую носит с собой Шарль Бовари, след пережитого, лежащего грузом за пределами сознания, состояние духа, которое он не смог бы формулировать и даже четко осознать.

Но прошли годы, и в «Воспитании чувств» Флобер отказывается от этого способа психологического анализа, созданного с таким проникновением и любовью. Вероятно, ему казалось, что в такой передаче душевного состояния персонажей много субъективного, авторского, слишком откровенного и даже навязчивого. И он разрабатывает другой метод, еще более «объективный»: изображение психологии персонажей при помощи окружающего их внешнего мира, мира вещей.

Фредерик видит госпожу Арну — и Флобер описывает ее ногу, платье, свет, который ее озаряет. Фредерик собирается произнести речь в каком-то клубе — и Флобер описывает толпу людей, крики, нелепости, провозглашаемые с трибуны, нелепости, которые говорит сам Фредерик.

Он узнает, что госпожи Арну нет дома, и вслед за этим идут кадры парижского бульвара, группы людей на тротуарах, зеркала кафе, цвет лица проходящих женщин. И только после этого в нескольких кратких словах — настроение Фре-

дерика, наслаждающегося всем этим зрелищем только потому, что надеется через несколько дней увидеть госпожу Арну.

В других случаях и вообще ничего не говорится о том, что чувствует п думает герой, — читатель должен сам это понять, догадаться, «сделать вывод», от которого воздерживается автор. Вместо «несобственной прямой речи» средством психологической характеристики служит «поток вещей», среда, проходящая перед взором героя.

«Воспитание чувств» вышло в свет накануне франко-прусской войны, падения Второй империи, последовавшей за ним Парижской коммуны и утверждения Третьей республики. В таких обстоятельствах появление нового романа не могло привлечь к себе внимания широких кругов читателей. Десять лет роман не переиздавался, и только к 1880 году, после выхода в свет второго издания, он попал в поле внимания читателей и критиков. Флобер вдруг оказался главой литературной школы, возникшей в 1870-е годы под влиянием Золя и называвшей себя натуралистической.

Пожалуй, лучшую оценку роману дала Жорж Санд, во многом не соглашавшаяся с Флобером в эстетическом и политическом плане. «Что дока-

зывает твоя книга, писатель юмористический, насмешливый, суровый и мудрый? Не отвечай мне. Я знаю, я вижу это. Она доказывает, что наше общественное состояние пришло к своему разложению и что его следует коренным образом изменить. Она доказывает это столь убедительно, что никто не поверит тебе, если ты станешь утверждать противное».

6

Тяжело пережив поражение Франции в 1870 году, не поняв Парижской коммуны и ожидая военной и политической гибели страны, Флобер чувствовал, что сходит с ума: «Целые водопады, реки, океаны отчаяния проливаются на меня... Вот до чего довело нас нежелание смотреть правде в глаза! Любовь к фальши и обману!» И вновь он повторяет то, что говорил всю жизнь: только наука, трезвое различение понятий и исследование действительности поведет мир по верному пути, только в науке спасение. В последнем и окончательном варианте «Искушения святого Антония», философской драмы, законченной в 1872 году и напечатанной в 1874 году, — настоящее славословие науке и вместе с тем изумительная в своей образности критика сменявших одна другую религий, на развалинах которых вырастает до гигантских размеров фигура Илариона, воплощающего Знание.

Как всегда, перемежая современную тему с исторической, Флобер вдруг взялся за комедию. Из трех им написанных одна, «Кандидат», поставленная на сцене в 1874 году, заслуживает

некоторого внимания — она осмеивает выборы в буржуазный парламент.

Жанр этот не удавался Флоберу, и в середине семидесятых годов он начинает работать над повестями. Сборник «Три повести» (1874) включает «Иродиаду» с сюжетом из древнего мира, средневековую «Легенду о святом Юлиане Странноприимце» и повесть «Простая душа». Из них самая замечательная — последняя, которая является одним из лучших, на наш взгляд, созданий Флобера. А. М. Горький вспоминает впечатление, какое произвела на него эта повесть, прочитанная в детстве: «Я... точно оглох, ослеп, — шумный весенний праздник заслонила передо мной фигура обыкновенной бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений».

Последние годы своей жизни Флобер работал над романом, который потребовал огромного труда и остался незаконченным. Он назывался по имени двух героев «Бувар и Пекюше» и был напечатан после смерти Флобера. Смысл книги пояснен в подзаголовке: «О недостатке метода в науках». Еще раз писатель возвращается к идее, беспокоившей его в течение всей жизни: средствами правдивого искусства спасти

человечество и, в частности, Францию от заливающей их мещанской глупости. Бувар и Пекюше — пожилые добродушные, невежественные, материально обеспеченные люди — решили познать все науки. Не понимая ни метода, ни предмета исследования, они делают чудовищные и смехотворные ошибки, многие из которых Флобер нашел в сочинениях, печатавшихся в его время. Это беспощадная критика многих современных: ему научных заблуждений, но никак не огульное отрицание всего, что было достигнуто человечеством на пути к знанию.

* * *

Девяносто лет, протекшие после смерти Флобера, не уменьшили значения его творчества. Пожалуй, даже наоборот: теперь мы лучше понимаем его и сочувствуем ему в его ненависти и в его надеждах. Сложный путь, им пройденный, кажется нам естественным и исторически необходимым, а потому простым и понятным.

Мы не можем рассматривать его Круассе, где он создавал свои произведения, как «башню из слоновой кости». Выход из «царства необходимости» в «царство свободы», то есть в мир чистых идей и «высшей правды», был для него не бег-

ством от действительности, а борьбой с нею. Мы понимаем его творческий подвиг как шаг вперед в истории человеческой мысли и как жертву, принесенную ради далекого, для него самого непостижимого будущего.

Б. РЕИЗОВ

* * *

МАРИ-АНТУАНУ-ЖЮЛЮ СЕНАРУ, парижскому адвокату, бывшему президенту Национального собрания и министру внутренних дел

Дорогой и знаменитый друг!

Позвольте мне поставить Ваше имя на первой странице этой книги, перед посвящением, ибо Вам главным образом я обязан ее выходом в свет. Ваша блестящая защитительная речь указала мне самому на ее значение, какого я не придавал ей раньше. Примите же эту слабую дань глубочайшей моей признательности за Ваше красноречие и за Ваше самопожертвование.

Гюстав Флобер

Париж, 12 апрели 1857 г.

Посвящается ЛУИ БУЙЛЕ

Часть первая

I

Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, ведя за собой одетого по-домашнему «новичка» и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас неожиданно оторвали от занятий.

Директор сделал нам знак сесть по местам, а затем, обратившись к классному наставнику, сказал вполголоса:

— Господин Роже! Рекомендую вам нового ученика — он поступает в пятый класс. Если же он будет хорошо учиться и хорошо себя вести, то мы переведем его к «старшим» — там ему надлежит быть по возрасту.

Новичок все еще стоял в углу, за дверью, так что мы с трудом могли разглядеть этого деревенского мальчика лет пятнадцати, ростом выше нас всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского псаломщика, держался он чинно, несмотря на крайнее смущение. Особой крепостью сложения он не отличался, а все же его зеленая суконная курточка с черными пуговицами, видимо, жала ему в проймах, из обшлагов

высовывались красные руки, не привыкшие к перчаткам. Он чересчур высоко подтянул помочи, и из-под его светло-коричневых брючек выглядывали синие чулки. Башмаки у него были грубые, плохо вычищенные, подбитые гвоздями.

Начали спрашивать уроки. Новичок слушал затаив дыхание, как слушают проповедь в церкви, боялся заложить нога на ногу, боялся облокотиться, а в два часа, когда прозвонил звонок, наставнику пришлось окликнуть его, иначе он так и не стал бы в пару.

При входе в класс нам всегда хотелось поскорее освободить руки, и мы обыкновенно бросали фуражки на пол; швырять их полагалось прямо с порога под лавку, но так, чтобы они, ударившись о стену, подняли как можно больше пыли; в этом заключался особый шик.

Быть может, новичок не обратил внимания на нашу проделку, быть может, он не решился принять в ней участие, но только молитва кончилась, а он все еще держал фуражку на коленях. Она представляла собою сложный головной убор, помесь медвежьей шапки, котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапочки, — словом, это была одна из тех дрянных вещей, немое уродство которых не менее выразительно, чем лицо

дурачка. Яйцевидная, распяленная на китовом усе, она начиналась тремя круговыми валиками; далее, отделенные от валиков красным околышем, шли вперемежку ромбики бархата и кроличьего меха; над ними высилось нечто вроде мешка, который увенчивался картонным многоугольником с затейливой вышивкой из тесьмы, а с этого многоугольника свешивалась на длинном тоненьком шнурочке кисточка из золотой канители. Фуражка была новенькая, ее козырек блестел.

— Встаньте, — сказал учитель.

Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал. Он нагнулся и поднял фуражку. Сосед сбросил ее локтем — ему опять пришлось за ней нагибаться.

— Да избавьтесь вы от своего фургона! — сказал учитель, не лишенный остроумия.

Дружный смех школьников привел бедного мальчика в замешательство — он не знал, держать ли ему фуражку в руках, бросить ли на пол или надеть на голову. Он сел и положил ее на колени.

— Встаньте — снова обратился к нему учитель, — и скажите, как ваша фамилия.

Новичок пробормотал нечто нечленораздель-

ное.

— Повторите!

В ответ послышалось то же глотание целых слогов, заглушаемое гиканьем класса.

— Громче! — крикнул учитель. — Громче!

Новичок с решимостью отчаяния разинул рот и во всю силу легких, точно звал кого-то, выпалил:

— Шарбовари!

Тут взметнулся невообразимый шум и стал расти crescendo[1], со звонкими выкриками (класс грохотал, гоготал, топотал, повторял: Шарбовари! Шарбовари!), а затем распался на отдельные голоса, но долго еще не мог утихнуть и время от времени пробегал но рядам парт, на которых непогасшею шутихой то там, то здесь вспыхивал приглушенный смех.

Под градом окриков порядок мало-помалу восстановился, учитель, заставив новичка продиктовать, произнести по складам, а потом еще раз прочитать свое имя и фамилию, в конце концов разобрал слова «Шарль Бовари» и велел бедняге сесть за парту «лентяев», у самой кафедры. Новичок шагнул, но сейчас же остановился в нерешимости.

---

[1] Примечания: 1
Нарастая (итал.).

— Что вы ищете? — спросил учитель.

— Мою фур... — беспокойно оглядываясь, робко заговорил новичок.

— Пятьсот строк всему классу!

Это грозное восклицание, подобно «Quos ego!»[2], укротило вновь поднявшуюся бурю.

— Перестанете вы или нет? — еще раз прикрикнул разгневанный учитель и, вынув из-под шапочки носовой платок, отер со лба пот. — А вы, новичок, двадцать раз проспрягаете мне в тетради ridiculus sum[3]. — Несколько смягчившись, он прибавил: — Да найдется ваша фуражка! Никто ее не украл.

Наконец все успокоились. Головы склонились над тетрадями, и оставшиеся два часа новичок вел себя примерно, хотя время от времени прямо в лицо ему попадали метко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Он вытирал лицо рукой, но позы не менял и даже не поднимал глаз.

Вечером, перед тем как готовить уроки, он разложил свои школьные принадлежности, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, как

---

[2] Примечания: 2
Вот я вас! (лат.)

[3] Примечания: 3
Я смешон (лат.).

добросовестно он занимался, поминутно заглядывая в словарь, стараясь изо всех сил. Грамматику он знал недурно, но фразы у него получались неуклюжие, так что в старший класс его, видимо, перевели только за прилежание. Родители, люди расчетливые, не спешили отдавать его в школу, и основы латинского языка ему преподал сельский священник.

У его отца, г-на Шарля-Дени-Бартоломе Бовари, отставного ротного фельдшера, в 1812 году вышла некрасивая история, связанная с рекрутским набором, и ему пришлось уйти со службы, но благодаря своим личным качествам он сумел прихватить мимоходом приданое в шестьдесят тысяч франков, которое владелец шляпного магазина давал за своей дочерью, прельстившейся наружностью фельдшера. Красавчик, говорун, умевший лихо бряцать шпорами, носивший усы с подусниками, унизывавший пальцы перстнями, любивший рядиться во все яркое, он производил впечатление бравого молодца и держался с коммивояжерской бойкостью. Женившись, он года два-три проживал приданое — плотно обедал, поздно вставал, курил фарфоровые чубуки, каждый вечер бывал в театрах и часто заглядывал в кафе. Тесть оставил после себя немного; с досады

г-н Бовари завел было фабрику, но, прогорев, удалился в деревню, чтобы поправить свои дела. Однако в сельском хозяйстве он смыслил не больше, чем в ситцах, на лошадях своих катался верхом, вместо того чтобы на них пахать, сидр тянул целыми бутылками, вместо того чтобы продавать его бочками, лучшую живность со своего птичьего двора съедал сам, охотничьи сапоги смазывал салом своих свиней — и вскоре пришел к заключению, что всякого рода хозяйственные затеи следует бросить.

За двести франков в год он снял в одном селении, расположенном на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и помещичьей усадьбой и, удрученный, преисполненный поздних сожалений, ропща на бога и всем решительно завидуя, разочаровавшись, по его словам, в людях, сорока пяти лет от роду уже решил затвориться и почить от дел.

Когда-то давно жена была от него без ума. Она любила его рабской любовью и этим только отталкивала его от себя. Смолоду жизнерадостная, общительная, привязчивая, к старости она, подобно выдохшемуся вину, которое превращается в уксус, сделалась неуживчивой, сварливой, раздражительной. Первое время она, не пока-

зывая виду, жестоко страдала от того, что муж гонялся за всеми деревенскими девками, от того, что, побывав во всех злачных местах, он являлся домой поздно, разморенный, и от него пахло вином. Потом в ней проснулось самолюбие. Она ушла в себя, погребла свою злобу под плитой безмолвного стоицизма — и такою оставалась уже до самой смерти. У нее всегда было столько беготни, столько хлопот! Она ходила к адвокатам, к председателю суда, помнила сроки векселей, добивалась отсрочки, а дома гладила, шила, стирала, присматривала за работниками, платила по счетам, меж тем как ее беспечный супруг, скованный брюзгливым полусном, от которого он возвращался к действительности только для того, чтобы сказать жене какую-нибудь колкость, покуривал у камина и сплевывал в золу.

Когда у них родился ребенок, его пришлось отдать кормилице. Потом, взяв мальчугана домой, они принялись портить его, как портят наследного принца. Мать закармливала его сладким; отец позволял ему бегать босиком и даже, строя из себя философа, утверждал, что мальчик, подобно детенышам животных, вполне мог бы ходить и совсем голым. В противовес материнским устремлениям он создал себе идеал мужественного

детства и соответственно этому идеалу старался развивать сына, считая, что только суровым, спартанским воспитанием можно укрепить его здоровье. Он заставлял его спать в нетопленном помещении, учил пить большими глотками ром, учил глумиться над религиозными процессиями. Но смирному от природы мальчику все это не прививалось. Мать таскала его за собой всюду, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, произносила нескончаемые монологи, исполненные горестного веселья и многоречивой нежности. Устав от душевного одиночества, она сосредоточила на сыне все свое неутоленное, обманувшееся честолюбие. Она мечтала о том, как он займет видное положение, представляла себе, как он, уже взрослый, красивый, умный, поступает на службу в ведомство путей сообщения или же в суд. Она выучила его читать, более того — выучила петь два-три романса под аккомпанемент старенького фортепьяно. Но г-н Бовари не придавал большого значения умственному развитию: «Все это зря!» — говорил он. Разве они в состоянии отдать сына в казенную школу, купить ему должность или торговое дело? «Не в ученье счастье, — кто победовей, тот всегда в люди выйдет». Г-жа Бовари закусывала губу, а

мальчуган между тем носился по деревне.

Во время пахоты он сгонял с поля ворон, кидая в них комья земли. Собирал по оврагам ежевику, с хворостиной в руке пас индюшек, разгребал сено, бегал по лесу; когда шел дождь, играл на церковной паперти в «классы», а по большим праздникам, вымолив у пономаря разрешение позвонить, повисал всем телом на толстой веревке и чувствовал, что он куда-то летит вместе с ней.

Так, словно молодой дубок, рос этот мальчик. Руки у него стали сильные, щеки покрылись живым румянцем.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать решительно заявила, что его пора учить. Заниматься с ним попросили священника. Но польза от этих занятий оказалась невелика, — на уроки отводилось слишком мало времени, к тому же они постоянно срывались. Священник занимался с ним в ризнице, стоя, наспех, урывками, между крестинами и похоронами, или, если только его не звали на требы, посылал за учеником после вечерни. Он уводил его к себе в комнату, там они оба усаживались за стол; вокруг свечки вилась мошкара и ночные бабочки. В комнате было жарко, мальчик дремал, а немного погодя

и старик, сложив руки на животе и открыв рот, начинал похрапывать. Возвращаясь иной раз со святыми дарами от больного и видя, что Шарль проказничает в поле, он подзывал его, с четверть часа отчитывал и, пользуясь случаем, заставлял где-нибудь под деревом спрягать глагол. Их прерывал дождь или знакомый прохожий. Впрочем, священник всегда был доволен своим учеником и даже говорил, что у «юноши» прекрасная память.

Ограничиться этим Шарлю не подобало. Г-жа Бовари настояла на своем. Г-н Бовари устыдился, а вернее всего разговоры об этом ему просто-напросто надоели, но только он сдался без боя, и родители решили ждать лишь до той поры, когда мальчуган примет первое причастие, то есть еще один год.

Прошло полгода, а в следующем году Шарля наконец отдали в руанский коллеж, — в конце октября, в разгар ярмарки, приурочиваемой ко дню памяти святого Романа, его отвез туда сам г-н Бовари.

Теперь уже никто из нас не мог бы припомнить какую-нибудь черту из жизни Шарля. Это была натура уравновешенная: на переменах он играл, в положенные часы готовил уроки, в классе

слушал, в дортуаре хорошо спал, в столовой хорошо ел. Опекал его оптовый торговец скобяным товаром с улицы Гантри — раз в месяц, по воскресеньям, когда его лавка бывала уже заперта, он брал Шарля из училища и посылал пройтись по набережной, поглядеть на корабли, а в семь часов, как раз к ужину, приводил обратно. По четвергам после уроков Шарль писал матери красными чернилами длинные письма и запечатывал их тремя облатками, затем просматривал свои записи по истории или читал растрепанный том «Апахарсиса», валявшийся в комнате, где готовились уроки. На прогулках он беседовал со школьным сторожем, тоже бывшим деревенским жителем.

Благодаря своей старательности он учился не хуже других, а как-то раз даже получил за ответ по естественной истории высшую отметку. В нашем коллеже он пробыл всего три года, а затем родители его взяли — они хотели сделать из него лекаря и были уверены, что к экзамену на бакалавра он сумеет приготовиться самостоятельно.

Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже, у знакомого красильщика. Она уговорилась с красильщиком насчет пансиона, раздобыла мебель — стол и два стула, выписала

из дому старую, вишневого дерева, кровать, а чтобы ее бедный мальчик не замерз, купила еще чугунную печурку и дров. Через неделю, после бесконечных наставлений и просьб к сыну вести себя хорошо, особенно теперь, когда смотреть за ним будет некому, она уехала домой.

Ознакомившись с программой занятий, Шарль оторопел: курс анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармацевтики, курс химии, да еще ботаники, да еще клиники, да еще терапия, сверх того — гигиена и основы медицины, — смысл всех этих слов был ему неясен, все они представлялись вратами в некое святилище, где царил ужасающий мрак.

Он ничего не понимал; он слушал внимательно, но сути не улавливал. И все же он занимался, завел себе тетради в переплетах, аккуратно посещал лекции, не пропускал ни одного занятия в клинике. Он исполнял свои несложные повседневные обязанности, точно лошадь, которая ходит с завязанными глазами по кругу, сама не зная — зачем.

Чтобы избавить его от лишних расходов, мать каждую неделю посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины, и это был его неизменный завтрак, который он съедал но возвращении

из больницы, топоча ногами от холода. А после завтрака — бегом на лекции, в анатомический театр, в больницу для хроников, оттуда через весь город опять к себе на квартиру. Вечером, после несытного обеда у хозяина, он шел в свою комнату, снова садился заниматься — поближе к раскаленной докрасна печке, и от его отсыревшей одежды шел пар.

В хорошие летние вечера, в час, когда еще не остывшие улицы пустеют, когда служанки играют у ворот в волан, он открывал окно и облокачивался на подоконник. Под ним, между мостами, между решетчатыми оградами набережных, текла превращавшая эту часть Руана в маленькую неприглядную Венецию то желтая, то лиловая, то голубая река. Рабочие, сидя на корточках, мыли в ней руки. На жердях, торчавших из слуховых окон, сушились мотки пряжи. Напротив, над крышами, раскинулось безбрежное чистое небо, залитое багрянцем заката. То-то славно сейчас, наверное, за городом! Как прохладно в буковой роще! И Шарль раздувал ноздри, чтобы втянуть в себя родной запах деревни, но запах не долетал.

Он похудел, вытянулся, в глазах у него появился оттенок грусти, благодаря которому его лицо стало почти интересным.

Мало-помалу он начал распускаться, отступать от намеченного плана, и вышло это как-то само собой. Однажды он не явился в клинику, на другой день пропустил лекцию, а затем, войдя во вкус безделья, и вовсе перестал ходить на занятия.

Он сделался завсегдатаем кабачков, пристрастился к домино. Просиживать все вечера в грязном заведении, стучать по мраморному столику костяшками с черными очками — это казалось ему высшим проявлением самостоятельности, поднимавшим его в собственных глазах. Он словно вступал в новый мир, впервые притрагивался к запретным удовольствиям. Берясь при входе за ручку двери, он испытывал нечто вроде чувственного наслаждения. Многое из того, что прежде он подавлял в себе, теперь развернулось. Он распевал на дружеских пирушках песенки, которые знал назубок, восхищался Беранже, научился приготовлять пунш и познал наконец любовь.

Благодаря такой блестящей подготовке он с треском провалился на экзаменах и звания лекаря не получил. А дома его ждали в тот же день к вечеру, собирались отметить это радостное событие в его жизни!

Домой он пошел пешком и, остановившись у

въезда в село, послал за матерью и все ей рассказал. Она простила его, объяснила его провал несправедливостью экзаменаторов, обещала все устроить, и Шарль немного повеселел. Г-н Бовари узнал правду только через пять лет. К этому времени она уже устарела, и г-н Бовари примирился с нею, да он, впрочем, и раньше не допускал мысли, что его отпрыск — болван.

Итак, Шарль снова взялся за дело, уже ничем не отвлекаясь, стал готовиться к экзамену и все, что требовалось по программе, затвердил наизусть. Отметку он получил довольно приличную. Какой счастливый день для матери! Дома по этому случаю был устроен пир.

Да, но где бы ему применить свои познания? В Тосте. Там был только один врач, и притом уже старый. Г-жа Бовари давно ждала его смерти, и не успел бедный старик отправиться на тот свет, как Шарль в качестве его преемника поселился напротив его дома.

Но воспитать сына, сделать из него врача, подыскать для него место в Тосте — это еще не все, его надо женить. И г-жа Бовари нашла ему невесту — вдову дьеппского судебного исполнителя, женщину сорока пяти лет, но зато имевшую тысячу двести ливров годового дохода.

Госпожа Дюбюк была некрасива, суха как жердь, прыщей на ее лице выступало столько, сколько весной набухает почек, и тем не менее женихи у нее не переводились. Чтобы добиться своего, г-же Бовари пришлось их устранить, и действовала она так ловко, что ей даже удалось перебить дорогу одному колбаснику, за которого стояло местное духовенство.

Шарль рассчитывал, что брак поправит его дела, он воображал, что будет чувствовать себя свободнее, сможет располагать и самим собою, и своими средствами. Но супруга забрала над ним силу, она наказывала ему говорить при посторонних то-то и не говорить того-то, он должен был поститься по пятницам, одеваться по ее вкусу и допекать пациентов, которые долго не платили. Она распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал у себя в кабинете женщин, подслушивала за дверью.

По утрам она не могла обойтись без шоколаду; она требовала к себе постоянного внимания. Вечно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то на дурное расположение духа. Шум шагов ее раздражал; стоило от нее уйти — и она изнывала в одиночестве; стоило к ней вернуться — ну конечно, вернулся посмотреть, как она умирает.

Вечером, когда Шарль приходил домой, она выпрастывала из-под одеяла свои длинные худые руки, обвивала их вокруг его шеи, усаживала его к себе на кровать и принималась изливать ему свою душевную муку: он ее забыл, он любит другую! Недаром ей предсказывали, что она будет несчастна. А кончалось дело тем, что она просила какого-нибудь сиропа для поправления здоровья и немножко больше любви.

II

Как-то ночью, часов около одиннадцати, их разбудил топот коня, остановившегося у самого крыльца. Служанка отворила на чердаке слуховое окошко и начала переговариваться с человеком, который находился внизу, на улице. Он приехал за доктором, — он привез ему письмо. Настази, дрожа от холода, спустилась по лестнице, повернула ключ, один за другим отодвинула засовы. Человек спрыгнул с коня и прямо за ней вошел в спальню. Вынув из шерстяной шапки с серыми кистями завернутое в тряпицу письмо, он почтительно вручил его Шарлю, и тот, облокотившись на подушку, начал читать. Настази, стоя у кровати, держала свечку. Барыня от смущения повернулась лицом к стене.

Письмо, запечатанное маленькой, синего сургуча, печатью, содержало мольбу к г-ну Бовари как можно скорее прибыть на ферму Берто и оказать помощь человеку, сломавшему себе ногу. Но от Тоста до Берто, если ехать через Лонгвиль и Сен-Виктор, добрых шесть лье. Ночь была темная. Г-жа Бовари-младшая высказала опасение, как бы с мужем чего не случилось дорогой. Поэтому усло-

вились, что конюх, доставивший письмо, поедет сейчас же, а Шарль — через три часа, как только взойдет луна. Навстречу ему выйдет мальчишка, покажет дорогу на ферму и отопрет ворота.

Около четырех часов утра Шарль, поплотней закутавшись в плащ, выехал в Берто. Он все еще был разнежен теплотою сна, и спокойная рысца лошади убаюкивала его. Когда лошадь неожиданно останавливалась перед обсаженными терновником ямами, какие обыкновенно роют на краю пашни, Шарль мгновенно просыпался, сейчас же вспоминал о сломанной ноге и начинал перебирать в памяти все известные ему случаи переломов. Дождь перестал, брезжил рассвет, на голых ветвях яблонь неподвижно сидели птицы, и перышки их ерошил холодный предутренний ветер. Всюду, куда ни посмотришь, расстилались ровные поля, и на этом огромном сером пространстве, сливавшемся вдали с пасмурным небом, редкими темно-лиловыми пятнами выделялись лишь купы деревьев, что росли вокруг ферм. Шарль по временам открывал глаза; потом сознание его уставало, на него снова нападала дремота, он быстро погружался в какое-то странное забытье, в котором недавние впечатления мешались с воспоминаниями, и сам он двоился:

был в одно и то же время и студентом, и женатым человеком, лежал в постели, как только что перед этим, и проходил по хирургическому отделению, как когда-то давно. Он не отличал горячего запаха припарок от сильного запаха росы; ему слышались одновременно скрип железных колечек полога, скользящих по прутьям над кроватями больных, и дыхание спящей жены... Проезжая через Васонвиль, Шарль увидел, что на траве у канавы сидит мальчик.

— Вы доктор? — спросил он.

Получив подтверждение, мальчик взял в руки свои деревянные башмаки и пустился бежать впереди Шарля.

Завязав дорогой беседу со своим провожатым, лекарь узнал, что г-н Руо — один из самых богатых местных фермеров. Он сломал себе ногу вчера вечером, возвращаясь от соседа, к которому был приглашен на Крещение. Его жена умерла два года тому назад. С ним теперь только его единственная дочь, «барышня», — она-то и помогает ему вести хозяйство.

Колеи стали глубже. Вот и Берто. Мальчуган, шмыгнув в лазейку, проделанную в изгороди, на минуту исчез; но очень скоро, отперев ворота, показался снова на самом краю двора.

Лошадь скользила по мокрой траве, Шарль нагибался, чтобы его не хлестнуло веткой. Сторожевые псы лаяли возле своих будок, изо всех сил натягивая цепи. Когда Шарль въехал во двор, лошадь в испуге шарахнулась.

Ферма дышала довольством. В растворенные ворота конюшен были видны крупные рабочие лошади — они мирно похрустывали сеном, пощипывая его из новеньких кормушек. Вдоль надворных построек тянулась огромная навозная куча, от нее валил пар, по ней, среди индюшек и кур, ходили и что-то клевали пять или шесть павлинов — краса и гордость кошских птичников. Овчарня была длинная, рига высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги и четыре плуга, висели кнуты, хомуты, полный набор сбруи; синие шерстяные потники были все в трухе, летевшей с сеновала. Симметрично обсаженный деревьями двор шел покато, на берегу пруда весело гоготали гуси.

На пороге дома появилась вышедшая навстречу к г-ну Бовари молодая женщина в синем шерстяном платье с тремя оборками и повела его в кухню, где жарко пылал огонь. Вокруг огня стояли чугунки, одни побольше, другие поменьше, — в них варился завтрак для работников. В

камине сушилась мокрая одежда. Совок, каминные щипцы и горло поддувального меха — все это было громадных размеров, и все это сверкало, как полированная сталь; вдоль стен тянулась целая батарея кухонной посуды, в которой отражались языки яркого пламени, разгоревшегося в очаге, и первые лучи солнца, заглядывавшие в окно.

Шарль поднялся к больному на второй этаж. Тот лежал в постели и потел под одеялами; ночной колпак он с себя сбросил. Это был маленький толстенький человек лет пятидесяти, бледный, голубоглазый, лысый, с серьгами в ушах. На стуле возле его кровати стоял большой графин с водкой, из которого он время от времени пропускал для бодрости. При виде врача он тотчас же присмирел, перестал чертыхаться, — а чертыхался он перед этим двенадцать часов подряд, — и начал слабо стонать.

Перелом оказался легкий, без каких бы то ни было осложнений. Шарль даже и не мечтал о такой удаче. Вспомнив, как держали себя в подобных случаях его учителя, он стал подбадривать больного разными шуточками, теми ласками хирурга, которые действуют, как масло на рану. Из каретника принесли дранок на лубки. Шарль выбрал одну дранку, расщепил и поскоблил ее

осколком стекла; служанка тем временем рвала простыню на бинты, а мадемуазель Эмма старательно шила подушечки. Она долго не могла найти игольник, и отец на нее рассердился; она ничего ему не сказала — она только поминутно колола себе в спешке то один, то другой палец, подносила их ко рту и высасывала кровь. Белизна ее ногтей поразила Шарля. Эти блестящие, суживавшиеся к концу ноготки были отполированы лучше дьеппской слоновой кости и подстрижены в виде миндалин. Рука у нее была, однако, некрасивая, пожалуй, недостаточно белая, суховатая в суставах, да к тому же еще чересчур длинная, лишенная волнистой линии изгибов. По-настоящему красивы у нее были глаза; карие, они казались черными из-за ресниц и смотрели на вас в упор с какой-то прямодушной смелостью.

После перевязки г-н Руо предложил доктору «закусить на дорожку».

Шарль спустился в залу. Здесь к изножию большой кровати под ситцевым балдахином с вытканными на нем турками был придвинут столик с двумя приборами и двумя серебряными лафитничками. Из дубового шкафа, высившегося как раз напротив окна, пахло ирисом и только что выстиранными простынями. По углам стояли

рядком на полу мешки с пшеницей. Они, видимо, не поместились в соседней кладовой, куда вели три каменные ступеньки. На стене, с которой от сырости местами сошла зеленая краска, висело в золотой рамке на гвоздике украшение всей комнаты — рисованная углем голова Минервы, а под ней готическими буквами было написано: «Дорогому папочке».

Сперва поговорили о больном, затем о погоде, о том, что стоят холода, о том, что по ночам в поле рыщут волки. Мадемуазель Руо несладко жилось в деревне, особенно теперь, когда почти все хозяйственные заботы легли на нее. В зале было прохладно, девушку пробирала дрожь, и от этого чуть приоткрывались ее пухлые губы, которые она, как только умолкала, сейчас же начинала покусывать.

Ее шея выступала из белого отложного воротничка. Тонкая линия прямого пробора, едва заметно поднимавшаяся вверх соответственно строению черепа, разделяла ее волосы на два темных бандо, оставлявших на виду лишь самые кончики ушей, причем каждое из этих бандо казалось чем-то цельным — до того ее волосы были здесь гладко зачесаны, а на виски они набегали волнами, сзади же сливались в пышный

шиньон, — такой прически сельскому врачу никогда еще не приходилось видеть. Щеки у девушки были розовые. Между двумя пуговицами ее корсажа был засунут, как у мужчины, черепаховый лорнет.

Когда Шарль, зайдя перед отъездом проститься к ее отцу, вернулся в залу, девушка стояла у окна и смотрела в сад на поваленные ветром подпорки для бобов.

— Вы что-нибудь забыли? — обернувшись, спросила она.

— Да, извините, забыл хлыстик, — ответил Шарль.

Он стал искать на кровати, за дверями, под стульями. Хлыст завалился за мешки с пшеницей и лежал у самой стены. Увидела его мадемуазель Эмма. Она наклонилась над мешками. Шарль, по долгу вежливости решив опередить ее, потянулся одновременно с ней и нечаянно прикоснулся грудью к спине девушки, которая стояла, нагнувшись, впереди него. Она выпрямилась и, вся вспыхнув, глядя на него вполоборота, протянула ему плеть.

Назавтра Шарль снова отправился в Берто, хотя обещал приехать через три дня, потом стал ездить аккуратно два раза в неделю, а кроме того,

наезжал иногда неожиданно, якобы по рассеянности.

Между тем все обстояло хорошо. Выздоровление шло по всем правилам лекарского искусства, через сорок шесть дней папаша Руо попробовал без посторонней помощи походить по своей «лачужке», и после этого о г-не Бовари стали отзываться как об очень способном враче. Папаша Руо говорил, что лучшие доктора не только Ивето, но и Руана так скоро бы его не вылечили.

А Шарль даже и не задавал себе вопроса, отчего ему так приятно бывать в Берто. Если б он над этим задумался, он, конечно, объяснил бы свою внимательность серьезностью случая, а быть может, надеждой на недурной заработок. Но в самом ли деле по этой причине поездки на ферму составляли для него счастливое исключение из всех прочих обязанностей, заполнявших его скучную жизнь? В эти дни он вставал рано, пускал коня в галоп, всю дорогу погонял его, а неподалеку от фермы соскакивал, вытирал ноги о траву и натягивал черные перчатки. Ему нравилось въезжать во двор, толкать плечом ворота, нравилось, как поет на заборе петух, правилось, что работники выбегают навстречу. Ему нравились конюшни и рига; нравилось, что

папаша Руо, здороваясь, хлопает его по ладони и называет своим спасителем; нравилось, как стучат по чистому кухонному полу деревянные подошвы, которые мадемуазель Эмма подвязывала к своим кожаным туфлям. На каблуках она казалась выше; когда она шла впереди Шарля, деревянные подошвы, быстро отрываясь от пола, с глухим стуком хлопали по подметкам.

Всякий раз она провожала его до первой ступеньки крыльца. Если лошадь ему еще не подавали, Эмма не уходила. Прощались они заранее и теперь уже не говорили ни слова. Сильный ветер охватывал ее всю, трепал непослушные завитки на затылке, играл завязками передника, развевавшимися у нее на бедрах, точно флажки. Однажды, в оттепельный день, кора на деревьях была вся мокрая и капало с крыш. Эмма постояла на пороге, потом принесла из комнаты зонтик, раскрыла его. Сизый шелковый зонт просвечивал, и по ее белому лицу бегали солнечные зайчики. Эмма улыбалась из-под зонта этой теплой ласке. Было слышно, как на натянутый муар надают капли.

Первое время, когда Шарль только-только еще зачастил в Берто, г-жа Бовари-младшая всякий раз осведомлялась о здоровье больного и даже

отвела ему в приходо-расходной книге большую чистую страницу. Узнав же, что у него есть дочь, она поспешила навести справки. Оказалось, что мадемуазель Руо училась в монастыре урсулинок и получила, как говорится, «прекрасное воспитание», то есть она танцует, знает географию, рисует, вышивает и бренчит на фортепьяно. Нет, это уже слишком!

«Так вот почему, — решила г-жа Бовари, — он весь сияет, когда отправляется к ней, вот почему он надевает новый жилет, не боясь попасть под дождь! Ах, эта женщина! Ах, эта женщина!..»

И она ее инстинктивно возненавидела. Сначала она тешила душу намеками — Шарль не понимал их; потом, будто ненароком, делала какое-нибудь замечание, — из боязни скандала Шарль пропускал его мимо ушей, — а в конце концов стала учинять вылазки, которые Шарль не знал, как отбить. Зачем он продолжает ездить в Берто, раз г-н Руо выздоровел, а денег ему там до сих пор не заплатили? Ну да, конечно, там есть «одна особа», — она рукодельница, востра на язык, сходит за умную. Он этаких любит, ему городские барышни нравятся!

— Но какая же дочка Руо — барышня? — возмущалась г-жа Бовари. — Хороша барышня,

нечего сказать! Дед ее был пастух, а какой-то их родственник чуть не угодил под суд за то, что повздорил с кем-то и полез в драку. Зря она уж так важничает, по воскресеньям к обедне ходит в шелковом платье, подумаешь — графиня! Для бедного старика это чистое разоренье; ему еще повезло, что в прошлом году хорошо уродилась репа, а то бы ему нипочем не выплатить недоимки!

Шарлю эти разговоры опостылели, и он перестал ездить в Берто. После долгих рыданий и поцелуев Элоиза в порыве страсти вынудила его поклясться на молитвеннике, что он больше туда не поедет. Итак, он покорился, но смелое влечение бунтовало в нем против его раболепного поведения, и, наивно обманывая самого себя, он пришел к выводу, что запрет видеть Эмму дает ему право любить ее. К тому же вдова была костлява, зубаста, зимой и летом носила короткую черную шаль, кончики которой висели у нее между лопатками; свой скелет она, как в чехол, упрятывала в платья, до того короткие, что из-под них торчали лодыжки в серых чулках, поверх которых крест-накрест были повязаны тесемки от ее огромных туфель.

К Шарлю изредка приезжала мать, спустя

несколько дней она уже начинала плясать под дудку снохи, и они вдвоем, как две пилы, принимались пилить его и приставать к нему с советами и замечаниями. Напрасно он так много ест! Зачем подносить стаканчик всем, кто бы ни пришел? Это он только из упрямства не надевает фланелевого белья.

Но вот в начале весны энгувильский нотариус, которому вдова Дюбюк доверила свое состояние, дал тягу, захватив с собой всю наличность, хранившуюся у него в конторе. Правда, у Элоизы еще оставался, помимо шести тысяч франков, которые она вложила в корабль, дом на улице Святого Франциска, но, собственно, на хозяйстве супругов ее сказочное богатство, о котором было столько разговоров, никак не отразилось, если не считать кое-какой мебели да тряпья. Потребовалось внести в это дело полную ясность. Дьеппский дом был заложен и перезаложен; какую сумму она хранила у нотариуса — одному богу было известно, а доля ее участия в прибылях от корабля не превышала тысячи экю. Стало быть, эта милая дама все наврала!.. Г-н Бовари-отец в ярости сломал стул о каменный пол и сказал жене, что она погубила сына, связав его с этой клячей, у которой сбруя не лучше кожи. Они поехали в Тост.

Произошло объяснение. Протекало оно бурно. Элоиза, вся в слезах, бросилась к мужу на шею с мольбой заступиться за нее. Шарль начал было ее защищать. Родители обиделись и уехали.

Но *удар был нанесен*. Через неделю Элоиза вышла во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь, а на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «О боже!» — вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!

С похорон Шарль вернулся домой. Внизу было пусто; он поднялся на второй этаж, вошел в спальню и, увидев платье жены, висевшее у изножья кровати, облокотился на письменный стол и, погруженный в горестное раздумье, просидел тут до вечера. Ведь она его все-таки любила.

III

Как-то утром папаша Руо привез Шарлю плату за свою сросшуюся ногу — семьдесят пять франков монетами по сорока су и вдобавок еще индейку. Он знал, что у Шарля горе, и постарался, как мог, утешить его:

— Я ведь это знаю по себе! — говорил он, хлопая его по плечу. — Я это тоже испытал! Когда умерла моя бедная жена, я уходил в поле — хотелось побыть одному; упадешь, бывало, наземь где-нибудь под деревом, плачешь, молишь бога, говоришь ему всякие глупости: увидишь на ветке крота, — в животе у него черви кишат, — одним словом, дохлого крота, и завидуешь ему. А как подумаешь, что другие сейчас обнимают своих милых женушек, — и давай что есть мочи колотить палкой по земле; до того я ошалел, что даже есть перестал; поверите, от одной мысли о кафе у меня с души воротило. Ну, а там день да ночь, сутки прочь, за зимой — весна, за летом, глядишь, осень, и незаметно, по капельке, по чуточке, оно и утекло. Ушло, улетело, вернее, отпустило, потому в глубине души всегда что-то остается, как бы вам сказать?.. Тяжесть вот тут, в груди!

Но ведь это наша общая судьба, стало быть, и не к чему нам так убиваться, не к чему искать себе смерти только оттого, что кто-то другой умер... Встряхнитесь, господин Бовари, и все пройдет! Приезжайте к нам; дочь моя, знаете ли, нет-нет да и вспомнит про вас, говорит, что вы ее забыли. Скоро весна; мы с вами поохотимся на кроликов в заповеднике — это вас немножко отвлечет.

Шарль послушался его совета. Он поехал в Берто; там все оказалось по-прежнему, то есть как пять месяцев назад. Только груши уже цвели, а папаша Руо был уже на ногах и расхаживал по ферме, внося в ее жизнь некоторое оживление.

Считая, что с лекарем нужно быть особенно обходительным, раз у него такое несчастье, он просил его не снимать во дворе шляпы, говорил с ним шепотом, как с больным, и даже сделал вид, будто сердится на то, что Шарлю не приготовили отдельного блюда полегче — что-нибудь вроде крема или печеных груш. Он рассказывал разные истории. Шарль в одном месте невольно расхохотался, но, вспомнив о жене, тотчас нахмурился. За кофе он уже о ней не думал.

Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал к одиночеству. Вскоре он и вовсе перестал тяготиться им благодаря новому для него радост-

ному ощущению свободы. Он мог теперь когда угодно завтракать и обедать, уходить и возвращаться, никому не отдавая отчета, вытягиваться во весь рост на кровати, когда уставал. Словом, он берег себя, нянчился с собой, охотно принимал соболезнования. Смерть жены пошла ему на пользу и в делах; целый месяц все кругом говорили: «Бедный молодой человек! Какое горе!» Его имя приобрело известность, пациентов у него прибавилось, и, наконец, он ездил теперь в любое время к Руо. Он питал какую-то неопределенную надежду, он был беспричинно весел. Когда он приглаживал перед зеркалом свои бакенбарды, ему казалось, что он похорошел.

Однажды он приехал на ферму часов около трех; все были в поле; он вошел в кухню, но ставни там были закрыты, и Эмму он сначала не заметил. Пробиваясь сквозь щели в стенах, солнечные лучи длинными тонкими полосками растягивались на полу, ломались об углы кухонной утвари, дрожали на потолке. На столе ползли вверх по стенкам грязного стакана мухи, а затем, жужжа, тонули на дне, в остатках сидра. При свете, проникавшем в каминную трубу, сажа отливала бархатом, остывшая зола казалась чуть голубоватой. Эмма что-то шила, примостившись

между печью и окном; голова у нее была непокрыта, на голых плечах блестели капельки пота.

По деревенскому обычаю, Эмма предложила Шарлю чего-нибудь выпить. Он было отказался, но она настаивала и в конце концов со смехом объявила, что выпьет с ним за компанию рюмочку ликера. С этими словами она достала из шкафа бутылку кюрасо и две рюмки, одну из них налила доверху, в другой только закрыла донышко и, чокнувшись, поднесла ее ко рту. Рюмка была почти пустая, и, чтобы выпить, Эмме пришлось откачнуться назад; запрокидывая голову, вытягивая губы и напрягая шею, она смеялась, оттого что ничего не ощущала во рту, и кончиком языка, пропущенным между двумя рядами мелких зубов, едва касалась дна. Потом она села и опять взялась за работу — она штопала белый бумажный чулок; она опустила голову и примолкла; Шарль тоже не говорил ни слова. От двери дуло, по полу двигались маленькие кучки сора; Шарль следил за тем, как их подгоняет сквозняк, и слышал лишь, как стучит у него в висках и как где-то далеко во дворе кудахчет курица, которая только что снесла яйцо. Эмма время от времени прикладывала руки к щекам, чтобы они не так горели, а потом, чтобы стало холоднее рукам,

дотрагивалась до железной ручки больших каминных щипцов.

Она пожаловалась, что с наступлением жары у нее начались головокружения, спросила, не помогут ли ей морские купанья, рассказала о монастыре, Шарль, в свою очередь, рассказал о своем коллеже, и так у них завязалась оживленная беседа. Они прошли к ней в комнату. Она показала ему свои старые ноты, книжки, которые она получила в награду, венки из дубовых листьев, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Потом заговорила о своей матери, о кладбище и даже показала клумбу в саду, с которой в первую пятницу каждого месяца срывала цветы на ее могилку. Вот только садовник у них никуда не годный; вообще бог знает что за прислуга! Эмма мечтает жить в городе — хотя бы зимой, впрочем, летней порою день все прибавляется, и в деревне тогда, наверно, еще скучнее. В зависимости от того, о чем именно она говорила, голос ее делался то высоким и звонким, то внезапно ослабевал и, когда она рассказывала о себе, постепенно снижался почти до шепота, меж тем как лицо ее то озарялось радостью, и она широко раскрывала свои наивные глаза, а то вдруг мысль ее уносилась далеко, и она смотрела скучающим взглядом

из-под полуопущенных век.

Вечером, по дороге домой, Шарль вызывал в памяти все ее фразы, одну за другой, пытался припомнить их в точности, угадать их скрытый смысл, чтобы до осязаемости ясно представить себе, как она жила, когда он с ней еще не был знаком. Но его мысленный взор видел ее такою, какой она предстала перед ним впервые, или же такою, какой он оставил ее только что. Потом он задал себе вопрос: что с ней станется, когда она выйдет замуж? И за кого? Увы! Папаша Руо богат, а она... она такая красивая! Но тут воображению его вновь явился облик Эммы, и что-то похожее на жужжанье волчка неотвязно зазвучало у него в ушах: «Вот бы тебе на ней жениться! Тебе бы на ней жениться!» Ночью он никак не мог уснуть, в горле у него все пересохло, хотелось пить; он встал, выпил воды и растворил окно; небо было звездное, дул теплый ветерок, где-то далеко лаяли собаки. Он поглядел в сторону Берто.

Решив, что, в сущности говоря, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово при первом удобном случае сделать Эмме предложение, но язык у него всякий раз прилипал к гортани.

Папаша Руо был не прочь сбыть дочку с рук, — помогала она ему плохо. В глубине души он ее

оправдывал — он считал, что она слишком умна для сельского хозяйства, этого богом проклятого занятия, на котором миллионов не наживешь. В самом деле, старик не только не богател, но из году в год терпел убытки, ибо хотя на рынках он чувствовал себя как рыба в воде и умел показать товар лицом, зато собственно к земледелию, к ведению фермерского хозяйства он не питал ни малейшей склонности. Ничем особенно он себя не утруждал, денег на свои нужды не жалел — еда, тепло и сон были у него на первом плане. Он любил крепкий сидр, жаркое с кровью, любил прихлебывать кофе с коньячком. Он ел всегда в кухне, один, за маленьким столиком, который ему подавали уже накрытым, точно в театре.

Итак, заметив, что Шарль в присутствии Эммы краснеет, — а это означало, что на днях он попросит ее руки, — папаша все обдумал заранее. Шарля он считал «мозгляком», не о таком зяте мечтал он прежде, но, с другой стороны, Шарль, по общему мнению, вел себя безукоризненно, все говорили, что он бережлив, очень сведущ, — такой человек вряд ли станет особенно торговаться из-за приданого. А тут еще папаше Руо пришлось продать двадцать два акра своей земли, да к тому же он задолжал каменщику, шорнику, и потом

надо было поправить вал в давильне:

«Посватается — отдам», — сказал он себе.

Перед самым Михайловым днем Шарль на трое суток приехал в Берто. Третий день, как и два предыдущих, прошел в том, что его отъезд все откладывался да откладывался. Папаша Руо пошел проводить Шарля; они шагали по проселочной дороге и уже собирались проститься: пора было заговорить. Шарль дал себе слово начать, когда они дойдут до конца изгороди, и, как только изгородь осталась позади, он пробормотал:

— Господин Руо, мне надо вам сказать одну вещь. Оба остановились. Шарль молчал.

— Ну, выкладывайте! Я и так все знаю! — сказал Руо, тихонько посмеиваясь.

— Папаша!.. Папаша!.. — лепетал Шарль.

— Я очень доволен, — продолжал фермер. — Девочка, наверно, тоже, но все-таки надо ее спросить. Ну, прощайте, — я пойду домой. Но только если она скажет «да», не возвращайтесь — слышите? — во избежание сплетен, да и ее это может чересчур взволновать. А чтобы вы не томились, я вам подам знак: настежь распахну окно с той стороны, — вы влезете на забор и увидите.

Привязав лошадь к дереву, Шарль выбежал на тропинку и стал ждать. Прошло тридцать минут,

потом он отметил по часам еще девятнадцать. Вдруг что-то стукнуло об стену — окно распахнулось, задвижка еще дрожала.

На другой день Шарль в девять часов утра был уже на ферме. При виде ого Эмма вспыхнула, но, чтобы не выдать волнения, попыталась усмехнуться. Панаша Руо обнял будущего зятя. Заговорили о материальной стороне дела; впрочем, для этого было еще достаточно времени — приличия требовали, чтобы бракосочетание состоялось после того, как у Шарля кончится траур, то есть не раньше весны. Зима прошла в ожидании. Мадемуазель Руо занялась приданым. Часть его была заказана в Руане, а ночные сорочки и чепчики она шила сама по картинкам в журнале мод, который ей дали на время. Когда Шарль приезжал в Берто, с ним обсуждали приготовления к свадьбе, совещались, в какой комнате устроить обед, уславливались о количестве блюд и относительно закусок.

Эмме хотелось венчаться в полночь, при свете факелов, но папаше Руо эта затея не пришлась по душе. И вот наконец сыграли свадьбу: гостей съехалось сорок три человека, пир продолжался шестнадцать часов, а утром — опять за то же, и потом еще несколько дней доедали остатки.

IV

Приглашенные начали съезжаться с раннего утра в колясках, в одноколках, в двухколесных шарабанах, в старинных кабриолетах без верха, в крытых повозках с кожаными занавесками, а молодежь из соседних деревень, стоя, выстроившись в ряд, мчалась на телегах и, чтобы не упасть, держалась за грядки, — так сильно трясло. Понаехали и те, что жили в десяти милях отсюда, — из Годервиля, из Норманвиля, из Кани. Шарль и Эмма созвали всю свою родню, помирились со всеми друзьями, с которыми были до этого в ссоре, разослали письма тем знакомым, кого давным-давно потеряли из виду.

Время от времени за изгородью щелкал бич, вслед за тем ворота растворялись, во двор въезжала повозка. Кони лихо подкатывали к самому крыльцу, тут их на всем скаку осаживали, и повозка разгружалась, — из нее с обеих сторон вылезали гости, потирали себе колени, потягивались. Дамы были в чепцах, в сшитых по-городски платьях с блестевшими на них золотыми цепочками от часов, в накидках, концы которых крест-накрест завязывались у пояса, или же в цветных

косыночках, сколотых на спине булавками и открывавших сзади шею. Около мальчиков, одетых так же, как их папаши, и, видимо, чувствовавших себя неловко в новых костюмах (многие из них сегодня первый раз в жизни надели сапоги), молча стояла какая-нибудь рослая девочка лет четырнадцати — шестнадцати, наверно, их кузина или старшая сестра, в белом платье, сшитом ко дню первого причастия и ради такого случая удлиненном, с волосами, жирными от розовой помады, вся красная, оторопелая, больше всего на свете боявшаяся испачкать перчатки. Конюхов не хватало, поэтому лошадей распрягали, засучив рукава, сами отцы семейств. Их одежда находилась в строгом соответствии с занимаемым ими положением в обществе — одни приехали во фраках, другие в сюртуках, третьи в пиджаках, четвертые в куртках, и все это у них было добротное, вызывавшее к себе почтительное отношение всех членов семьи, извлекавшееся из шкафов только по торжественным дням: сюртуки — с длинными разлетающимися полами, с цилиндрическими воротничками, с широкими, как мешки, карманами; куртки — толстого сукна, к которым обыкновенно полагалась фуражка с медным ободком на козырьке; пиджачки — кургузые,

с двумя пуговицами на спине, посаженными так близко, что они напоминали глаза, с фалдами, точно вырубленными плотником из цельного дерева. Некоторые (эти, разумеется, сидели за столом на самых непочетных местах) явились даже в парадных блузах, то есть в таких, отложные воротнички которых лежали на плечах, спинку же, собранную в мелкие складки, перехватывал низко подпоясанный вышитый кушак.

А на груди панцирями выгибались крахмальные сорочки! Мужчины только что подстриглись, — поэтому уши у них торчали, — и тщательно побрились; у тех, что встали нынче еще до рассвета и брились впотьмах, под носом были видны поперечные царапины, а на скулах — порезы величиною с трехфранковую монету; дорогой их обветрило, и казалось, будто все эти широкие, одутловатые лица кто-то отделал под розовый мрамор.

Так как от фермы до мэрии считалось не больше полумили, то все пошли туда пешком и пешком возвращались из церкви, после венчанья, на ферму. Шествие, двигавшееся сначала единой пестрой лентой, колыхавшейся в полях на узкой тропинке, что извивалась меж зеленей, вскоре растянулось и распалось на отдельные группы,

увлекшиеся разговором. Впереди всех выступал музыкант со скрипкой, затейливо разукрашенной лентами; за ним шли новобрачные, потом сбившиеся в одну кучу родные и знакомые, а позади обрывала овсинки и под шумок затевала возню детвора. Платье Эммы, чересчур длинное, касалось земли; время от времени она останавливалась, подбирала его и осторожно снимала колючки затянутыми в перчатки пальцами, а Шарль, отпустив ее руку, ждал. Папаша Руо, в новом цилиндре и в черном фраке с рукавами чуть не до ногтей, вел под руку г-жу Бовари-мать. А г-н Бовари-отец, который в глубине души презирал все это общество и явился на свадьбу в простом однобортном, военного покроя сюртуке, расточал трактирные комплименты белокурой крестьянской девушке. Девушка приседала, краснела, не знала, что отвечать. Гости толковали о своих делах, а иные подтрунивали друг над другом, заранее настраиваясь на веселый лад. Музыкант все играл, все играл; прислушавшись, можно было различить его пиликанье. Как только скрипач замечал, что ушел далеко вперед, он сейчас же останавливался перевести дух, долго натирал канифолью смычок, чтобы струны визжали громче, а потом двигался дальше, то поднимая, то

опуская гриф, — это помогало ему держать такт. Заслышав издали его игру, птички разлетались в разные стороны.

Стол накрыли в каретнике, под навесом. Подали четыре филе, шесть фрикасе из кур, тушеную телятину и три жарких, а на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками, с гарниром из щавеля. По углам стола возвышались графины с водкой. На бутылках со сладким сидром вокруг пробок выступила густая пена, стаканы были заранее налиты вином доверху. Желтый крем на огромных блюдах трясся при малейшем толчке; на его гладкой поверхности красовались инициалы новобрачных, выведенные мелкими завитушками. Нугу и торты готовил кондитер, выписанный из Ивето. В этих краях он подвизался впервые и решил в грязь лицом не ударить — на десерт он собственными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колоннадой, а вокруг храма в нишах, усеянных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; второй этаж составлял савойский пирог в виде башни, окруженный

невысокими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и апельсинных долек, а на самом верху громоздились скалы, виднелись озера из варенья, на озерах — кораблики из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качался крошечный амурчик на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бутонами живых роз.

Обед тянулся до вечера. Устав сидеть, гости шли погулять во двор или на гумно — поиграть в «пробку», а потом опять возвращались на свои места. К концу обеда многие уже храпели. Но за кофе все снова оживились, запели песни, потом мужчины начали пробовать силу — упражнялись с гирями, показывали свою ловкость, пытались взвалить себе на плечи телегу, за столом говорили сальности, обнимали дам. Вечером стали собираться домой, но лошадей перекормили овсом, и они не хотели влезать в оглобли, брыкались, вскакивали на дыбы, рвали упряжь, а хозяева — кто бранился, кто хохотал. И всю ночь по дорогам бешеным галопом неслись при лунном свете крытые повозки, опрокидывались в канавы, перемахивали через кучи щебня, скатывались с косогоров вниз, а женщины, высунувшись в дверцу, подхватывали вожжи.

Те, что остались в Берто, пропьянствовали ночь

в кухне. Дети уснули под лавками.

Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее один из их родственников, торговец рыбой (он даже в качестве свадебного подарка привез две камбалы), начал было прыскать водой в замочную скважину, но папаша Руо подоспел вовремя и попытался втолковать ему, что зять занимает видное положение и что эти непристойные выходки по отношению к нему недопустимы. Однако родственник проникся его доводами не сразу. Подумав про себя, что папаша Руо зазнался, он отошел в уголок, к группе гостей; этим гостям случайно достались за обедом неважные куски, и теперь они, разобидевшись, перемывали косточки хозяину и, хотя и не прямо, желали ему разориться.

Госпожа Бовари-мать за весь день не проронила ни звука. С ней не посоветовались ни относительно наряда невесты, ни относительно распорядка свадебного пиршества; уехала она рано. Ее супруг остался — он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра все курил и попивал грог, чем заслужил особое уважение всей компании, которая понятия не имела о подобной смеси.

Шарль, остроумием не отличавшийся, во время свадебного пира не блистал. На все шутки,

каламбуры, двусмысленности, поздравления и вольные намеки, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с самого начала обеда, он отвечал не очень удачно.

Зато наутро это был уже совсем другой человек. Казалось, что это он утратил невинность, меж тем как по непроницаемому виду молодой ни о чем нельзя было догадаться. Даже самые злые насмешники — и те прикусили язык, и когда она проходила мимо, они только глазели на нее, тщетно шевеля мозгами. Но Шарль и не думал таиться. Он называл Эмму женой, говорил ей «ты», спрашивал у каждого, как она ему нравится, всюду бегал за ней, беспрестанно уводил в сад, и гостям издалека было видно, как он, обняв ее за талию, гуляет по аллее, как он склоняется головой к ней на грудь и мнет кружевную отделку корсажа.

Через два дня после свадьбы молодые уехали — Шарль не мог дольше оставаться в Берто из-за пациентов. Папаша Руо дал им свою повозку и проводил их до Васонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, потом слез с повозки и пошел домой. Отойдя шагов на сто, он обернулся и, глядя, как крутятся по дорожной пыли колеса удаляющейся повозки, тяжело вздохнул. Он вспомнил

былое, вспомнил свою свадьбу, первую беременность жены; он тоже был весел в тот день, когда она сидела сзади него верхом на коне, бежавшем рысью по белому-белому полю, — ведь это было незадолго до Рождества, и снег уже выпал; одною рукой она держалась за мужа, а в другой у нее была корзинка; ветер трепал длинные концы ее кошского кружевного чепчика, они закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он видел, что к его плечу вплотную прижимается ее улыбающееся розовое личико, выглядывающее из-под золотого ободка чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как все это было давно! Теперь их сыну исполнилось бы уже тридцать лет! Старик еще раз оглянулся, но повозка скрылась из виду. И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи. В его голове, которую затуманили винные пары, трогательные воспоминания мешались с мрачными мыслями, и его вдруг потянуло к церкви. Но, боясь, как бы ему там не стало еще тоскливее, он зашагал прямо домой.

Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к шести часам. Соседи бросились к окнам поглядеть на молодую докторшу.

Старая служанка поздоровалась со своей повой госпожой, поздравила ее, извинилась, что обед

еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.

V

Дом своим кирпичным фасадом выходил прямо на улицу или, вернее, на дорогу. За дверью висели плащ с низким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара штиблет, на которых уже успела засохнуть грязь. Направо дверь вела в залу, то есть в комнату, где обедали и сидели по вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде гирлянды цветов дрожали на плохо натянутой холщовой подкладке; на окнах висели цеплявшиеся одна за другую белые коленкоровые занавески с красной каемкой, а на узкой каминной полочке, между двумя накладного серебра подсвечниками с овальными абажурами, поблескивали часы с головой Гиппократа. В противоположном конце коридора была дверь в кабинет Шарля — каморку шагов в шесть шириной, — там стоял стол, три стула и рабочее кресло. Тома «Медицинской энциклопедии», хотя и неразрезанные, но после многочисленных перепродаж успевшие основательно поистрепаться, занимали почти целиком шесть полок елового книжного шкафа. Больные, сидя здесь на приеме, дышали кухонным чадом,

проникавшим сквозь стену, зато в кухне было слышно, как они кашляют и во всех подробностях рассказывают о своих болезнях. За кабинетом находилась нежилая комната, окнами во двор, на конюшню, заменявшая теперь и дровяной сарай, и подвал, и кладовую, — там валялись железный лом, пустые бочонки, пришедшие в негодность садовые инструменты и много всякой другой пыльной рухляди, неизвестно для чего в свое время предназначавшейся.

Неширокий, но длинный сад тянулся меж двух глинобитных стен, не видных за рядами абрикосовых деревьев, и упирался в живую изгородь из кустов терновника, а дальше уже начинались поля. Посреди сада на каменном постаменте высились солнечные часы из аспидного сланца; четыре клумбы чахлого шиповника симметрично окружали грядку полезных насаждений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гипсовый священник.

Эмма поднялась на второй этаж. В первой комнате никакой обстановки не было, а во второй, где помещалась спальня супругов, стояла в алькове кровать красного дерева под красным пологом. На комоде привлекала внимание коробочка, отделанная ракушками; у окна на секретере стоял

в графине букет флёрдоранжа, перевязанный белою атласною лентою. То был букет новобрачной, букет первой жены! Взгляд Эммы остановился на нем. Шарль это заметил и, взяв букет, понес его на чердак, а молодая, в ожидании, пока расставят тут же, при ней, ее вещи, села в кресло и, вспомнив о своем свадебном букете, лежавшем в картонке, задала себе вопрос, какая участь постигнет ее флёрдоранж, если вдруг умрет и она.

С первых же дней Эмма начала вводить новшества. Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, заново покрасила лестницу, в саду вокруг солнечных часов поставила скамейки и даже стала расспрашивать, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец супруг, зная, что она любит кататься, купил по случаю двухместный шарабанчик, который благодаря новым фонарям и крыльям из простроченной кожи мог сойти и за тильбюри.

Словом, Шарль наслаждался безоблачным счастьем. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большаку, движение, каким его жена поправляла прическу, ее соломенная шляпка, висевшая на оконной задвижке, и множество других мелочей, прелесть которых была ему прежде незнакома, представляли для него неиссякаемый источник

блаженства. Утром, лежа с Эммой в постели, он смотрел, как солнечный луч золотит пушок на ее бледно-розовых щеках, полуприкрытых оборками чепца. На таком близком расстоянии, особенно когда она, просыпаясь, то приподнимала, то опускала веки, глаза ее казались еще больше; черные в тени, темно-синие при ярком свете, они как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере приближения к белку. Глаз Шарля тонул в этих пучинах, — Шарль видел там уменьшенного самого себя, только до плечей, в фуляровом платке на голове и в сорочке с расстегнутым воротом. Он вставал. Она подходила к окну и смотрела, как он уезжает. Она облокачивалась на подоконник, между двумя горшками с геранью, и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль ставил ноги на тумбу и пристегивал шпоры; Эмма продолжала с ним разговаривать, стоя наверху, покусывая лепесток или былинку, а потом сдувала ее по направлению к Шарлю, и она долго держалась в воздухе, порхала, описывала круги, словно птица, и, прежде чем упасть, цеплялась за лохматую гриву старой белой кобылы, стоявшей у порога не шевелясь. Шарль садился верхом, по-

сылал Эмме воздушный поцелуй, она кивала ему в ответ, закрывала окно, он уезжал. И на большой дороге, бесконечною пыльною лентою расстилавшейся перед ним, на проселках, под сводом низко нагнувшихся ветвей, на межах, где колосья доходили ему до колен, Шарль чувствовал, как солнце греет ему спину, вдыхал утреннюю прохладу и, весь во власти упоительных воспоминаний о минувшей ночи, радуясь, что на душе у него спокойно, что плоть его удовлетворена, все еще переживал свое блаженство, подобно тому как после обеда мы еще некоторое время ощущаем вкус перевариваемых трюфелей.

Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четырех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче п способнее его, которые смеялись над его выговором, потешались над его одеждой и которым матери, когда являлись на свидание, проносили в муфтах пирожные? Или позднее, когда он учился на лекаря и когда в карманах у него было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кадриль, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить? Потом он год и два

месяца прожил со вдовой, у которой, когда она ложилась в постель, ноги были холодные, как ледышки. А теперь он до конца своих дней будет обладать прелестною, боготворимою им женщиной. Весь мир замыкался для него в пределы шелковистого обхвата ее платьев. И он упрекал себя в холодности, он скучал без нее. Он спешил домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма у себя в комнате занималась туалетом; он подходил к ней неслышными шагами, целовал ее в спину, она вскрикивала.

Не дотрагиваться поминутно до ее гребенки, косынки, колец — это было свыше его сил; он то взасос целовал ее в щеки, то покрывал быстрыми поцелуями всю ее руку, от кончиков пальцев до плеча, а она полуласково, полусердито отталкивала его, как отстраняем мы детей, когда они виснут на нас.

До свадьбы она воображала, что любит, но счастье, которое должно было возникнуть из этой любви, не пришло, и Эмма решила, что она ошиблась. Но она все еще старалась понять, что же на самом деле означают слова: «блаженство», «страсть», «упоение» — слова, которые казались ей такими прекрасными в книгах.

VI

В детстве она прочла «Поля и Виргинию» и долго потом мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе с милым маленьким братцем, который срывал бы для нее красные плоды с громадных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней по песку босиком, с птичьим гнездом в руках.

Когда ей исполнилось тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Остановились они в квартале Сен-Жерве, на постоялом дворе; ужин подали им на тарелках, на которых были нарисованы сцены из жизни мадемуазель де Лавальер. Апокрифического характера надписи, исцарапанные ножами, прославляли религию, чувствительность, а также роскошь королевского двора.

Первое время она совсем не скучала в монастыре; ей хорошо жилось у монахинь, которые, желая доставить ей развлечение, водили ее в часовню, соединенную с трапезной длинным коридором. На переменах она особой резвости не проявляла, катехизис ей давался легко, и на трудные вопро-

сы викария всякий раз отвечала она. Окутанную тепличной атмосферой классов, окруженную бледноликими женщинами, носившими четки с медными крестиками, ее постепенно завораживала та усыпительная мистика, что есть и в церковных запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках свечей. Стоя за обедней, она, вместо того чтобы молиться, рассматривала в своей книжке обведенные голубою каймой заставки духовно-нравственного содержания; ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, пронзенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий под тяжестью креста. Однажды она попробовала ради умерщвления плоти целый день ничего не есть. Она долго ломала себе голову, какой бы ей дать обет.

Идя на исповедь, она нарочно придумывала разные мелкие грехи, чтобы подольше постоять на коленях в полутьме, скрестив руки, припав лицом к решетке, слушая шепот духовника. Часто повторявшиеся в проповедях образы жениха, супруга, небесного возлюбленного, вечного бракосочетания как-то особенно умиляли ее.

Вечерами, перед молитвой, им обыкновенно читали что-нибудь душеспасительное: по будням — отрывки из священной истории в кратком

изложении или «Беседы» аббата Фрейсину, а по воскресеньям, для разнообразия, — отдельные места из «Духа христианства». Как она слушала вначале эти полнозвучные пени романтической тоски, откликающиеся на все призывы земли и вечности! Если бы детство ее протекло в торговом квартале какого-нибудь города, в комнате рядом с лавкой, ее мог бы охватить пламенный восторг перед природой, которым мы обыкновенно заражаемся от книг. Но она хорошо знала деревню; мычанье стад, молочные продукты, плуги — все это было ей так знакомо! Она привыкла к мирным картинам, именно поэтому ее влекло к себе все необычное. Если уж море, то чтобы непременно бурное, если трава, то чтобы непременно среди развалин. Это была натура не столько художественная, сколько сентиментальная, ее волновали не описания природы, но излияния чувств, в каждом явлении она отыскивала лишь то, что отвечало ее запросам, и отметала как ненужное все, что не удовлетворяло ее душевных потребностей.

Каждый месяц в монастырь на целую неделю приходила старая дева — белошвейка. Она принадлежала к старинному дворянскому роду, разорившемуся во время революции, поэтому

ей покровительствовал сам архиепископ и ела она за одним столом с монахинями, а после трапезы, прежде чем взяться за шитье, оставалась с ними поболтать. Пансионерки часто убегали к ней с уроков. Она знала наизусть любовные песенки прошлого века и, водя иглой, напевала их. Она рассказывала разные истории, сообщала новости, выполняла в городе любые поручения и потихоньку давала читать старшим ученицам романы, которые она всюду носила с собой в кармане передника и которые сама глотала во время перерывов целыми главами. Там было все про любовь, там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челны, озаренные лунным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как львы, кроткие, как агнцы, добродетельные донельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые, как урны. Пятнадцатилетняя Эмма целых полгода дышала этой пылью старинных книгохранилищ. Позднее Вальтер Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить хижинами поселян, парад-

ными залами и менестрелями. Ей хотелось жить в старинном замке и проводить время по примеру дам, носивших длинные корсажи и, облокотясь на каменный подоконник, опершись головой на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем. В ту пору она преклонялась перед Марией Стюарт и обожала всех прославленных и несчастных женщин. Жанна д'Арк, Элоиза, Агнеса Сорель, Прекрасная Ферроньера и Клеманс Изор — все они, точно кометы, выступали перед ней из непроглядной тьмы времен, да еще кое-где мелькали тонувшие во мраке, никак между собою не связанные Людовик Святой под дубом, умирающий Баярд, зверства Людовика XI, сцены из Варфоломеевской ночи, султан на шляпе Беарнца, и, разумеется, навсегда запечатлелись у нее в памяти тарелки с рисунками, восславлявшими Людовика XIV.

На уроках музыки она пела только романсы об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах, гондольерах, и сквозь нелепый слог и несуразный напев этих безвредных вещиц проступала для нее пленительная фантасмагория жизни сердца. Подруги Эммы приносили в монастырь кипсеки, которые им дарили на

Новый год. Их приходилось прятать, это было не так-то просто; читали их только в дортуарах. Чуть дотрагиваясь до великолепных атласных переплетов, Эмма останавливала восхищенный взор на указанных под стихами именах неизвестных ей авторов — по большей части графов и виконтов.

От ее дыхания шелковистая папиросная бумага, загнувшись, приподнималась кверху, а потом снова медленно опускалась на гравюру, и уже это одно приводило Эмму в трепет. Бумага прикрывала то юношу в коротком плаще, за балюстрадой балкона обнимавшего девушку в белом платье с кошелечком у пояса, то портреты неизвестных английских леди с белокурыми локонами, глядевших большими ясными глазами из-под круглых соломенных шляпок. Одна из этих леди полулежала в коляске, скользившей по парку, а впереди бежавших рысью лошадей, которыми правили два маленьких грума в белых рейтузах, вприпрыжку неслась борзая. Другая леди, в мечтательной позе раскинувшись на софе и положив рядом с собой распечатанное письмо, глядела на луну в приоткрытое окно с приспущенной черной занавеской. Чистые душою девушки, проливая слезы, целовались с

горлинками между прутьев готических клеток или, улыбаясь, склонив головку набок, обрывали лепестки маргаритки загнутыми кончиками пальцев, острыми, как носки у туфелек. Там были и вы, султаны с длинными чубуками, под навесами беседок млеющие в объятиях баядерок, гяуры, турецкие сабли, фески, но особенно обильно там были представлены вы, в блеклых тонах написанные картины, изображающие некие райские уголки, картины, на которых мы видим пальмы и тут же рядом — ели, направо — тигра, налево — льва, вдали — татарский минарет, на переднем плане — руины древнего Рима, поодаль — разлегшихся на земле верблюдов, причем все это дано в обрамлении девственного, однако тщательно подметенного леса и освещено громадным отвесным лучом солнца, дробящимся в воде серостального цвета, а на фоне воды белыми пятнами вырезываются плавающие лебеди.

И все эти виды земного шара, беспрерывной чередою мелькавшие перед мысленным взором Эммы в тишине спальни под стук запоздалой пролетки, доносившийся издалека, с какого-нибудь бульвара, озарял свет лампы под абажуром, висевшей прямо над головою девушки.

Когда у нее умерла мать, она первое время

плакала, не осушая глаз. Она заказала траурную рамку для волос покойницы, а в письме к отцу, полном мрачных мыслей о жизни, выразила желание, чтобы ее похоронили в одной могиле с матерью. Старик решил, что дочка заболела, и поехал к ней. Эмма в глубине души была довольна, что ей сразу удалось возвыситься до трудно достижимого идеала отрешения от всех радостей жизни — идеала, непосильного для людей заурядных. Словом, она попалась в сети к Ламартину, и ей стали чудиться звуки арфы на озерах, лебединые песни, шорох опадающих листьев, непорочные девы, возносящиеся на небо, голос предвечного, звучащий в долине. Все это ей скоро наскучило, но она не хотела себе в этом признаться и продолжала грустить — сперва по привычке, потом из самолюбия, но в конце концов, к немалому своему изумлению, почувствовала, что успокоилась, что в сердце у нее не больше кручины, чем морщин на лбу.

Добрые инокини, с самого начала столь проницательно угадавшие, в чем именно состоит ее призвание, теперь были крайне поражены, что мадемуазель Руо, видимо, уходит из-под их влияния. Они зорко следили за тем, чтобы она выстаивала службы, часто заводили с ней разговор

об отречении от мира, были щедры на молитвы и увещания, внушали ей, как надо чтить мучеников и угодников, давали ей столько мудрых советов, как должно укрощать плоть и спасать душу, и в конце концов довели ее до того, что она, точно лошадь, которую тянут за узду, вдруг остановилась как вкопанная, и удила выпали у нее изо рта. То была натура, при всей своей восторженности, рассудочная: в церкви ей больше всего нравились цветы, в музыке — слова романсов, в книгах — волнения страстей, таинства же она отвергала, но еще больше ее возмущало послушание, чуждое всему ее душевному строю. Когда отец взял ее из пансиона, то это никого не огорчило. Настоятельница даже заметила, что последнее время Эмма была недостаточно почтительна с монахинями.

Дома она сперва охотно командовала слугами, но деревня ей скоро опротивела, и она пожалела о монастыре. К тому времени, когда Шарль первый раз приехал в Берто, Эмма прониклась убеждением, что она окончательно разочаровалась в жизни, что она все познала, все испытала.

Заговорила ли в ней жажда новизны, или, быть может, сказалось нервное возбуждение, охватывавшее ее в присутствии Шарля, но только Эмма

вдруг поверила, что то дивное чувство, которое она до сих пор представляла себе в виде райской птицы, парящей в сиянии несказанно прекрасного неба, слетело наконец к ней. И вот теперь она никак не могла убедить себя, что эта тихая заводь и есть то счастье, о котором она мечтала.

VII

Порой ей приходило в голову, что ведь это же лучшие дни ее жизни, так называемый медовый месяц. Но, чтобы почувствовать их сладость, надо, очевидно, удалиться в края, носящие звучные названия, в края, где первые послесвадебные дни бывают полны такой чарующей неги! Ехать бы шагом в почтовой карете с синими шелковыми шторами по крутому склону горы, слушать, как поет песню кучер, как звенят бубенчиками стада коз, как глухо шумит водопад и как всем этим звукам вторит горное эхо! Перед заходом солнца дышать бы на берегу залива ароматом лимонных деревьев, а вечером сидеть бы на террасе виллы вдвоем, рука в руке, смотреть на звезды и мечтать о будущем! Эмма думала, что есть такие места на земле, где счастье хорошо родится, — так иным растениям нужна особая почва, а на любой другой они принимаются с трудом. Как бы хотела она сейчас облокотиться на балконные перила в каком-нибудь швейцарском домике или укрыть свою печаль в шотландском коттедже, где с нею был бы только ее муж в черном бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в тре-

угольной шляпе и кружевных манжетах!

Вероятно, она ощущала потребность кому-нибудь рассказать о своем душевном состоянии. Но как выразить необъяснимую тревогу, изменчивую, точно облако, быстролетную, точно ветер? У нее но было слов, не было повода, ей не хватало смелости.

И все же ей казалось, что если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы он взглядом хоть раз ответил на ее мысль, от ее сердца мгновенно отделилось бы и хлынуло наружу все, что в нем созревало: так отрываются спелые плоды от фруктового дерева — стоит только его тряхнуть. Но отрыв этот, хотя их жизни сближались все тесней и тесней, происходил только в ее внутреннем мире, не находя отзвука вовне, и это разобщало ее с Шарлем.

Речь Шарля была плоской, точно панель, по которой вереницей тянулись чужие мысли в их будничной одежде, не вызывая ни волнения, ни смеха, ничего не говоря воображению. Он сам признавался, что в Руане так и не удосужился сходить в театр, ему неинтересно было посмотреть парижских актеров. Он не умел плавать, не умел фехтовать, не умел стрелять из пистолета и как-то раз не смог объяснить Эмме смысл попав-

шегося ей в одном романе выражения из области верховой езды.

А между тем разве мужчина не должен знать все, быть всегда на высоте, не должен вызывать в женщине силу страсти, раскрывать перед ней всю сложность жизни, посвящать ее во все тайны бытия? Но он ничему не учил, ничего не знал, ничего не желал. Он думал, что Эмме хорошо. А ее раздражало его безмятежное спокойствие, его несокрушимая самоуверенность, даже то, что он с нею счастлив.

Эмма иногда рисовала, и Шарль находил громадное удовольствие в том, чтобы стоять подле нее и смотреть, как она наклоняется над бумагой и, щурясь, вглядывается в свой рисунок или раскатывает на большом пальце хлебные шарики. А когда она играла на фортепьяно, то чем быстрее мелькали ее пальцы, тем больше восхищался Шарль. Она уверенно барабанила по клавишам, пробегая всю клавиатуру без остановки. При открытом окне терзаемый ею старый инструмент с дребезжащими струнами бывало слышно на краю села, и часто писарь, без шапки, в шлепанцах, с листом бумаги в руке шедший из суда по мостовой, останавливался послушать.

Помимо всего прочего, Эмма была хорошая

хозяйка. Больным она посылала счета за визиты в форме изящно составленных писем без единого канцелярского оборота. По воскресеньям, когда к ним приходил обедать кто-нибудь из соседей, она всегда придумывала изысканное блюдо, укладывала ренклоды пирамидками на виноградных листьях, следила за тем, чтобы варенье было подано на тарелочках, и даже поговаривала о покупке мисочек со стаканами для полосканья рта после сладкого блюда. Все это придавало Шарлю еще больше веса в округе.

В конце концов он и сам проникся к себе уважением за то, что у него такая жена. Он с гордостью показывал гостям висевшие на длинных зеленых шнурах два ее карандашных наброска, которые он велел вставить в широкие рамы. Идя от обедни, все могли видеть, как он в красиво вышитых туфлях посиживает у порога своего дома.

От больных он возвращался поздно вечером — обычно в десять, иногда в двенадцать. Он просил покормить его, а так как служанка уже спала, то подавала ему Эмма. Чтобы чувствовать себя свободнее, он снимал сюртук. Он рассказывал, кого он сегодня видел, в каких селах побывал, какие лекарства прописал, и, довольный собой, доедал остатки говядины, ковырял сыр, грыз яблоко,

опорожнял графинчик, затем шел в спальню, ложился на спину и начинал храпеть.

Он всегда раньше надевал на ночь колпак, а потому фуляровый платок не держался у него на голове; утром его всклокоченные волосы, белые от пуха, вылезшего из подушки с развязавшимися ночью тесемками наволочки, свисали ему на лоб. И зимой и летом он ходил в высоких сапогах с глубокими косыми складками на подъеме и с прямыми, негнущимися, словно обутыми на деревяшку, головками. Он говорил, что «в деревне и так сойдет».

Матери Шарля нравилось, что он такой расчетливый; она по-прежнему приезжала к нему после очередного более или менее крупного разговора с супругом, но против своей снохи г-жа Бовари-мать, видимо, все еще была предубеждена. Она считала, что Эмма «живет не по средствам», что «дров, сахару и свечей уходит у нее не меньше, чем в богатых домах», а что угля жгут каждый день на кухне столько, что его хватило бы и на двадцать пять блюд. Она раскладывала белье в шкафах, учила Эмму разбираться в мясе, которое мясники приносили на дом. Эмма выслушивала ее наставления, г-жа Бовари на них не скупилась; слова «дочка», «маменька», по целым дням не

сходившие с уст свекрови и невестки, произносились с поджатыми губами: обе говорили друг другу приятные вещи дрожащими от злобы голосами.

Во времена г-жи Дюбюк старуха чувствовала, что Шарль привязан к ней сильнее, чем к жене, но его чувство к Эмме она расценивала как спад его сыновней нежности, как посягательство на ее собственность. И она смотрела на счастье сына с безмолвной печалью, — так разорившийся богач заглядывает в окно того дома, который когда-то принадлежал ему, и видит, что за столом сидят чужие люди. Она рассказывала Шарлю о прошлом единственно для того, чтобы напомнить, сколько она из-за него выстрадала, чем для него пожертвовала, и чтобы после этого резче выступило невнимательное отношение к нему жены, а потом делала вывод, что у него нет никаких оснований так уж с нею носиться.

Шарль не знал, что отвечать; он почитал свою мать и бесконечно любил жену; мнение матери было для него законом, но ему не в чем было упрекнуть и Эмму. После отъезда матери он робко пытался повторить в тех же выражениях какое-нибудь самое безобидное ее замечание, но Эмма, не тратя лишних слов, доказывала ему, как два-

жды два, что он не прав, и отсылала к больным.

И все же, следуя мудрым, с ее точки зрения, правилам, она старалась уверить себя, что любит мужа. В саду при лунном свете она читала ему все стихи о любви, какие только знала на память, и со вздохами пела унылые адажио, но это и ее самое ничуть не волновало, и у Шарля не вызывало прилива нежности, не потрясало его.

Наконец Эмма убедилась, что ей не высечь ни искры огня из своего сердца, да к тому же она была неспособна понять то, чего не испытывала сама, поверить в то, что но укладывалось в установленную форму, и ей легко удалось внушить себе, что в чувстве Шарля нет ничего необыкновенного. Проявления этого чувства он определенным образом упорядочил — он ласкал ее в известные часы. Это стало как бы одной из его привычек, чем-то вроде десерта, который заранее предвкушают, сидя за однообразным обедом.

Лесник, которого доктор вылечил от воспаления легких, подарил г-же Бовари борзого щенка; Эмма брала его с собой на прогулку, — она иногда уходила из дому, чтобы хоть немного побыть одной и не видеть перед собою все тот же сад и пыльную дорогу.

Она доходила до банвильской буковой рощи;

здесь, углом к полю, стоял заброшенный домик, в заросшем травою овраге тянулся кверху остролистый тростник.

Эмма прежде всего смотрела, не изменилось ли тут что-нибудь с прошлого раза. Но все оставалось по-старому: и наперстянка, и левкои, и заросли крапивы вокруг больших камней, и пятна лишая на наличниках трех окон, закрытые ставни которых со ржавыми железными болтами гнили и крошились. Мысли Эммы, сперва неясные, перескакивали с предмета на предмет, подобно ее щенку, который то делал круги по полю, то гавкал на желтых бабочек, то гонялся за землеройками, а то покусывал маки на краю полосы, засеянной пшеницею. Но мало-помалу думы ее останавливались на одном, и, сидя на лужайке, водя зонтиком по траве, она твердила:

— Боже мой! Зачем я вышла замуж?

Эмма задавала себе вопрос: не могла ли она при ином стечении обстоятельств встретить кого-нибудь другого? Она пыталась представить себе, как бы происходили эти несовершившиеся события, как бы сложилась эта совсем иная жизнь, каков был бы этот неведомый ее супруг. В самом деле, ведь не все же такие, как Шарль. Муж у нее мог быть красив, умен, благовоспитан,

обаятелен, — за таких, наверно, вышли замуж ее подруги по монастырскому пансиону. Как-то они поживают?

От шума городских улиц, от гуденья в зрительных залах, от блеска балов их сердца радуются, их чувства расцветают. А ее жизнь холодна, как чердак со слуховым окошком на север, и тоска бессловесным пауком оплетала в тени паутиной все уголки ее сердца. Эмма вспоминала, как в дни раздачи наград она поднималась на эстраду за веночком. С длинной косой, в белом платье и открытых прюнелевых туфельках, она была очень мила, и когда она возвращалась на свое место, мужчины наклонялись к ней и говорили комплименты. Двор был заставлен экипажами, подруги прощались с ней, выглядывая в дверцы карет, учитель музыки со скрипкой в футляре, проходя мимо, кланялся ей. Куда все это девалось? Куда?

Она подзывала Джали, ставила ее между колен, гладила ее длинную острую мордочку и говорила:

— Ну, поцелуй свою хозяйку! Ведь тебе не о чем горевать.

Глядя в печальные глаза стройной, сладко зевавшей собачки, Эмма умилялась и, воображая, будто это она сама, говорила с ней, утешала ее,

как утешают человека в беде.

Порой поднимался вихрь; ветер с моря облетал все Кошское плато, донося свою соленую свежесть до самых отдаленных полей. Шуршал, пригибаясь к земле, тростник; шелестели, дрожа частою дрожью, листья буков, а верхушки их все качались и качались с гулким и ровным шумом. Эмма накидывала шаль на плечи и поднималась с земли.

В аллее похрустывал под ногами гладкий мох, на который ложился дневной свет, зеленый от скрадывавшей его листвы. Солнце садилось; меж ветвей сквозило багровое небо; одинаковые стволы деревьев, рассаженные по прямой линии, вырисовывались на золотом фоне коричневой колоннадой; на Эмму нападал страх, она подзывала Джали, быстрым шагом возвращалась по большой дороге в Тост, опускалась в кресло и потом весь вечер молчала.

Но в конце сентября нечто необычное вторглось в ее жизнь: она получила приглашение в Вобьесар, к маркизу д'Андервилье.

В эпоху Реставрации маркиз отправлял должность статс-секретаря, и теперь он, надумав вернуться к государственной деятельности, собирался исподволь обеспечить себе успех на

выборах в палату депутатов. Зимой он направо и налево раздавал хворост, в генеральном совете произносил зажигательные речи, требуя проведения в своем округе новых дорог. В летнюю жару у него образовался нарыв в горле, и Шарлю каким-то чудом удалось, вовремя прибегнув к ланцету, быстро его вылечить. Управляющий имением, посланный в тот же вечер в Тост уплатить за операцию, доложил, что видел в докторском саду чудные вишни. Так как в Вобьесаре вишни росли плохо, то маркиз попросил несколько отростков у Бовари, а затем счел своим долгом поблагодарить его лично, познакомился с Эммой и нашел, что она хорошо сложена и здоровается не по-деревенски; одним словом, в замке пришли к заключению, что если пригласить молодых супругов, то это не уронит достоинства владельцев замка и не будет бестактностью по отношению к другим приглашенным.

Однажды, в среду, в три часа дня, г-н и г-жа Бовари сели в свой шарабанчик и поехали в Вобьесар; сзади к шарабану был привязан большой чемодан, у самого кожаного верха помещалась коробка для шляпы, а в ногах у Шарля стояла картонка.

Приехали они под вечер, когда в парке уже

зажигали фонарики, чтобы осветить дорогу прибывающим гостям.

VIII

Замок — современная постройка в итальянском стиле, с двумя выдвинувшимися вперед крыльями и тремя подъездами — ширился в низине, куда спускалось бескрайнее поле; по полю между купами высоких деревьев бродили коровы; вдоль извилистой, усыпанной песком дороги раскидывалась, неодинаковой величины шатрами, листва разросшихся буйно кустов рододендрона, жасмина, калины. Через реку был перекинут мост. Сквозь туман проступали очертания крытых соломой строений, разбросанных среди луга, справа и слева упиравшегося в пологие лесистые холмы, а сзади тянулись, утопая в зелени, два ряда сараев и конюшен, уцелевших при сносе старого замка.

Шарабанчик Шарля остановился у среднего подъезда; появились слуги; вышел маркиз и, предложив руку жене доктора, ввел ее в вестибюль.

Пол в вестибюле был мраморный, потолок очень высокий, шаги и голоса раздавались тут, как в церкви. Прямо шла вверх, не делая ни одного поворота, лестница, налево галерея, выхо-

дившая окнами в сад, вела в бильярдную, — едва переступив порог вестибюля, вы уже слышали долетавший оттуда стук костяных шаров. В бильярдной, через которую Эмме надо было пройти, чтобы попасть в гостиную, ей бросились в глаза осанистые мужчины, все в орденах, их высокие воротнички и то, как они, молча улыбаясь, размахивали киями. На темном дереве панели под широкими золотыми рамами были написаны черными буквами имена. Эмма прочла: «Жан-Антуан д'Андервилье д'Ивербонвиль, граф де ла Вобьесар, барон де ла Френей, пал в сражении при Кутра 20 октября 1587 года». А под другим портретом: «Жан-Антуан-Анри-Ги д'Андервилье де ла Вобьесар, адмирал Франции, кавалер ордена Михаила Архангела, ранен в бою при Уг-Сен-Вааст 29 мая 1692 года, скончался в Вобьесаре 23 января 1693 года». Дальше уже трудно было что-нибудь разобрать, так как свет от лампы падал прямо на зеленое сукно бильярда, а в комнате реял сумрак. Наводя темный глянец на полотна, развешанные во всю ширину стен, этот свет острыми гранями сверкал в трещинах лака, и на больших черных, окаймленных золотом прямоугольниках кое-где выступало лишь то, что было ярче освещено: бледный лоб, глаза, смотревшие прямо на вас,

букли парика, завивающиеся в кольца на обсыпанных пудрой плечах красного камзола, пряжка подвязки на упругой икре.

Маркиз распахнул дверь в гостиную. Одна из дам (это была его жена) встала, пошла Эмме навстречу, а затем усадила ее рядом с собой на диванчик и повела с ней дружескую беседу, как со своей старой знакомой. Это была женщина лет сорока, с красивыми плечами, с орлиным носом, с певучим выговором; в тот вечер на ее темно-русые волосы была накинута простая гипюровая косынка, образовавшая сзади треугольник. Рядом, на стуле с высокой спинкой, сидела молодая блондинка; у камина какие-то господа с цветками в петлицах фраков занимали дам разговором.

В семь часов подали обед. Мужчины, составлявшие большинство, сели за один стол в вестибюле, дамы — за другой, в столовой, с хозяевами.

Эмма, войдя в столовую, тотчас почувствовала, как ее окутывает тепло, овевает смешанный запах цветов, тонкого белья, жаркого и трюфелей. На серебряных крышках растягивались огни канделябров; тускло отсвечивал запотевший граненый хрусталь; через весь стол тянулись строем вазы с цветами; на тарелках с широким бордюром, в раструбах салфеток, сложенных в виде

епископских митр, лежали продолговатые булочки. С краев блюд свешивались красные клешни омаров; в ажурных корзиночках высились обложенные мхом крупные плоды; перепелки были поданы в перьях; над столом поднимался пар; метрдотель в шелковых чулках, коротких штанах, в белом галстуке и жабо, важный, как судья, продвигал между плечами гостей блюда с уже нарезанными кушаньями и одним взмахом ложки сбрасывал на тарелку выбранный кем-либо кусок. С высокой фаянсовой печи, отделанной медью, неподвижным взглядом смотрела на многолюдное сборище статуэтка женщины, задрапированной до самого подбородка.

Госпожа Бовари заметила, что некоторые дамы не положили перчаток в стаканы.

На почетном месте, один среди женщин, сидел и ел, наклонившись над полной тарелкой, старик, — ему, как ребенку, повязали салфетку, и с губ у него капал соус. Глаза у старика были в красных жилках, сзади свисала косица со вплетенной в нее черной лентой. Это был тесть маркиза, старый герцог де Лавердьер, которого граф д'Артуа приблизил к себе в ту пору, когда он ездил охотиться в Водрейль к маркизу де Конфлан, и который, как говорят, был любовником королевы

Марии-Антуанетты после г-на де Куаньи и перед г-ном де Лозеном. Когда-то он вел бурный образ жизни, кутил, сражался на дуэлях, заключал пари, увозил женщин, сорил деньгами, держал в страхе семью. Сейчас за его стулом стоял лакей и, наклоняясь к самому его уху, выкрикивал названия блюд, а тот показывал на них пальцем и мычал. Этот вислогубый старик невольно притягивал к себе взгляд Эммы, как будто перед ней было что-то величественное, необыкновенное. Подумать только: он жил при дворе, он лежал в постели королевы!

В бокалы налили замороженного шампанского. Как только Эмма ощутила во рту его холод, по всему ее телу пробежали мурашки. Она никогда не видела гранатов, никогда не ела ананасов. Даже сахарная пудра казалось ей какой-то особенно белой и мелкой, не такой, как везде.

После обеда дамы разошлись по комнатам переодеться к балу. У Эммы туалет был обдуман до мелочей, точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей советовал парикмахер, она надела барежевое платье, которое было разложено на постели. У Шарля панталоны жали в поясе.

— Штрипки будут мне мешать танцевать, — сказал он.

— Танцевать? — переспросила Эмма.

— Ну да!

— Ты с ума сошел! Не смеши людей, сиди смирно. Врачу это больше пристало, — добавила она.

Шарль промолчал. В ожидании, пока Эмма оденется, он стал ходить из угла в угол.

Он видел ее в зеркале сзади, между двух свечей. Ее черные глаза сейчас казались еще темнее. Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньоне трепетала на гибком стебле роза с искусственными росниками на лепестках. Бледно-шафранового цвета платье было отделано тремя букетами роз-помпон с зеленью.

Шарль хотел поцеловать ее в плечо.

— Оставь! — сказала она. — Изомнешь мне платье.

Внизу скрипка заиграла ритурнель, послышались звуки рога. Эмма, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, спустилась с лестницы.

Кадриль уже началась. Гости все подходили. Стало тесно. Эмма села на скамейку у самой двери.

По окончании контрданса танцующих сменили посреди залы группы мужчин, беседовавших стоя, и ливрейные лакеи с большими подносами. В ряду сидевших девиц колыхались разрисован-

ные вееры, прикрывались букетами улыбки, руки в белых перчатках, очерчивавших форму ногтей и стягивавших кожу у запястья, вертели флакончики с золотыми пробками. Кружевные оборки, брильянтовые броши, браслеты с подвесками — все это трепетало на корсажах, поблескивало на груди, позванивало на обнаженных руках. Волосы, гладко зачесанные спереди, собирались в пучок на затылке, а сверху венками, гроздьями, ветками были уложены незабудки, жасмин, гранатовый цвет, колосья и васильки. Матери в красных тюрбанах чинно сидели с надутыми лицами на своих местах.

Сердце у Эммы невольно дрогнуло, когда кавалер взял ее за кончики пальцев и в ожидании удара смычка стал с нею в ряд. Но волнение скоро прошло. Покачиваясь в такт музыке, чуть заметно поводя шеей, она заскользила по зале. Порою на ее лице появлялась улыбка, вызванная некоторыми оттенками в звучании скрипки; их можно было уловить, лишь когда другие инструменты смолкали; тогда же слышался тот чистый звук, с каким сыпались на сукно игорных столов золотые монеты; потом все вдруг начиналось сызнова: точно удар грома, раскатывался корнета-пистон, опять все так же мерно сгибались ноги,

раздувались и шелестели юбки, сцеплялись и отрывались руки; все те же глаза то опускались, то снова глядели на вас в упор.

Несколько мужчин от двадцати пяти до сорока лет (их было всего человек пятнадцать), присоединившихся к танцующим или к тем, кто беседовал в дверях залы, выделялись из толпы своим как бы фамильным сходством, выступавшим, несмотря на разницу в возрасте, на различие в наружности и в одежде.

Фраки, сшитые, по-видимому, из более тонкого, чем у других, сукна, как-то особенно хорошо на них сидели, волосы со взбитыми на висках локонами были напомажены самой лучшей помадой. Здоровая белизна их лиц, которая поддерживалась умеренностью в еде, изысканностью кухни и которую усиливали матовый фарфор, покрытая лаком дорогая мебель и переливчато блестевший атлас, свидетельствовала о том, что это люди состоятельные. Они свободно могли поворачивать шею, оттого что галстуки у них были повязаны низко; их длинные бакенбарды покоились на отложных воротничках; они вытирали себе губы вышитыми, распространявшими нежный запах платками, на которых бросались в глаза крупные метки. Те, что уже начали стареть,

выглядели молодо, а на лицах у молодых лежал отпечаток некоторой зрелости. В их равнодушных взглядах отражалось спокойствие, которое достигается ежедневным утолением страстей, а сквозь мягкость их движений проступала та особая жестокость, которую пробуждает в человеке господство над существами, покорными ему не вполне, развивающими его силу и тешащими его самолюбие, будь то езда на породистых лошадях или связь с падшими женщинами.

В трех шагах от Эммы кавалер в синем фраке и бледная молодая женщина с жемчужным ожерельем говорили об Италии. Оба восхищались колоннами собора св. Петра, Тиволи, Везувием, Кастелламмаре, Кассино, генуэзскими розами, Колизеем при лунном свете. Одновременно Эмма вслушивалась в разговор о чем-то для нее непонятном. Гости обступили какого-то юнца, который рассказывал, как он на прошлой неделе обскакал в Англии Мисс Арабеллу и Ромула, как он, рискнув, выиграл две тысячи луидоров. Кто-то другой жаловался, что его скаковые жеребцы жиреют, третий сетовал на опечатки, исказившие кличку его лошади.

В бальной зале становилось душно, свет ламп тускнел. Гости отхлынули в бильярдную. Лакей

влез на стул и разбил окно; услышав звон стекла, г-жа Бовари обернулась и увидела, что из сада в окно смотрят крестьяне. И туг она вспомнила Берто. Воображению ее представились ферма, тинистый пруд, ее отец в блузе под яблоней и она сама, снимающая пальчиком устой с крынок молока в погребе. Но в сиянии нынешнего дня жизнь ее, такая до сих пор ясная, мгновенно померкла, и Эмма уже начинала сомневаться, ее ли это жизнь.

Она, Эмма, сейчас на балу, а на все, что осталось за пределами бальной залы, наброшен покров мрака. Жмурясь от удовольствия, она посасывала мороженое с мараскином, — она брала его ложечкой с позолоченного блюдца, которое было у нее в левой руке.

Дама, сидевшая рядом с ней, уронила веер. В это время мимо проходил танцор.

— Будьте любезны, сударь, — обратилась к нему дама, — поднимите, пожалуйста, мой веер, он упал за канапе!

Господин наклонился, и Эмма успела заметить, что, как только он протянул руку, дама бросила ему в шляпу что-то белое, сложенное треугольником. Господин достал веер и почтительно вручил его даме; она поблагодарила его кивком головы и

поднесла к лицу букет цветов.

За ужином пили много испанских и рейнских вин, был подан раковый суп, суп с миндальным молоком, травальгарский пудинг и множество холодных мясных блюд с дрожащим галантиром, а после ужина кареты одна за другой стали разъезжаться. Отодвинув уголок муслиновой занавески, можно было видеть, как скользил в темноте свет от их фонарей. На скамейках стало просторно; за карточными столами кое-кто еще продолжал игру; музыканты облизывали одеревеневшие кончики пальцев; Шарль прислонился к двери и задремал.

В три часа утра начался котильон. Эмма не умела вальсировать. А между тем все танцевали вальс, даже мадемуазель д'Андервилье и маркиза; на котильон остались лишь те, кто гостил в замке, — всего человек десять.

И вот один из танцующих в обтягивавшем грудь очень открытом жилете, — этого господина все звали просто «виконтом», — уже второй раз подошел приглашать г-жу Бовари и дал слово, что он ее поведет и что все будет хорошо.

Начали они медленно, потом стали двигаться быстрее. Они сами вертелись, и все вертелось вокруг них, словно диск на оси: лампы, мебель,

панель, паркет. У дверей край платья Эммы порхнул по его панталонам; они касались друг друга коленями; он смотрел на нее сверху вниз, она поднимала на него глаза; на нее вдруг нашел столбняк, она остановилась. Потом они начали снова; все ускоряя темп, виконт увлек ее в самый конец залы, и там она, запыхавшись и чуть не упав, на мгновение склонила голову ему на грудь. А затем, все еще кружа ее, но уже не так быстро, он доставил ее на место: она запрокинула голову, прислонилась к стене и прикрыла рукой глаза.

Когда же она открыла их опять, то увидела, что посреди гостиной перед дамой, сидящей на пуфе, стоят на коленях три кавалера. Дама выбрала виконта, и тогда опять заиграла скрипка.

Все смотрели на эту пару. Виконт и его дама то удалялись, то приближались; у нее корпус был неподвижен, подбородок чуть-чуть опущен, а он, танцуя, сохранял одно и то же положение: держался прямо, линия рук у него была округлена, голова вздернута. Вот эта его дама умела вальсировать! Они танцевали долго и утомили всех.

Гости потом еще несколько минут поболтали и, пожелав друг другу спокойной ночи или, вернее, доброго утра, пошли спать.

Шарль еле двигался; он говорил, что «ноги у

него не идут». Он пять часов подряд простоял возле карточных столов — все смотрел, как играют в вист, в котором он ровно ничего не смыслил. И теперь, сняв ботинки, он облегченно вздохнул.

Эмма накинула на плечи шаль, отворила окно и облокотилась на подоконник.

Ночь была темная. Накрапывал дождь. Влажный ветер освежал ей веки, она жадно вдыхала его. В ушах у нее все еще гремела бальная музыка, и она гнала от себя сон, чтобы продлить наслаждение всей этой роскошью, от которой ей скоро предстояло уехать.

Занималась заря. Эмма долго смотрела на окна замка, стараясь угадать, кто из гостей в какой комнате ночует. Ей хотелось узнать жизнь каждого из них, понять ее, войти в нее.

В конце концов Эмма продрогла. Она разделась и, юркнув под одеяло, свернулась клубком подле спящего Шарля.

К завтраку собралось много народа. Сидели за столом минут десять; к удивлению лекаря, никаких напитков подано не было. Мадемуазель д'Андервилье собрала в корзиночку крошки от пирога и отнесла на пруд лебедям, а потом все пошли в зимний сад, где диковинные колючие растения тянулись пирамидами к вазам, под-

вешенным к потолку, а из этих ваз, словно из змеиных гнезд, свисали, уже не помещаясь в них, длинные сплетшиеся зеленые жгуты. Зимний сад заканчивался оранжереей, представлявшей собою крытый ход в людскую. Желая доставить г-же Бовари удовольствие, маркиз повел ее в конюшню. Над кормушками, сделанными в виде корзинок, висели фарфоровые дощечки, на которых черными буквами были написаны клички лошадей. Когда маркиз, проходя мимо денников, щелкал языком, лошади начинали волноваться. В сарае пол блестел, как паркет в гостиной. Сбруя была развешана на двух вращающихся столбиках; на стенах висели в ряд удила, хлысты, стремена, уздечки.

Тем временем Шарль сказал слуге, что пора запрягать. Шарабанчик подали к самому подъезду, и, когда все вещи были уложены, супруги Бовари, простившись с хозяевами, поехали к себе в Тост.

Эмма молча смотрела, как вертятся колеса. Шарль сидел на самом краю и, расставив руки, правил; оглобли были слишком широки для лошадки, и она бежала иноходью. Слабо натянутые, покрытые пеною вожжи болтались у нее на спине; сзади все время чувствовались сильные и мерные толчки, — это бился о кузов привязанный

к спинке чемодан.

Они поднимались на Тибурвильскую гору, как вдруг навстречу им вымахнули и пронеслись мимо смеющиеся всадники с сигарами во рту. Эмме показалось, что один из них был виконт; она обернулась, но увидела лишь не в лад опускавшиеся и поднимавшиеся головы, так как одни ехали рысью, другие — галопом.

Проехав еще с четверть мили, Шарль остановил лошадь и подвязал веревкой шлею.

Когда же он, перед тем как пуститься в путь, еще раз осмотрел упряжь, ему показалось, что под ногами у лошади что-то валяется; он нагнулся и поднял зеленый шелковый портсигар, на котором, как на дверце кареты, красовался герб.

— Э, да тут еще две сигары остались! — сказал он. — Это мне будет на вечер, после ужина.

— Разве ты куришь? — спросила Эмма.

— Иногда, при случае, — ответил Шарль.

И, сунув находку в карман, стегнул лошаденку. К их приезду обед еще не был готов. Г-жа Бовари рассердилась. Настази нагрубила ей.

— Убирайтесь вон! — крикнула Эмма. — Я не позволю вам надо мной издеваться. Вы у меня больше не служите.

На обед у них был луковый суп и телятина со

щавелем. Шарль сел напротив Эммы и, с довольным видом потирая руки, сказал:

— В гостях хорошо, а дома лучше!

Было слышно, как плакала Настази. Шарль успел привязаться к бедной девушке. Еще будучи вдовцом, он коротал с нею длинные, ничем не заполненные вечера. Она была его первой пациенткой, самой старинной его знакомой во всем околотке.

— Ты правда хочешь ей отказать? — спросил он.

— Да, — ответила Эмма. — А что, разве я в том не вольна?

После обеда, пока Настази стелила постели, они грелись на кухне. Шарль закурил. Он выпячивал губы, ежеминутно сплевывал и при каждой затяжка откидывался.

— У тебя голова закружится, — презрительно сказала Эмма.

Он отложил сигару и побежал на колодец выпить холодной воды. Эмма схватила портсигар и засунула его поглубже в шкаф.

На другой день время тянулось бесконечно долго! Эмма гуляла по садику, все по одним и тем же дорожкам, останавливалась перед клумбами, перед абрикосовыми деревьями, перед гипсовым

священником, — все это ей было так знакомо, но она смотрела на все с изумлением. Каким далеким уже казался ей бал! Кто же это разделил таким огромным пространством позавчерашнее утро и нынешний вечер? Поездка в Вобьесар расколола ее жизнь — так гроза в одну ночь пробивает иногда в скале глубокую расселину. И все же Эмма смирилась; она благоговейно уложила в комод весь свой чудесный наряд, даже атласные туфельки, подошвы которых пожелтели от скользкого навощенного паркета. С ее сердцем случилось то же, что с туфельками: от соприкосновения с роскошью на нем осталось нечто неизгладимое.

Вспоминать о бале вошло у Эммы в привычку. Каждую среду она говорила себе, просыпаясь: «Неделю... две недели... три недели назад я была в замке!» Но мало-помалу все лица в ее воображении слились в одно, она забыла музыку танцев, она уже не так отчетливо представляла себе ливреи и комнаты; подробности выпали из памяти, но сожаление осталось.

IX

Когда Шарль уходил, Эмма часто вынимала из шкафа засунутый ею в белье зеленый шелковый портсигар.

Она рассматривала его, раскрывала и даже обнюхивала подкладку, пропахшую вербеной и табаком. Кто его обронил?.. Виконт. Может быть, это подарок любовницы. Его вышивали в палисандровых пяльцах; эту маленькую вещицу приходилось укрывать от постороннего взора, над нею склонялись мягкие локоны задумчивой рукодельницы, посвящавшей этому занятию весь свой досуг. Клеточки канвы были овеяны любовью, каждый стежок закреплял надежду или воспоминание, сплетенные шелковые нити составляли продолжение все той же безмолвной страсти. Потом, однажды утром, виконт унес подарок. А пока портсигар лежал на широкой каминной полочке между вазой с цветами и часами в стиле Помпадур; о чем велись разговоры в той комнате?.. Она, Эмма, в Тосте. А он теперь там, в Париже! Какое волшебное слово! Эмме доставляло особое удовольствие повторять его вполголоса; оно отдавалось у нее в ушах, как звон

соборного колокола, оно пламенело перед ее взором на всем, даже на ярлычках помадных банок.

По ночам ее будили рыбаки, с пением «Майорана» проезжавшие под окнами, и, прислушиваясь к стуку окованных железом колес, мгновенно стихавшему, как только тележки выезжали за село, где кончалась мостовая, она говорила себе:

«Завтра они будут в Париже!»

Мысленно она ехала следом за ними, поднималась и спускалась с пригорков, проезжала деревни, при свете звезд мчалась по большой дороге. Но всякий раз на каком-то расстоянии от дома ее мечта исчезала в туманной дали.

Она купила план Парижа и, водя пальцем, гуляла по городу. Шла бульварами, останавливалась на каждом перекрестке, перед белыми прямоугольниками, изображавшими дома. В конце концов глаза у нее уставали, она опускала веки и видела, как в вечернем мраке раскачиваются на ветру газовые рожки, как с грохотом откидываются перед колоннадами театров подножки карет.

Она выписала дамский журнал «Свадебные подарки» и «Сильф салонов». Читала она там все подряд: заметки о премьерах, о скачках, о вечерах, ее одинаково интересовали и дебют певицы, и открытие магазина. Она следила за модами,

знала адреса лучших портних, знала, по каким дням ездят в Булонский лес и по каким — в Оперу. У Эжена Сю она изучала описания обстановки, у Бальзака и Жорж Санд искала воображаемого утоления своих страстей. Она и за стол не садилась без книги; пока Шарль ел и разговаривал с ней, она переворачивала страницу за страницей. Читая, она все время думала о виконте. Она устанавливала черты сходства между ним и вымышленными персонажами. Однако нимб вокруг него постепенно увеличивался, — удаляясь от его головы, он расходился все шире и озарял уже иные мечты.

Теперь в глазах Эммы багровым заревом полыхал необозримый, словно океан, Париж. Слитная жизнь, бурлившая в его сутолоке, все же делилась на составные части, распадалась на ряд отдельных картин. Из них Эмма различала только две или три, и они заслоняли все остальные, являлись для нее изображением человечества в целом. В зеркальных залах между круглыми столами, покрытыми бархатом с золотой бахромой, по лощеному паркету двигались дипломаты. То был мир длинных мантий, великих тайн, душевных мук, скрывающихся за улыбкой. Дальше шло общество герцогинь; там лица у всех были

бледны, вставать полагалось там не раньше четырех часов дня, женщины — ну просто ангелочки! — носили юбки, отделанные английскими кружевами, мужчины — непризнанные таланты с наружностью вертопрахов — загоняли лошадей на прогулках, летний сезон проводили в Бадене, а к сорока годам женились на богатых наследницах. В отдельных кабинетах ночных ресторанов хохотало разношерстное сборище литераторов и актрис. Литераторы были по-царски щедры, полны высоких дум и бредовых видений. Они возвышались над всеми, витали между небом и землею, в грозовых облаках; было в них что-то не от мира сего. Все прочее расплывалось, не имело определенною места, как бы не существовало вовсе. Чем ближе приходилось Эмме сталкиваться с бытом, тем решительнее отвращалась от него ее мысль. Все, что ее окружало. — деревенская скука, тупость мещан, убожество жизни, — казалось ей исключением, чистой случайностью, себя она считала ее жертвой, а за пределами этой случайности ей грезился необъятный край любви и счастья. Чувственное наслаждение роскошью отождествлялось в ее разгоряченном воображении с духовными радостями, изящество манер — с тонкостью переживаний. Быть может, лю-

бовь, подобно индийской флоре, тоже нуждается в разрыхленной почве, в особой температуре? Вот почему вздохи при луне, долгие объятия, слезы, капающие на руки в миг расставания, порывы страсти и тихая нежность — все это было для нее неотделимо от балконов больших замков, где досуг длится вечно, от будуаров с шелковыми занавесками и плотными коврами, от жардиньерок с цветами, от кроватей на возвышениях, от игры драгоценных камней и от ливрей со шнурами.

Каждое утро по коридору топал ногами в грубых башмаках почтовый кучер, приходивший к Бовари чистить кобылу; на нем была рваная блуза, башмаки свои он надевал на босу ногу. Вот кто заменял грума в рейтузах! Сделав свое дело, он уходил и до следующего утра уже не показывался; Шарль, вернувшись от больных, сам отводил лошадь в стойло и, расседлав, надевал на нее оброть, а тем временем служанка приносила охапку соломы и как попало валила ее в кормушку.

На место Настази, которая, обливаясь слезами, уехала наконец из Тоста, Эмма взяла четырнадцатилетнюю девочку-сиротку с кротким выражением лица. Она запретила ей носить чепец, приучила обращаться к хозяевам на «вы»,

подавать стакан воды на тарелочке, без стука не входить, гладить и крахмалить белье, приучила одевать себя, — словом, хотела сделать из нее настоящую горничную. Новая служанка, боясь, как бы ее не прогнали, всему подчинялась безропотно, но так как барыня обыкновенно оставляла ключ в буфете, то Фелисите каждый вечер таскала оттуда понемножку сахар и, помолившись богу, съедала его тайком в постели.

В сумерки она иногда выходила за ворота и переговаривалась через улицу с кучерами. Барыня сидела у себя наверху. Эмма носила открытый капот; между шалевыми отворотами корсажа выглядывала гофрированная кофточка на трех золотых пуговках. Подпоясывалась она шнуром с большими кистями, ее туфельки гранатового цвета были украшены пышными бантами, которые закрывали весь подъем. Она купила себе бювар, почтовой бумаги, конвертов, ручку, но писать было некому. Она вытирала пыль с этажерки, смотрелась в зеркало, брала книгу, затем погружалась в раздумье, и книга падала к ней на колени. Ее тянуло путешествовать, тянуло обратно в монастырь. Ей хотелось умереть и в то же время хотелось жить в Париже.

А Шарль и в метель и в дождь разъезжал вер-

хом по проселкам. Он подкреплял свои силы яичницей, которой его угощали на фермах, прикасался к влажным от пота простыням, делал кровопускания, и теплая кровь брызгала ему в лицо, выслушивал хрипы, рассматривал содержимое ночной посуды, задирал сорочки на груди у больных. Зато каждый вечер его ждали пылающий камин, накрытый стол, мягкая мебель и элегантно одетая обворожительная жена, от которой всегда веяло свежестью, так что трудно было понять, душилась она чем-нибудь или это запах ее кожи, которым пропиталось белье.

Она приводила его в восторг своей изобретательностью: то как-то по-другому сделает бумажные розетки для подсвечников, то переменит на своем платье волан, то придумает какое-нибудь особенное название для самого обыкновенного блюда, которое испортила кухарка, и Шарль пальчики себе оближет. Как только она увидела в Руане, что дамы носят на часах связки брелоков, она купила брелоки и себе. Ей пришло в голову поставить на камин сперва две большие вазы синего стекла, потом — слоновой кости коробочку для шитья с позолоченным наперстком. Шарль во всех этих тонкостях не разбирался, но от этого они ему еще больше нравились. Они усиливали

его жизнерадостность и прибавляли уюта его домашнему очагу.

Чувствовал он себя отлично, выглядел превосходно, его репутация установилась прочно. Крестьяне любили его за то, что он был не гордый. Он ласкал детей, в питейные заведения не заглядывал, нравственность его была безупречна. Особенно хорошо вылечивал он катары и бронхиты. Дело в том, что, пуще всего боясь уморить больного, он прописывал преимущественно успокоительные средства, да еще в иных случаях рвотное, ножные ванны, пиявки. В то же время он не испытывал страха и перед хирургией: кровь отворял, не жалея, точно это были не люди, а лошади, зубы рвал «железной рукой».

«Чтобы не отстать», он выписал, ознакомившись предварительно с проспектом, новый журнал «Вестник медицины». После обеда он почитывал его, но духота в комнате и пищеварение так на него действовали, что через пять минут, уронив голову на руки и свесив гриву на подставку от лампы, он уже засыпал. Эмма смотрела на него и пожимала плечами. Почему ей не встретился хотя бы один из тех молчаливых тружеников, которые просиживают ночи над книгами и к шестидесяти годам, когда приходит

пора ревматизма, получают крестик в петлицу плохо сшитого черного фрака? Ей хотелось, чтобы имя Бовари приобрело известность, чтобы его можно было видеть на витринах книжных лавок, чтобы оно мелькало в печати, чтобы его знала вся Франция. Но Шарль самолюбием не отличался! Врач из Ивето, с которым он встретился на консилиуме, несколько пренебрежительно с ним обошелся у постели больного, в присутствии родственников. Вечером Шарль рассказал об этом случае Эмме, и та пришла в полное негодование. Супруг был растроган. Со слезами на глазах он поцеловал жену в лоб. А она сгорала со стыда, ей хотелось побить его; чтобы успокоиться, она выбежала в «коридор, распахнула окно и стала дышать свежим воздухом.

— Какое ничтожество! Какое ничтожество! — кусая губы, шептала она.

Шарль раздражал ее теперь на каждом шагу. С возрастом у него появились некрасивые манеры: за десертом он резал ножом пробки от пустых бутылок, после еды прищелкивал языком, чавкал, когда ел суп; он начинал толстеть, и при взгляде на него казалось, что из-за полноты щек и без того маленькие его глаза оттягиваются к самым вискам.

Иногда Эмма заправляла ему за жилет красную каемку его фуфайки, поправляла галстук или выбрасывала поношенные перчатки, заметив, что он собирается их надеть. Но он ошибался, воображая, будто все это делается для него, — все это она делала для себя, из эгоизма, в сердцах. Иногда она даже пересказывала ему прочитанное: какой-нибудь отрывок из романа, из новой пьесы, светскую новость, о которой сообщалось в газетном фельетоне: какой ни на есть, а все-таки это был человек, и притом человек, внимательно ее слушавший, всегда с ней соглашавшийся. А ведь она открывала душу и своей собаке! Она рада была бы излить ее маятнику, дровам в камине.

Однако она все ждала какого-то события. Подобно морякам, потерпевшим крушение, она полным отчаяния взором окидывала свою одинокую жизнь и все смотрела, не мелькнет ли белый парус на мглистом горизонте. Она не отдавала себе отчета, какой это будет случай, каким ветром пригонит его к ней, к какому берегу потом ее прибьет, подойдет ли к ней шлюпка или же трехпалубный корабль, и подойдет ли он с горестями или по самые люки будет нагружен утехами. Но, просыпаясь по утрам, она надеялась, что это произойдет именно сегодня, прислушивалась

к каждому звуку, вскакивала и, к изумлению своему, убеждалась, что все по-старому, а когда солнце садилось, она всегда грустила и желала, чтобы поскорей приходило завтра.

Потом опять наступила весна. Как только началась жара и зацвели грушевые деревья, у Эммы появились приступы удушья.

С первых чисел июля Эмма стала считать по пальцам, сколько недель остается до октября, — она думала, что маркиз д'Андервилье опять устроит бал в Вобьесаре. Но в сентябре не последовало ни письма, ни визита.

Когда горечь разочарования прошла, сердце ее вновь опустело, и опять потянулись дни, похожие один на другой.

Значит, так они и будут идти чередою, эти однообразные, неисчислимые, ничего с собой не несущие дни? Другие тоже скучно живут, но все-таки у них есть хоть какая-нибудь надежда на перемену. Иной раз какое-нибудь неожиданное происшествие влечет за собой бесконечные перипетии, и декорация меняется. Но с нею ничего не может случиться — так, видно, судил ей бог! Будущее представлялось ей темным коридором, упирающимся в наглухо запертую дверь.

Музыку она забросила. Зачем играть? Кто ста-

нет ее слушать? Коль скоро ей уже не сидеть в бархатном платье с короткими рукавами за эраровским роялем, ее легким пальцам уже не бегать по клавишам, коль скоро ей уже никогда не почувствовать, как ее овевает ветерок восторженного шепота сидящих в концертной зале, то не к чему тогда и стараться, разучивать. Рисунки и вышивки лежали у нее в шкафу. К чему все это? К чему? Шитье только раздражало ее.

— Книги я прочитала все до одной, — говорила она.

И, чтобы чем-нибудь себя занять, накаляла докрасна каминные щипцы или смотрела в окно на дождь.

Как тосковала она по воскресеньям, когда звонили к вечерне! С тупой сосредоточенностью прислушивалась она к ударам надтреснутого колокола. По крыше, выгибая спину под негреющими лучами солнца, медленно ступала кошка. На дороге ветер клубил пыль. Порой где-то выла собака. А колокол все гудел, и его заунывный и мерный звон замирал вдали.

Потом служба кончалась. Женщины в начищенных башмаках, крестьяне в новых рубашках, дети без шапок, на одной ножке прыгавшие впереди, — все возвращались из церкви домой.

А у ворот постоялого двора человек пять-шесть, всегда одни и те же, допоздна играли в «пробку».

Зима в том году была холодная. В комнатах иногда до самого вечера стоял белесоватый свет, проходивший сквозь замерзшие ночью окна, как сквозь матовое стекло. В четыре часа уже надо было зажигать лампу.

В хорошую погоду Эмма выходила в сад. На капусте серебряным кружевом сверкал иней, длинными белыми нитями провисал между кочанами. Птиц было не слыхать, все словно уснуло, абрикосовые деревья прикрывала солома, виноградник громадною больною змеей извивался вдоль стены, на которой вблизи можно было разглядеть ползающих на своих бесчисленных ножках мокриц. У священника в треугольной шляпе, читавшего молитвенник под пихтами возле изгороди, отвалилась правая нога, потрескался гипс от мороза, лицо покрыл белый лишай.

Потом Эмма шла к себе в комнату, запирала дверь, принималась мешать угли в камине и, изнемогая от жары, чувствовала, как на нее всей тяжестью наваливается тоска. Ей хотелось пойти поболтать со служанкой, но удерживало чувство неловкости.

Каждый день в один и тот же час открывал став-

ни на своих окнах учитель в черной шелковой шапочке; с саблею на боку шествовал полевой сторож. Утром и вечером через улицу проходили почтовые лошади — их гнали по три в ряд к пруду на водопой. Время от времени на двери кабачка звенел колокольчик, в ветреные дни дребезжали державшиеся на железных прутьях медные тазики, которые заменяли парикмахеру вывеску. Витрина его состояла из старой модной картинки, прилепленной к оконному стеклу, и восковой женской головки с желтыми волосами. Парикмахер тоже сетовал на вынужденное безделье, на свою загубленную жизнь и, мечтая о том, как он откроет заведение в большом городе, ну, скажем, в Руане, на набережной или недалеко от театра, целыми днями в ожидании клиентов мрачно расхаживал от мэрии до церкви и обратно. Когда бы г-жа Бовари ни подняла взор, парикмахер в феске набекрень, в куртке на ластике всегда был на своем сторожевом посту.

Иногда после полудня в окне гостиной показывалось загорелое мужское лицо в черных бакенбардах и медленно расплывалось в широкой, мягкой белозубой улыбке. Вслед за тем слышались звуки вальса, и под шарманку в крошечной зальце, между креслами, диванами

и консолями, кружились, кружились танцоры ростом с пальчик — женщины в розовых тюрбанах, тирольцы в курточках, обезьянки в черных фраках, кавалеры в коротких брючках, и все это отражалось в осколках зеркала, приклеенных по углам полосками золотой бумаги. Мужчина вертел ручку, а сам все посматривал то направо, то налево, то в окна. Время от времени, сплюнув на тумбу длинную вожжу коричневой слюны, он приподнимал коленом шарманку, — ее грубый ремень резал ему плечо, — и из-под розовой тафтяной занавески, прикрепленной к узорчатой медной планке, с гудением вырывались то грустные, тягучие, то веселые, плясовые мотивы. Те же самые мелодии где-то там, далеко, играли в театрах, пели в салонах, под них танцевали на вечерах, в освещенных люстрами залах, и теперь до Эммы доходили отголоски жизни высшего общества. В голове у нее без конца вертелась сарабанда, мысль ее, точно баядерка на цветах ковра, подпрыгивала вместе со звуками музыки, перебегала от мечты к мечте, от печали к печали. Собрав в фуражку мелочь, мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал на спину и тяжелым шагом шел дальше. Эмма смотрела ему вслед.

Но совсем невмочь становилось ей за обедом, в помещавшейся внизу маленькой столовой с вечно дымящей печкой, скрипучей дверью, со стенами в потеках и сырым полом. Эмме тогда казалось, что ей подают на тарелке всю горечь жизни, и когда от вареной говядины шел пар, внутри у нее тоже как бы клубами поднималось отвращение. Шарль ел медленно; Эмма грызла орешки или, облокотившись на стол, от скуки царапала ножом клеенку.

Хозяйство она теперь запустила, и г-жа Бовари-мать, приехав в Тост Великим постом, очень удивилась такой перемене. И точно: прежде Эмма тщательно следила за собой, а теперь по целым дням ходила неодетая, носила серые бумажные чулки, сидела при свечке. Она все твердила, что, раз они небогаты, значит, надо экономить, и прибавляла, что она очень довольна, очень счастлива, что ей отлично живется в Тосте; все эти новые речи зажимали свекрови рот. Да и потом, она, видимо, была отнюдь не расположена следовать ее советам; так, однажды, когда г-жа Бовари-мать позволила себе заметить, что господа должны требовать от слуг исполнения всех церковных обрядов, она ответила ей таким злобным взглядом и такой холодной улыбкой,

что почтенная дама сразу прикусила язык.

Эмма сделалась привередлива, капризна. Она заказывала для себя отдельные блюда и не притрагивалась к ним; сегодня пила только одно молоко, а завтра без конца пила чай. То запиралась в четырех стенах, то вдруг ей становилось душно, она отворяла окна, надевала легкие платья. То нещадно придиралась к служанке, то делала ей подарки, посылала в гости к соседям; точно так же она иногда высыпала нищим все серебро из своего кошелька, хотя особой отзывчивостью и сострадательностью не отличалась, как, впрочем, и большинство людей. выросших в деревне, ибо загрубелость отцовских рук до некоторой степени передается их душам.

В конце февраля папаша Руо в память своего выздоровления привез зятю отменную индейку и прогостил три дня в Тосте. Шарль разъезжал по больным, и с отцом сидела Эмма. Старик курил в комнате, плевал в камин, говорил о посевах, о телятах, коровах, о птице, о муниципальном совете, и когда он уехал, Эмма затворила за ним дверь с таким облегчением, что даже сама была удивлена. Впрочем, она уже не скрывала своего презрения ни к кому и ни к чему; порой она даже высказывала смелые мысли — порицала то, что

всеми одобрялось, одобряла то, что считалось безнравственным, порочным. Муж только хлопал глазами от изумления.

Что же, значит, это прозябание будет длиться вечно? Значит, оно безысходно? А чем она хуже всех этих счастливиц? В Вобьесаре она нагляделась на герцогинь — фигуры у многих были грузнее, манеры вульгарнее, чем у нее, и ее возмущала несправедливость провидения; она прижималась головой к стене и плакала; она тосковала по шумной жизни, по ночным маскарадам, по предосудительным наслаждениям, по тому еще не испытанному ею исступлению, в которое они, наверное, приводят.

Она побледнела, у нее начались сердцебиения. Шарль прописал ей валерьяновые капли и камфарные ванны. Но все это как будто еще больше ее раздражало.

Бывали дни, когда на нее нападала неестественная говорливость; потом вдруг эта взвинченность сменялась отупением — она могла часами молчать и не двигаться с места. Она выливала себе на руки целый флакон одеколона — только это несколько оживляло ее.

Так как она постоянно бранила Тост, Шарль предположил, что все дело в здешнем климате, и,

утвердившись в этой мысли, стал серьезно подумывать, нельзя ли перебраться в другие края.

Тогда Эмма начала пить уксус, чтобы похудеть, у нее появился сухой кашель, аппетит она потеряла окончательно.

Шарлю нелегко было расстаться с Тостом, — ведь он прожил здесь несколько лет и только-только начал «оперяться». Но ничего не поделаешь! Он повез жену в Руан и показал своему бывшему профессору. Оказалось, что у нее не в порядке нервы, — требовалось переменить обстановку.

Толкнувшись туда-сюда, Шарль наконец узнал, что в Невшательском округе есть неплохой городок Ионвиль-л'Аббей, откуда как раз на прошлой неделе выехал врач, польский эмигрант. Тогда Шарль написал ионвильскому аптекарю и попросил сообщить, сколько там всего жителей, далеко ли до ближайшего коллеги, много ли зарабатывал его предшественник и т. д. Получив благоприятный ответ, Шарль решил, что если Эмма не поправится, то они переедут туда весной.

Однажды Эмма, готовясь к отъезду, разбирала вещи в комоде и уколола обо что-то палец. Это была проволока от ее свадебного букета. Флёрдоранж пожелтел от пыли, атласная лента

с серебряной бахромой обтрепалась по краям. Эмма бросила цветы в огонь. Они загорелись мгновенно, точно сухая солома. Немного погодя на пепле осталось что-то вроде красного кустика, и кустик этот медленно дотлевал. Эмма не сводила с него глаз. Лопались картонные ягодки, скручивалась латунная проволока, плавились позументы, а свернувшиеся на огне бумажные венчики долго порхали черными мотыльками в камине и, наконец, улетели в трубу.

В марте, уезжая с мужем из Тоста, г-жа Бовари была беременна.

Часть вторая

I

Городок Ионвиль-л'Аббей (названный так в честь давно разрушенного аббатства капуцинов) стоит в восьми лье от Руана, между Аббевильской и Бовезской дорогами, в долине речки Риёль, которая впадает в Андель, близ своего устья приводит в движение три мельницы и в которой есть немного форели, представляющей соблазн для мальчишек, — по воскресеньям, выстроившись в ряд на берегу, они удят в ней рыбу.

В Буасьере вы сворачиваете с большой дороги и поднимаетесь проселком на отлогий холм Ле, — оттуда открывается широкий вид на долину. Речка делит ее как бы на две совершенно разные области: налево — луга, направо — пашни. Луга раскинулись под кромкой бугров и сливаются сзади с пастбищами Брэ, а к востоку равнина, поднимаясь незаметно для взора, ширится и, насколько хватает глаз, расстилает золотистые полосы пшеницы. Цвет травы и цвет посевов не переходят один в другой — их разделяет светлая лента проточной воды, и поле здесь похоже на разостланный огромный плащ с зеленым бархатным воротником, обшитым серебряным

позументом.

Когда вы подъезжаете к городу, на горизонте видны дубы Аргейльского леса и обрывы Сен-Жана, сверху донизу исцарапанные длинными и неровными красными черточками, — это следы дождей, а кирпичный оттенок придают жилкам, прорезавшим серую гору, многочисленные железистые источники, текущие в окрестные поля.

Здесь сходятся Нормандия, Пикардия и Иль-де-Франс, это край помеси, край, где говор лишен характерности, а пейзаж — своеобразия. Здесь выделывается самый плохой во всем округе невшательский сыр, а хлебопашеством здесь заниматься невыгодно, — сыпучая, песчаная, каменистая почва требует слишком много удобрения.

До 1835 года в Ионвиле проезжих дорог не было, но как раз в этом году провели «большой проселочный путь», соединивший Аббевильскую и Амьенскую дороги, и по нему теперь идут редкие обозы из Руана во Фландрию. Но, несмотря на «новые рынки сбыта», в Ионвиль-л'Аббей все осталось по-прежнему. Вместо того, чтобы повышать культуру земледелия, здесь упорно продолжают заниматься убыточным травосеянием. Удаляясь от равнины, ленивый городишко

тянется к реке. Он виден издалека: разлегся на берегу, словно пастух в час полдневного зноя.

За мостом, у подошвы холма, начинается обсаженная молодыми осинками дорога, по которой вы, не забирая ни вправо, ни влево, доберетесь как раз до самого пригорода. Обнесенные изгородью домики стоят в глубине дворов, а вокруг, под ветвистыми деревьями, к которым прислонены лестницы, косы, шесты, раскиданы всякого рода постройки: давильни, каретники, винокурни. Соломенные крыши, словно нахлобученные шапки, почти на целую треть закрывают маленькие оконца с толстыми выпуклыми стеклами, посредине которых, как на донышке бутылок, выдавлен конус. Возле стен, сквозь штукатурку которых выглядывает расположенная по диагонали черная дранка, растут чахлые груши, у входных дверей устроены маленькие вертушки от цыплят, клюющих на пороге вымоченные в сидре крошки пеклеванного хлеба. Но постепенно дворы становятся уже, домишки лепятся один к другому, заборы исчезают; под окнами качаются палки от метел с пучками папоротника на конце. Вот кузница, потом — тележная мастерская, и возле нее — две-три новенькие телеги, занявшие часть мостовой. Дальше сквозь решетку виден бе-

лый дом, а перед ним круглая лужайка, которую украшает амур, приставивший палец к губам; по обеим сторонам подъезда — лепные вазы; на двери блестит металлическая дощечка; это лучший дом в городе — здесь живет нотариус.

В двадцати шагах от него, на противоположной стороне, у самой площади стоит церковь. Ее окружает маленькое кладбище, обнесенное низкой каменной стеной и до того тесное, что старые, вросшие в землю плиты образуют сплошной пол, на котором трава вычерчивает правильные зеленые четырехугольники. В последние годы царствования Карла X церковь была перестроена заново. Но деревянный свод вверху уже подгнивает, местами на его голубом фоне появляются темные впадины. Над дверью, где должен стоять орган, устроены хоры для мужчин, и ведет туда звенящая под каблуками винтовая лестница.

Яркий свет дня, проникая сквозь одноцветные стекла окон, косыми лучами освещает ряды стоящих перпендикулярно к стене скамеек; на некоторых из них прибиты к спинкам коврики, и над каждым таким ковриком крупными буквами выведена надпись: «Скамья г-на такого-то». Дальше, в том месте, где корабль суживается, находится исповедальня, а как раз напротив нее

— густо нарумяненная, точно божок с Сандвичевых островов, статуэтка девы Марии в атласном платье и в тюлевой вуали, усыпанной серебряными звездочками; наконец, в глубине завершает перспективу висящая между четырьмя светильниками над алтарем главного придела копия «Святого семейства» — «дар министра внутренних дел». Еловые откидные сиденья на хорах так и остались невыкрашенными.

Добрую половину главной ионвильской площади занимает крытый рынок, то есть черепичный навес, держащийся приблизительно на двадцати столбах. На углу, рядом с аптекой, стоит мэрия, «построенная по проекту парижского архитектора» и представляющая собой некое подобие греческого храма. Внизу — три ионические колонны, во втором этаже — галерея с круглой аркой, а на фронтоне галльский петух одной лапой опирается на Хартию, в другой держит весы правосудия.

Но особенно бросается в глаза аптека г-на Оме напротив трактира «Золотой лев». Главным образом — вечером, когда зажигается кенкет, когда красные и зеленые шары витрины стелют по земле длинные цветные полосы, и на этих шарах, словно при вспышке бенгальского огня,

вырисовывается тень аптекаря, склоненного над конторкой. Его дом сверху донизу заклеен объявлениями, на которых то разными почерками, где — круглым, где — с наклоном вправо, то печатными буквами написано: «Виши, сельтерская, барежская, кровоочистительные экстракты, слабительное Распайля, аравийский ракаут, лепешки Дарсе, паста Реньо, бинты, составы для ванн, лечебный шоколад и прочее». Во всю ширину здания — вывеска, и на ней золотыми буквами: *«Аптека Оме»*. В глубине, за огромными, вделанными в прилавок весами, над застекленной дверью выведено длинное слово: *«Лаборатория»*, а на середине двери золотыми буквами по черному полю еще раз написано *Оме*.

Больше в Ионвиле смотреть не на что. На его единственной улице, длиною не дальше полета пули, есть еще несколько торговых заведений, потом дорога делает поворот, и улица обрывается. Если пойти мимо холма Сен-Жан, так, чтобы дорога осталась справа, то скоро дойдешь до кладбища.

Когда здесь свирепствовала холера, его расширили — прикупили смежный участок в три акра и сломали разделявшую их стену, но в этой новой части кладбища почти нет могил

— они по-прежнему лепятся поближе к воротам. Кладбищенский сторож, он же могильщик и причетник в церкви (благодаря этому он имеет от покойников двойной доход), посадил на пустыре картофель. Однако его полоска с каждым годом все уменьшается, и теперь, во время эпидемий, он уже не знает, радоваться ли смертям или же унывать при виде новых могил.

— Вы кормитесь мертвецами, Лестибудуа! — как-то, не выдержав, сказал ему священник.

Эта мрачная мысль заставила сторожа призадуматься, и на некоторое время он прекратил сельскохозяйственную деятельность. Но потом опять принялся за свое, по-прежнему сажает картофель, да еще имеет смелость утверждать, что он растет сам по себе.

Со времени событий, о которых пойдет рассказ, в Ионвиле никаких существенных изменений не произошло. На колокольне все так же вертится трехцветный жестяной флюгер; над модной лавкой по-прежнему плещутся на ветру два ситцевых флажка; в аптеке все больше разлагаются в мутном спирту зародыши, напоминающие семьи белого трутника, а над дверью трактира старый, вылинявший от дождей золотой лев все еще выставляет напоказ свою мохнатую, как у

пуделя, шерсть.

В тот вечор, когда в Ионвиль должны были приехать супруги Бовари, трактирная хозяйка, вдова Лефрансуа, совсем захлопоталась со своими кастрюлями, и пот лился с нее градом. Завтра в городе базарный день. Нужно заранее разделать туши, выпотрошить цыплят, сварить суп и кофе. Да еще надо приготовить обед не только для тех, кто у нее на пансионе, но еще и для лекаря с женой и служанкой. Из бильярдной доносились взрывы хохота. В маленькой комнате три мельника требовали водки. Горели дрова, потрескивали угли, на длинном кухонном столе, среди кусков сырой баранины, высились стопки тарелок, дрожавшие при сотрясении чурбана, на котором рубили шпинат. На птичьем дворе стоял отчаянный крик — это кричала какая-то жертва, за которой гонялась служанка, чтобы отрубить ей голову.

У камина грелся рябоватый человек в зеленых кожаных туфлях, в бархатной шапочке с золотой кистью. Лицо его не выражало ничего, кроме самовлюбленности, держал он себя так же невозмутимо, как щегол в клетке из ивовых прутьев, висевшей как раз над его головой. Это был аптекарь.

— Артемиза! — кричала трактирщица. — Наломай хворосту, налей графины, принеси водки, пошевеливайся! Понятия не имею, что приготовить на десерт тем вот, которых вы ждете! Господи Иисусе! Опять грузчики загалдели в бильярдной! А повозка-то ихняя у самых ворот! «Ласточка» подъедет — разобьет в щепы. Поди скажи Ипполиту, чтобы он ее отодвинул!.. Подумайте, господин Оме: с утра они уж, наверно, пятнадцать партий сыграли и выпили восемь кувшинов сидра!.. Да они мне все сукно изорвут! — держа в руке уполовник и глядя издали на игроков, воскликнула она.

— Не беда, — заметил г-н Оме, — купите новый.

— Новый бильярд! — ужаснулась вдова.

— Да ведь этот уже еле держится, госпожа Лефрансуа! Я вам давно говорю: вы себе этим очень вредите, вы себе этим очень вредите! Да и потом, игроки теперь предпочитают узкие лузы и тяжелые кии. Вообще все изменилось! Надо идти в ногу с веком! Берите-ка пример с Телье...

Хозяйка покраснела от злости.

— Что ни говорите, а его бильярд изящнее вашего, — продолжал фармацевт, — и если б кому-нибудь пришло в голову устроить, напри-

мер, состязание с патриотическими целями — в пользу поляков или же в пользу пострадавших от наводнения в Лионе...

— Не очень-то я боюсь этого проходимца! — поведя своими мощными плечами, прервала его хозяйка. — Ничего, ничего, господин Оме! Пока «Золотой лев» существует, в нем всегда будет полно. У нас еще денежки водятся! А вот в одно прекрасное утро вы увидите, что кофейня «Франция» заперта, а на ставне висит объявление! Сменить бильярд! — заговорила она уже сама с собой. — На нем так удобно раскладывать белье, а когда начинается охота, на нем спят человек шесть!.. Да что же эта размазня Ивер не едет!

— А вы до его приезда кормить своих завсегдатаев не будете?

— Не буду? А господин Бине? Вот увидите: он придет ровно в шесть часов, — такого аккуратного человека поискать! И непременно освободи ему место в маленькой комнате! Убей его, он не сядет за другой стол! А уж привередлив! А уж как трудно угодить ему сидром! Это не то что господин Леон. Тот приходит когда в семь, а когда и в половине восьмого. Кушает все подряд, не разбирая. Такой милый молодой человек! Голоса никогда не повысит.

— Воспитанный человек и податной инспектор из бывших карабинеров — это, я вам скажу, далеко не одно и то же.

Пробило шесть часов. Вошел Бине.

Синий сюртук висел на его костлявом туловище, как на вешалке; под кожаной фуражкой с завязанными наверху наушниками и заломленным козырьком был виден облысевший лоб со вмятиной, образовавшейся от долгого ношения каски. Он носил черный суконный жилет, волосяной галстук, серые штаны и во всякое время года ходил в старательно начищенных сапогах с одинаковыми утолщениями над выпиравшими большими пальцами. Ни один волосок не выбивался у него из-под светлого воротничка, очерчивавшего его нижнюю челюсть и окаймлявшего, точно зеленый бордюр клумбу, его вытянутое бескровное лицо с маленькими глазками и крючковатым носом. Мастак в любой карточной игре, хороший охотник, он славился своим красивым почерком и от нечего делать любил вытачивать на собственном токарном станке кольца для салфеток, которыми он с увлечением художника и эгоизмом мещанина завалил весь дом.

Он направился в маленькую комнату, но оттуда надо было прежде выпроводить трех мельников.

И пока ему накрывали на стол он все время молча стоял у печки; потом, как обычно, затворил дверь и снял фуражку.

— Однако особой любезностью он не отличается! — оставшись наедине с хозяйкой, заметил фармацевт.

— Он всегда такой, — подтвердила хозяйка. — На прошлой неделе заехали ко мне два коммивояжера по суконной части, ну до того веселые ребята — весь вечер балагурили, и я хохотала до слез, а он молчал как рыба.

— Да, — сказал фармацевт, — он лишен воображения, лишен остроумия, всего того, чем отличается человек из общества!

— Говорят, однако, он со средствами, — заметила хозяйка.

— Со средствами? — переспросил г-н Оме. — Кто, он? Со средствами? Он знает средство выколачивать подати, только и всего, — уже более хладнокровно добавил аптекарь и продолжал: — Ну, если негоциант, который делает большие дела, юрист, врач, фармацевт так всегда заняты своими мыслями, что в конце концов становятся чудаками и даже нелюдимами, это я еще могу понять, это мы знаем и из истории! Но зато они все время о чем-то думают. Со мной, например,

сколько раз случалось: надо написать этикетку, ищу перо на столе, а оно у меня за ухом!

Между тем г-жа Лефрансуа пошла поглядеть, не едет ли «Ласточка», и, подойдя к порогу, невольно вздрогнула. В кухню неожиданно вошел человек в черном. При последних лучах заката было видно, что у него красное лицо и атлетическое телосложение.

— Чем могу служить, ваше преподобие? — спросила хозяйка, беря с камина один из медных подсвечников, которые стояли там целой колоннадой. — Не угодно ли чего-нибудь выпить? Рюмочку смородинной, стаканчик вина?

Священник весьма вежливо отказался. Он забыл в Эрнемонском монастыре зонт и, попросив г-жу Лефрансуа доставить его вечером к нему на дом, пошел служить вечерню.

Когда стук его башмаков затих, фармацевт заметил, что священник ведет себя отвратительно. Отказаться пропустить стаканчик — это гнусное лицемерие, и больше ничего; все попы пьянствуют, только тайком, и все мечтают восстановить десятину.

Хозяйка вступилась за священника:

— Да он с четырьмя такими, как вы, управится. В прошлом году он помогал нашим ионвильским

солому убирать, так по шесть охапок сразу поднимал — вот какой здоровяк!

— Браво! — воскликнул фармацевт. — Вот и посылайте своих дочерей на исповедь к молодцам с таким темпераментом! Я бы на месте правительства распорядился, чтобы всем попам раз в месяц отворяли кровь. Да, госпожа Лефрансуа, каждый месяц — изрядную флеботомию в интересах нравственности и общественного порядка!

— Будет вам, господин Оме! Вы безбожник! У вас и религии-то никакой нет!

— Нет, у меня есть религия, своя особая религия, — возразил фармацевт, — я даже религиознее, чем они со всем их комедиантством и фиглярством. Как раз наоборот, я чту Бога! Верю в высшее существо, в творца, в кого-то — все равно, как его ни назвать, — кто послал нас сюда, дабы мы исполнили свой гражданский и семейный долг. Но я не считаю нужным ходить в церковь, целовать серебряные блюда и прикармливать ораву шутов, которые и так лучше нас с вами питаются! Молиться Богу можно и в лесу и в поле, даже просто, по примеру древних, созерцая небесный свод. Мой бог — это бог Сократа, Франклина, Вольтера и Беранже! *Я за Символ веры савойского викарияи* за бессмертные принципы восемьдесят

девятого года!

Вот почему я отрицаю боженьку, который прогуливается с палочкой у себя в саду, размещает своих друзей во чреве китовом, умирает, испустив крик, и на третий день воскресает. Все эти нелепости в корне противоречат законам физики, а из этих законов, между прочим, явствует, что попы сами погрязли в позорном невежестве и хотят погрузить в его пучину народ.

Тут фармацевт, поискав глазами публику, смолк, — увлекшись, он вообразил, что произносит речь в муниципальном совете. А хозяйка не обращала на него никакого внимания — ей послышался отдаленный стук катящегося экипажа. Немного погодя можно было уже различить скрип кареты, цоканье ослабевших подков, и, наконец, у ворот остановилась «Ласточка».

Она представляла собою желтый ящик, помещавшийся между двумя огромными колесами, которые доходили до самого брезентового верха, мешали пассажирам смотреть но сторонам и забрызгивали им спину. Когда дверца кареты захлопывалась, то дрожали все стеклышки ее окон с налипшими на них комьями грязи и с вековою пылью, которую не смывали даже проливные дожди. Впрягали в нее тройку лошадей,

из которых первая была выносная; если дорога шла под гору, то карета, вся сотрясаясь, доставала дном до земли.

На площадь высыпали горожане. Все заговорили разом, спрашивали, что нового, обращались за разъяснениями, расхватывали свои корзины. Ивер не знал, кому отвечать. В Руане он выполнял все поручения местных жителей. Ходил по лавкам, сапожнику привозил кожу, кузнецу — железо, своей хозяйке — бочонок сельдей, привозил шляпки от модистки, накладные волосы от парикмахера. По дороге из Руана он только и делал, что раздавал покупки, — стоя на козлах, орал диким голосом и швырял свертки через забор, а лошади шли сами.

Сегодня он запоздал из-за одного происшествия: сбежала собака г-жи Бовари. Ее звали битых четверть часа. Ивер даже проехал с пол-лье назад, — он был уверен, что собака с минуты на минуту объявится, — но в конце концов надо было все-таки ехать дальше. Эмма плакала, злилась, во всем обвиняла Шарля. Их попутчик, торговец тканями г-н Лере, стараясь утешить г-жу Бовари, рассказывал ей всякие истории про собак, которые пропадали, но много лет спустя все-таки узнавали хозяев. Он даже утверждал, что чья-то

собака вернулась в Париж из Константинополя. Другая пробежала по прямой линии пятьдесят лье и переплыла четыре реки. У отца г-на Лере был пудель, который пропадал двенадцать лет и вдруг как-то вечером, когда отец шел в город поужинать, прыгнул ему на спину.

II

Эмма вышла первая, за ней Фелисите, г-н Лере и кормилица; Шарля пришлось разбудить, ибо он, едва смерклось, притулился в уголке и заснул крепким сном.

Оме счел своим долгом представиться; он засвидетельствовал свое почтение г-же Бовари, рассыпался в любезностях перед ее мужем, сказал, что он рад был им служить, и с самым дружелюбным видом добавил, что его жена уехала и поэтому он берет на себя смелость напроситься на совместную трапезу.

Войдя в кухню, г-жа Бовари подошла к камину. Она приподняла двумя пальцами платье до щиколоток и стала греть ногу в черном ботинке прямо над куском мяса, который поджаривался на вертеле. Пламя озаряло ее всю: и ее платье, и ее гладкую белую кожу, а когда она жмурилась, то в его резком свете веки ее казались прозрачными. В приотворяемую дверь временами дуло, и тогда по Эмме пробегал яркий багровый отблеск.

Сидевший по другую сторону камина белокурый молодой человек устремил на нее безмолвный взгляд.

В Ионвиле он служил помощником у нотариуса, г-на Гильомена, очень скучал (это и был Леон Дюпюи, второй завсегдатай «Золотого льва») и в надежде, что на постоялый двор завернет путник, с которым можно будет поболтать вечерок, сплошь да рядом являлся к обеду с запозданием. В те же дни, когда занятия кончались у него рано, он не знал, куда себя девать, поневоле приходил вовремя и весь обед, от первого до последнего блюда, просиживал с глазу на глаз с Бине. Вот почему он очень охотно принял предложение хозяйки пообедать в обществе новоприбывших, и так как г-жа Лефрансуа для большей торжественности велела накрыть стол на четыре прибора в большой комнате, то все перешли туда.

Оме попросил разрешения не снимать феску, — он боялся схватить насморк.

Затем он обратился к своей соседке:

— Вы, наверно, устали, сударыня? Наша «Ласточка» трясет немилосердно!

— Это правда, — молвила Эмма, — но всякое передвижение доставляет мне удовольствие. Я люблю менять обстановку.

— Какая скука — вечно быть прикованным к одному месту! — воскликнул помощник нотариуса.

— Попробовали бы вы, как я, по целым дням не слезать с лошади... — заговорил Шарль.

— А по-моему, это чудесно, — возразил Леон, обращаясь к г-же Бовари, и добавил: — Лишь бы иметь возможность.

— Да у нас тут условия для врача не такие уж тяжелые, — вмешался аптекарь, — дороги в исправности, всюду можно проехать в кабриолете, а платят прилично, — местные крестьяне живут богато. Если же говорить с чисто медицинской точки зрения, то, помимо обычных явлений энтерита, бронхита, желтухи и тому подобного, в пору жатвы здесь иногда встречается перемежающаяся лихорадка, но тяжелые случаи редки, одним словом — ничего достопримечательного, вот только золотуха у нас свирепствует, и тут все дело, конечно, в антисанитарном состоянии крестьянских домов. Да, господин Бовари, вам придется вести борьбу со множеством предрассудков, косность будет оказывать постоянное и упорное сопротивление вашей науке, — ведь есть еще такие люди, которые пойдут не к врачу, не к фармацевту, а к попу, которые вместо лечения молятся да прикладываются к мощам. А между тем климат здесь, в сущности говоря, не плохой, в нашей округе можно найти даже

девяностолетних стариков. Температура, по моим собственным наблюдениям, зимою падает до четырех градусов, а в жару поднимается до двадцати пяти, самое большее — до тридцати, что составляет по Реомюру максимум двадцать четыре, а по Фаренгейту (по английскому градуснику) — пятьдесят четыре, не выше. В самом деле, с одной стороны мы защищены Аргейльским лесом от северного ветра, а с другой — холмом Сен-Жан от западного, и благодаря этому жара, которая усиливается от водяных паров, поднимающихся над рекой, и от скопления на лугах изрядного количества скота, выделяющего, как вам известно, много аммиаку, то есть азота, водорода и кислорода, — нет, виноват, только азота и водорода, — жара, которая поглощает влагу, содержащуюся в почве, смешивает все эти различные испарения, связывает их, если можно так выразиться, в один сноп, вступает в соединение с электричеством, когда оно бывает разлито в воздухе, и которая, как в тропических странах, могла бы с течением времени образовать вредные для здоровья миазмы, — эта жара, говорю я, именно там, откуда она приходит, или, вернее, откуда она должна была бы к нам приходить, то есть на юге, умеряется юго-восточным ветром, — ветер

же этот, охлаждаясь над Сеной, порой налетает на нас внезапно, вроде русского бурана.

— По крайней мере, тут есть где погулять? — спросила молодого человека г-жа Бовари.

— Почти что негде, — ответил тот. — Есть одно место, на взгорье, у опушки леса, на так называемом выгоне. Иногда в воскресенье я ухожу туда с книгой и любуюсь закатом.

— По-моему, нет ничего красивей заката, — молвила Эмма, — особенно над морем.,

— О, море я обожаю! — сказал Леон.

— И не кажется ли вам, — продолжала г-жа Бовари, — что над этим безграничным пространством наш дух парит вольнее, что его созерцание возвышает душу и наводит на размышления о бесконечности, об идеале?

— Так же действуют на человека и горы, — молвил Леон. — Мой двоюродный брат в прошлом году путешествовал по Швейцарии, и он потом говорил мне, что невозможно себе представить, как поэтичны озера, как прекрасны водопады, как величественны ледники. Через потоки переброшены сосны сказочной величины, над провалами повисли хижины, а когда облака расходятся, вы видите под собой, на дне тысячефутовой пропасти, бескрайнюю долину. Такое зрелище должно

настраивать человеческую душу на высокий лад, располагать к молитве, доводить до экстаза! И меня нисколько не удивляет, что один знаменитый музыкант для вдохновения уезжал играть на фортепьяно в какие-нибудь красивые места.

— А вы сами играете, поете? — спросила Эмма.

— Нет, но я очень люблю музыку, — ответил Леон.

— Ах, не верьте ему, госпожа Бовари! — наклонившись над тарелкой, прервал Леона Оме. — Это он из скромности. Что же это вы, батенька? Ведь вы на днях чудесно пели у себя в комнате «Ангела-хранителя». Мне в лаборатории хорошо было слышно. Вы передавали все оттенки, как настоящий певец.

Надо заметить, что Леон снимал у фармацевта в третьем этаже комнату окнами на площадь. Похвала домохозяина заставила его покраснеть, но тот уже повернулся лицом к лекарю и стал называть самых видных лиц в городе. Попутно он рассказывал про них всякие истории, давал разного рода сведения. Какой цифры достигает состояние нотариуса — в точности неизвестно; с «семейкой Тювашей» лучше не связываться.

— Какая же музыка вам больше всего нравится? — продолжала расспрашивать Эмма.

— Разумеется, немецкая, — под нее так хорошо мечтать!

— А итальянцев вы знаете?

— Нет еще, но я их услышу на будущий год, — мне придется ехать в Париж кончать юридический факультет.

— Я уже имел честь докладывать вашему супругу о несчастном беглеце Яноде, — обратился к Эмме фармацевт. — Благодаря тому, что он сглупил, вы будете жить в одном из самых комфортабельных ионвильских домов. Для врача он особенно удобен тем, что одна из его дверей выходит прямо на бульвар, так что можно незаметно и войти и выйти. Кроме того, в доме есть все, что нужно семейному человеку: прачечная, кухня, буфетная, уютная гостиная, фруктовый сад и прочее. Этот чудак тратил деньги без счета! В самом конце сада, над рекой, он выстроил себе беседку, для того чтобы летом пить в ней пиво. Если же вы, сударыня, любите садоводство, то вы сможете...

— Мою жену это не интересует, — ответил за нее Шарль, — хотя ей и рекомендуется моцион, однако она предпочитает сидеть в комнате и читать.

— Это вроде меня, — подхватил Леон. — В самом

деле, что может быть лучше — сидеть вечером с книжкой у камина? Горит лампа, в окна стучится ветер...

— Ведь правда? — пристально глядя на него широко раскрытыми черными глазами, спросила Эмма.

— Ни о чем не думаешь, часы идут, — продолжал Леон. — Сидя на месте, путешествуешь по разным странам и так и видишь их перед собой; мысль, подогреваемая воображением, восхищается отдельными подробностями или же следит за тем, как разматывается клубок приключений. Ты перевоплощаешься в действующих лиц, у тебя такое чувство, точно это твое сердце бьется под их одеждой.

— Верно! Верно! — повторяла Эмма.

— Вам случалось находить в книге вашу собственную мысль, но только прежде не додуманную вами, какой-нибудь неясный образ, теперь как бы возвращающийся к вам издалека и удивительно полно выражающий тончайшие ваши ощущения?

— Мне это знакомо, — подтвердила Эмма.

— Вот почему я особенно люблю поэтов, — сказал Леон. — По-моему, стихи нежнее прозы — они трогают до слез.

— А в конце концов утомляют, — возразила Эмма. — Я, наоборот, пристрастилась за последнее время к романам, к страшным романам, к таким, от которых не оторвешься. Я ненавижу пошлых героев и сдержанность в проявлении чувств, — этого и в жизни довольно.

— Я с вами согласен, — признался Леон. — На мой взгляд, если художественное произведение вас не волнует, значит, оно не достигает истинной цели искусства. Так отрадно бывает уйти от горестей жизни в мир благородных натур, возвышенных чувств, полюбоваться картинами счастья! Здесь, в глуши, это мое единственное развлечение. Да вот беда: в Ионвиле трудно доставать книги.

— В Тосте, конечно, тоже, — заметила Эмма, — я брала книги в читальне.

— Сделайте одолжение, сударыня, берите книги у меня, — расслышав ее последние слова, обратился к ней фармацевт, — моя библиотека в вашем распоряжении, а в ней собраны лучшие авторы: Вольтер, Руссо, Делиль, Вальтер Скотт, «Отголоски фельетонов» и прочие. Потом я получаю периодические издания, в том числе ежедневную газету «Руанский светоч», — я имею честь быть ее корреспондентом и сообщаю, что

делается в Бюши, Форже, Невшателе, Ионвиле и его окрестностях.

Общество сидело за столом уже два с половиной часа, так как служанка Артемиза, лениво шаркая по полу веревочными туфлями, приносила по одной тарелке, все забывала, путала, оставляла открытой дверь в бильярдную, и та беспрестанно ударялась щеколдой об стену.

Продолжая беседу, Леон машинально поставил ногу на перекладину стула г-жи Бовари. На Эмме был синий шелковый галстучек, который до того туго стягивал гофрированный батистовый воротничок, что он стоял прямо, как брыжи; когда Эмма поворачивала голову, подбородок ее то весь уходил в батист, то снова появлялся. Так, пока Шарль и фармацевт толковали друг с другом, у Эммы и Леона завязалась беседа на общие темы, одна из тех бесед, в которых любая случайная фраза тяготеет, однако, к строго определенному центру, и этим центром является взаимопонимание. Парижские спектакли, названия романов, новые кадрили, высший свет, о котором они не имели понятия, Тост, где раньше жила она, Ионвиль, где они находились теперь, — все это они уже обсудили, обо всем успели поговорить до конца обеда.

Когда подали кофе, служанка ушла в новый дом стелить постели, а немного погодя обедавшие встали из-за стола. Г-жа Лефрансуа спала у истопленной печи, конюх с фонарем в руке ждал г-на и г-жу Бовари, чтобы проводить их домой. Он припадал на левую ногу, в его рыжих волосах торчала солома. Он захватил с собой зонт священника, и вся компания вышла на улицу.

Городок спал. От столбов крытого рынка ложились длинные тени. Земля была совершенно серая, как в летние ночи.

Дом врача стоял всего в полусотне шагов от трактира, поэтому очень скоро пришлось проститься, и спутники расстались.

В передней Эмма тотчас же почувствовала, как холод известки влажною простыней окутывает ей плечи. Стены были только что побелены, деревянные ступеньки скрипели. Голые окна спальни, расположенной во втором этаже, пропускали белесый свет. В окна заглядывали верхушки деревьев, а там дальше при лунном свете над рекой клубился туман, и в нем тонули луга. Посреди комнаты были свалены в кучу ящики от комода, бутылки, пруты для занавесок, позолоченные карнизы, на стульях лежали перины, на полу стояли тазы, — два носильщика,

таскавшие вещи, сложили их как попало.

Четвертый раз в жизни предстояло Эмме спать на новом месте. Первый раз это было, когда ее отдали в монастырскую школу, второй — когда она приехала в Тост, третий — в Вобьесаре, четвертый — сегодня. И каждый раз это было как бы началом новой эпохи в ее жизни. Эмма не допускала мысли, что и в новой обстановке все останется как было, а так как на старом месте ей жилось плохо, то она твердо верила, что с наступлением какой-то иной полосы все у нее изменится к лучшему.

III

Наутро Эмма, проснувшись, выглянула в окно — по площади шел помощник нотариуса. Эмма была в пеньюаре. Леон поднял голову и поклонился. Эмма ответила ему быстрым кивком и затворила окно.

Леон целый день ждал шести часов вечера; когда же он вошел в трактир, то, кроме сидевшего за столом Бине, там никого не оказалось.

Вчерашний обед явился для Леона крупным событием; до этого ему еще не доводилось беседовать два часа подряд с *дамой*. Как же это он сумел сказать ей столько, да еще в таких выражениях? Прежде ведь он никогда так хорошо не говорил. Он был всегда робок, он отличался той сдержанностью, которую питали в нем застенчивость и скрытность. Весь Ионвиль находил, что Леон «прекрасно себя держит». Он терпеливо выслушивал разглагольствования людей в летах и, видимо, был равнодушен к политике, что у молодых людей встречается не часто. Он был способный юноша: рисовал акварелью, играл одним пальцем на фортепьяно, после обеда любил почитать, если только не представлялась

возможность поиграть в карты. Г-н Оме ценил в нем его познания, г-же Оме нравилось, что он такой обязательный, и точно: он часто гулял в саду с детьми Оме, вечно грязными, весьма дурно воспитанными и отчасти лимфатическими, как их мать, малышами. Помимо няньки, за ними присматривал Жюстен, двоюродный племянник г-на Оме, взятый в дом из милости, — он был у него и аптекарским учеником, и слугою.

Фармацевт оказался на редкость приятным соседом. Он дал г-же Бовари все необходимые сведения о поставщиках, нарочно для нее вызвал торговца, у которого постоянно покупал сидр, сначала попробовал сам и даже не поленился слазить к соседям в погреб, посмотрел, так ли поставлена бочка; еще он сообщил, где можно доставать дешевое масло, и нанял им в садовники пономаря Лестибудуа, который, помимо своих священнослужительских и погребальных обязанностей, ухаживал за лучшими ионвильскими садами и получал за это плату или почасно, или за целый год сразу, — это всецело зависело от садовладельцев.

Необыкновенная услужливость фармацевта объяснялась не только его любовью к ближним — тут был и особый расчет.

Господин Оме нарушал статью 1-ю закона от 19 вентоза XI года Республики, воспрещавшую лечить больных всем, кто не имеет лекарского звания. В связи с этим его даже как-то раз по необоснованному доносу вызвали в Руан, в кабинет королевского прокурора. Сановник принял его стоя, в горностаевой мантии и в берете. Это было утром, перед судебным заседанием. Из коридора доносился топот жандармских сапог, где-то вдалеке словно бы поворачивались со скрежетом в замочных скважинах огромные ключи. У г-на Оме звенело в ушах, как перед ударом: ему чудились каменные мешки, рыдающее семейство, распродажа аптеки, разбросанные склянки. Чтобы успокоиться, он прямо от прокурора зашел в кафе и выпил стакан рома с сельтерской.

С течением времени воспоминание о полученном внушении утратило свою живость, и г-н Оме опять начал принимать пациентов в комнатке рядом с аптекой и давать им невинные советы. Но мэр его недолюбливал, коллеги завидовали, надо было держать ухо востро. Обязать г-на Бовари своими любезностями значило заслужить его благодарность и замазать ему рот на тот случай, если он что-нибудь заметит. Вот почему г-н Оме каждое утро приносил лекарю «газетку», а днем

часто забегал к нему «на минутку» потолковать.

Шарль приуныл: пациенты все не шли. По целым часам молча сидел он в ожидании, потом отправлялся спать к себе в кабинет или же наблюдал за тем, как шьет его жена. От скуки он сам к себе нанялся в работники и, обнаружив, что маляры оставили немного краски, попытался выкрасить чердак. Но денежные дела продолжали его беспокоить. Он массу истратил на ремонт в Тосте, на туалеты жены, на переезд, — словом, за два года он просадил все приданое, то есть больше трех тысяч экю. А сколько вещей сломалось и потерялось при переезде из Тоста в Ионвиль, не считая гипсового священника, который от сильного толчка на мостовой в Кенкампуа упал с повозки и разбился на мелкие куски!

Шарля отвлекала более приятная забота — беременность жены. Чем ближе подходило время родов, тем нежнее он ее любил. Его связывали с ней теперь еще одни узы физической близости, связывало гораздо более сложное и непреходящее чувство. Когда он видел издали ее медлительную походку, ее лениво колышущийся стан, не затянутый в корсет, когда они сидели друг против друга и он впивался в нее глазами, а она принимала в кресле изнеженные позы, он вдруг вскакивал,

обнимал ее, гладил ее лицо, называл мамочкой, тащил танцевать и, смеясь сквозь слезы, придумывал множество милых шуток. Мысль о том, что он зачал ребенка, приводила его в восторг. Это был предел его желаний. Он познал жизнь во всей ее полноте и теперь блаженствовал.

Эмма сначала была изумлена, потом ей захотелось как можно скорей разрешиться от бремени, чтобы наконец почувствовать, что же такое материнство. Но ей не хватало денег ни на колыбельку в виде лодочки с розовым шелковым пологом, ни на кружевные чепчики, и с досады она, ничего не выбрав, ни с кем не посоветовавшись, заказала все детское приданое здешней швее. Таким образом, она себя не порадовала теми приготовлениями, которые подогревают материнскую нежность, и ее любовь к ребенку в самом начале была этим, вероятно, ущемлена.

А Шарль постоянно говорил за столом о малютке, и немного погодя она тоже привыкла все время думать о нем.

Ей хотелось сына. Это будет черноволосый крепыш, она назовет его Жоржем. И мысль о мальчике давала ей надежду, что судьба вознаградит ее за несбывшиеся мечты. Мужчина, по крайней мере, свободен: ему доступны все

страсти, все чужие края, он волен преодолевать препятствия, вкушать от наиболее трудно достижимых наслаждений. А женщине всюду помехи. Косная и вместе с тем гибкая по натуре, женщина находится между двух огней: между слабостью своей плоти и бременем закона. Ее воля, точно вуаль ее шляпки, держащаяся на шнурке, трепещет при малейшем дуновении ветра; ее вечно увлекает какая-нибудь прихоть, вечно сдерживает какая-нибудь условность.

Эмма родила в воскресенье, около шести часов, на утренней заре.

— Девочка! — сказал Шарль.

Роженица отвернулась и потеряла сознание.

Почти тотчас же прибежала и расцеловала ее г-жа Оме, вслед за ней — тетушка Лефрансуа, хозяйка «Золотого льва». Фармацевт из деликатности ограничился тем, что, приотворив дверь, поздравил ее пока наскоро. Затем попросил показать ребенка и нашел, что девочка хорошо сложена.

Когда Эмма начала поправляться, она усиленно занялась выбором имени для дочки. Сначала она перебрала все женские имена с итальянскими окончаниями: Клара, Луиза, Аманда, Атала; ей нравилась Гальсуинда, но особенно — Изольда

и Леокадия. Шарлю хотелось назвать дочку в честь матери, но Эмма не соглашалась. Перечли календарь с первой до последней страницы, советовались с посторонними.

— Недавно я беседовал с Леоном, — сообщил фармацевт, — он удивляется, почему вы не дадите своей девочке имя Магдалины, — оно теперь в большой моде.

Но старуха Бовари, услышав имя грешницы, решительно воспротивилась. Сам г-н Оме предпочитал имена, напоминавшие о каком-нибудь великом человеке, славном подвиге или же благородной идее. Так, Наполеон представлял в его семействе славу, Франклин — свободу; Ирма знаменовала, должно быть, уступку романтизму, Аталия же являла собою дань непревзойденному шедевру французской сцены. Заметим кстати, что философские взгляды г-на Оме мирно уживались с его художественными вкусами, мыслитель не подавлял в нем человека с тонкими чувствами; он умел разграничивать, умел отличить пламенное воображение от фанатизма. В «Аталии», например, он осуждал идеи, но упивался слогом, порицал замысел, но рукоплескал частностям, возмущался поведением действующих лиц, но их речи зажигали его. Перечитывая знаменитые

места, он приходил в восторг, но при мысли о том, что это вода на мельницу мракобесов, впадал в отчаяние и, раздираемый противоположными чувствами, готов был собственноручно увенчать Расина лаврами и тут же с пеной у рта начать с ним спорить.

Наконец Эмма вспомнила, что в Вобьесарском замке маркиза назвала при ней одну молодую женщину Бертой; на этом она и остановилась, а так как папаша Руо не мог приехать, то в крестные отцы пригласили г-на Оме. Крестница получила на зубок от всех его товаров понемножку, а именно: шесть пакетиков ююбы, целую склянку ракаута, три коробочки алтейной пасты и сверх того шесть трубочек леденцов, завалявшихся у него в шкафу. После совершения обряда был устроен торжественный обед; на нем присутствовал и священник; языки у всех развязались. За ликером г-н Оме затянул «Бога честных людей». Леон спел баркаролу, старуха Бовари, крестная мать, спела романс времен Империи. В конце концов старик Бовари велел принести ребенка и принялся крестить его, поливая ему на головку шампанское из стакана. Аббат Бурнизьен выразил свое возмущение этим издевательством над первым из таинств. Старик Бовари ответил ему

цитатой из «Войны богов». Священник собрался уходить, дамы начали просить его остаться, Оме взял на себя роль миротворца, и священник, сев на свое место, как ни в чем не бывало поднес ко рту недопитую чашку кофе.

Старик Бовари прогостил в Ионвиле с месяц, и обыватели не могли надивиться его великолепной, военного образца, обшитой серебряным галуном фуражке, в которой он выходил по утрам на площадь выкурить трубку. Он был не дурак выпить и теперь часто посылал служанку в «Золотой лев» за бутылкой, которую там записывали на счет сына; на свои носовые платки он извел весь невесткин одеколон.

Но невестку его общество не раздражало. Он много видел на своем веку, рассказывал ей о Берлине, о Вене, о Страсбурге, о своей службе в армии, о своих любовницах, о пирушках, которые он устраивал, а кроме того, он за ней ухаживал и даже иногда, на лестнице или в саду, обнимал за талию и кричал:

— Берегись, Шарль!

В конце концов старуха Бовари, испугавшись за счастье сына, боясь, как бы ее супруг не оказал вредного влияния на нравственность молодой женщины, поспешила увезти его домой. Воз-

можно, что ею руководили и более серьезные опасения. Для г-на Бовари не было ничего святого.

Однажды у Эммы явилась острая потребность повидать свою девочку, которую отдали кормить жене столяра, и она, не заглянув в календарь, прошли или не прошли положенные шесть недель, отправилась на дом к Роле, жившим на окраине, под горой, между лугами и большаком.

Был полдень; ставни всюду были закрыты, аспидные крыши блестели в резком свете синего неба, их гребни точно искрились. Дул жаркий ветер. Эмма шла с трудом; ей больно было наступать на камни; она подумала, не вернуться ли ей, не зайти ли куда-нибудь посидеть.

В эту минуту из соседнего дома вышел Леон с кипой бумаг под мышкой. Он поклонился ей и стал в тени возле лавки Лере, под ее серым навесом.

Госпожа Бовари сказала, что вышла навестить ребенка, но уже утомилась.

— Если... — начал было Леон, но тут же осекся.

— Вы куда-нибудь по делу? — спросила она.

И, узнав, что нет, попросила проводить ее. К вечеру это стало известно всему Ионвилю, и жена мэра, г-жа Тюваш, сказала в присутствии своей

служанки, что «госпожа Бовари себя компрометирует».

Чтобы попасть к кормилице, надо было, пройдя улицу до самого конца, свернуть налево, по направлению к кладбищу, и идти между двумя рядами домишек и двориков, по тропинке, обсаженной кустами бирючины. Бирючина цвела; цвели и вероника, и шиповник, и крапива, и гибкая ежевика, тянувшаяся вверх. Сквозь лазейки в изгородях видно было, как возле «хибарок» роются в навозе свиньи, а привязанные коровы трутся рогами о деревья. Эмма и Леон медленно шли рядом, она опиралась на его руку, а он приноравливался к ее шагу. Перед ними в знойном воздухе кружилась, жужжа, мошкара.

Лачугу кормилицы затенял старый орешник — по этой примете они и узнали ее. Лачужка была низенькая, крытая коричневой черепицей; под слуховым окном висела связка лука. Вязанки хвороста, прислоненные стоймя к терновой изгороди, тянулись вокруг грядки латука и маленьких клумбочек лаванды и душистого горошка, обвивавшего подпорки. По траве растекалась грязная вода, на изгороди было развешано разное старье, чулки, красная ситцевая кофта, большая, грубого полотна простыня. На стук калитки вышла

кормилица с грудным ребенком на руке. Другой рукой она вела жалкого, хилого золотушного малыша, сына руанского шапочника, которого родители, люди занятые, отправили подышать деревенским воздухом.

— Пожалуйте, — сказала она, — ваша малютка спит.

В единственной комнате у задней стены стояла широкая кровать без полога, а под разбитым окном, заклеенным синей бумагой, — квашня. В углу за дверью, под умывальником, были выстроены в ряд башмаки, подбитые блестящими гвоздями, и тут же стояла бутылка с маслом, из которой торчало перышко; на пыльном камине среди ружейных кремней, огарков и обрывков трута валялся «Матвей Лансберг». Наконец, последнее украшение этого жилища составляла прибитая к стене шестью сапожными гвоздями трубящая Слава, вырезанная, вероятно, из какой-нибудь парфюмерной рекламы.

Девочка Эммы спала в стоявшей прямо на полу люльке, сплетенной из ракитовых прутьев. Эмма взяла ее на руки вместе с одеялом и, баюкая, стала напевать.

Леон прохаживался по комнате; ему как-то дико было видеть эту красивую женщину в на-

рядном платье среди такой нищеты. Г-жа Бовари покраснела; решив, что смотреть на нее сейчас неделикатно, он отвернулся. Девочка срыгнула ей на воротничок, и она положила ее опять в колыбельку. Кормилица поспешила успокоить мать, что пятна не останется, и бросилась вытирать воротничок.

— Меня она еще и не так отделывает, — говорила кормилица, — только успевай обмывать ее! Будьте настолько любезны, скажите лавочнику Камюсу, чтоб он мне мыльца отпускал, когда понадобится! Так и вам будет удобней — я уж вас не побеспокою.

— Хорошо, хорошо! — сказала Эмма. — До свидания, тетушка Роле!

И, вытерев об порог ноги, вышла во двор. Жена столяра пошла ее проводить и до самой калитки все охала, как трудно ей вставать по ночам.

— Иной раз до того умаюсь — сижу на стуле и клюю носом. Дали бы вы мне хоть фунтик молотого кофе — мне бы на месяц хватило, я бы его утром с молоком пила.

Госпоже Бовари пришлось долго слушать, как та рассыпается в благодарностях; наконец она с ней распростилась, но не успела пройти немного вперед по тропинке, как стук деревянных башма-

ков заставил ее оглянуться: это была кормилица!

— Что еще?

Жена столяра отвела Эмму в сторону, под сень вяза, и заговорила о своем муже, о том, что его заработка и тех шести франков в год, которые капитан...

— Говорите короче, — сказала Эмма.

— Так вот, — продолжала кормилица, испуская вздох после каждого слова, — что, если ему станет завидно смотреть, как я пью кофе? Сами знаете, эти мужчины...

— Да ведь у вас будет кофе, — подтвердила Эмма, — я же вам обещала!.. Вы мне надоели!

— Ах, милая барыня, у него от ран такие сильные спазмы бывают в груди! Он говорит, что даже от сидра слабеет.

— Тетушка Роле, не тяните!

— Ну да уж что там, — с поклоном продолжала кормилица, — вы уж меня извините за мою назойливость... — Она еще раз поклонилась. — Будьте такая добренькая, — она умоляющим взглядом смотрела на Эмму, — графинчик бы водочки, — наконец выговорила она, — я бы вашей доченьке ножки растирала, а они у нее нежные-пренежные, как все равно атлас!

Отделавшись от кормилицы, Эмма опять взяла

под руку Леона. Некоторое время она шла быстро, потом замедлила шаг, и взгляд ее уперся в плечо молодого человека и в черный бархатный воротник его сюртука. На воротник падали гладкие, тщательно расчесанные темно-русые волосы. Эмма заметила, что таких длинных ногтей, как у Леона, нет ни у кого во всем Ионвиле. Уход за ними составлял для помощника нотариуса предмет неустанных забот; с этой целью он держал в своем письменном столе особый ножичек.

В Ионвиль они возвращались вдоль реки. В жаркую погоду прибрежье расширялось, стены, которыми были обнесены сады, обнажались до самого основания, от садов к воде вели небольшие лесенки. Река, быстрая и на вид холодная, текла бесшумно. В ясных ее водах по воле течения склонялись одновременно высокие тонкие травы, напоминая взъерошенные зеленые кудри. На верхушках камышей и листьях кувшинок кое-где сидели или ползали на крошечных лапках насекомые. Солнечный луч пронизывал синие брызги набегавших одна на другую и разбивавшихся волн. В воде отражалась серая кора старых ив с подрезанными ветвями; на том берегу, куда ни кинь взор, стлались пустынные луга. На фермах в эту пору обедали; молодая женщина и ее спутник

слышали только свои мерные шаги по тропинке, слова, которыми они обменивались, да шелест платья, струившийся вокруг Эммы.

Садовые стены, утыканные сверху осколками бутылок, были горячи, как стекла теплицы. Между кирпичами пробивался желтофиоль. Г-жа Бовари мимоходом задевала цветы краем своего раскрытого зонтика, и от этого прикосновения увядшие лепестки рассыпались желтою пылью, а то вдруг веточка жимолости или ломоноса, свесившаяся через стену и нечаянно сбитая зонтом, цеплялась за бахрому, а потом скользила по его шелку.

Спутники говорили об испанской балетной труппе, которая должна была скоро приехать в Руан.

— Вы пойдете? — спросила Эмма.

— Если удастся, — ответил Леон.

Неужели им больше нечего было сказать друг другу? Нет, глаза их говорили о чем-то гораздо более важном. Подыскивая банальные фразы, оба чувствовали, как все их существо охватывает томление. Это был как бы шепот души — сокровенный, немолчный, заглушающий голоса. Потрясенные этим новым для них наслаждением, они не пытались поведать о нем друг другу,

уяснить себе, где его источник. Грядущее счастье, словно река в тропиках, еще издали наполняет неоглядные просторы тою негой, какой оно дышит всегда, еще издали повевает благоуханным ветром, и человек, упоенный, погружается в забытье, не заглядывая в даль и даже не помышляя о ней.

В одном месте стадо так растолкло землю, что пришлось перебираться по большим зеленым камням, кое-где торчавшим из грязи. Эмма поминутно останавливалась, смотрела, куда бы ей поставить ногу, и, покачиваясь на шатающемся булыжнике, расставив локти, подавшись всем корпусом вперед, растерянно оглядываясь, как бы не упасть в лужу, заливалась смехом.

Дойдя до своего сада, г-жа Бовари толкнула калитку, взбежала на крыльцо и скрылась за дверью.

Леон вернулся в контору. Патрона не было. Леон окинул взглядом папки с делами, очинил перо, взял шляпу и ушел.

Он взобрался на вершину Аргейльского холма и, очутившись на выгоне, у опушки леса, лег в тени елей и стал смотреть из-под руки на небо.

— Какая тоска! — говорил он себе. — Какая тоска!

Ему опостылела жизнь в этом захолустье, где единственным его приятелем, за неимением других, был Оме, а наставником — г-н Гильомен. Нотариус, вечно занятый делами, носил очки с золотыми дужками и белый галстук, оттенявший его рыжие бакенбарды, и ничего не понимал в сложных душевных переживаниях, однако вначале произвел на помощника сильное впечатление своею чопорною английскою складкой. Что же касается аптекарши, то это была лучшая жена во всей Нормандии; кроткая, как овечка, она обожала своих детей, отца, мать, всю свою родню, близко принимала к сердцу чужие беды, хозяйство вела спустя рукава и ненавидела корсеты. Но она была до того неповоротлива, до того скучна, до того бесцветна, такая это была неинтересная собеседница, что хотя ей минуло всего лишь тридцать лет, а Леону — двадцать, хотя их спальни были дверь в дверь и разговаривали они друг с другом ежедневно, он никогда не думал о ней как о женщине, все признаки ее пола заключались для него только в одежде.

Кто же еще? Бине, лавочники, кабатчики, священник и, наконец, мэр, г-н Тюваш, и два его сына; все это были скопидомы, нелюдимы, тугодумы, землю они обрабатывали своими руками,

пьянствовали только у себя дома, а на людях эти отвратительные ханжи прикидывались святыми.

И на фоне всех этих пошлых лиц отчетливо вырисовывался облик Эммы, такой своеобразный и все же такой далекий; он чувствовал, что между ним и ею лежит пропасть.

На первых порах он часто наведывался к ней вместе с фармацевтом. Шарль особого радушия не проявлял, и Леон не знал, как себя держать: он боялся показаться навязчивым и вместе с тем стремился к близости, которая ему же самому представлялась чем-то почти несбыточным.

IV

Как только настали холода, Эмма перебралась из своей спальни в длинную, с низким потолком залу, где на камине подле зеркала раскинул свои ветви коралловый полип. Из окна, у которого она обычно сидела в кресле, ей были видны шедшие по тротуару обыватели.

Два раза в день из конторы в «Золотой лев» проходил Леон. Шаги его она узнавала задолго до того, как он появлялся; она подавалась вперед и слушала; молодой человек, одетый всегда одинаково, не оборачиваясь, мелькал за занавеской. Но когда она здесь сумерничала, оперевшись подбородком на левую ладонь и уронив на колени начатое вышиванье, ее часто заставляла вздрагивать эта вдруг промелькнувшая тень. Она вставала и приказывала накрывать на стол.

Во время обеда приходил г-н Оме. Держа феску в руке, он ступал неслышно, чтобы никого не побеспокоить, и всегда говорил одно и то же: «Мир дому сему!» Потом садился за стол на свое обычное место, между супругами, и спрашивал лекаря, как его больные, а тот советовался с ним относительно гонораров. Говорили о том, «что

пишут в газетах». К этому времени Оме успевал выучить газету почти наизусть и пересказывал ее теперь слово в слово, вместе с комментариями журналистов, не опуская ни одной скандальной истории, где бы она ни случилась: во Франции или за границей. Исчерпав и эту тему, он всякий раз делал свои замечания по поводу приносимых блюд. Иногда он даже привставал и деликатно указывал хозяйке наиболее лакомый кусочек или же, обращаясь к служанке, давал ей советы, как надо приготовлять рагу и какая приправа к какому блюду идет. Об ароматических веществах, о мясных вытяжках, соусах и желатине он говорил так, что его можно было заслушаться. Надо заметить, что г-н Оме держал в голове больше рецептов, чем в его аптеке умещалось склянок; он сам великолепно варил варенье, делал уксус, сладкие ликеры, знал все нововведения в области экономных переносных плит, знал секрет хранения сыра и выхаживания больных вин.

В восемь часов за ним приходил Жюстен — пора было закрывать аптеку. Г-н Оме лукаво поглядывал на него, особенно если тут была Фелисите, — он заметил, что его ученик повадился в докторский дом.

— Мой молодец что-то начал задумывать-

ся, — говорил аптекарь. — Черт возьми, уж не влюбился ли он в вашу служанку?

Но у Жюстена был более серьезный недостаток: он вечно подслушивал разговоры взрослых, и аптекарь его за это журил. Так, например, по воскресеньям, когда дети засыпали в креслах, сбивая спинами чересчур широкие коленкоровые чехлы, и г-жа Оме вызывала Жюстена в гостиную, чтобы он унес их в детскую, его потом невозможно было выпроводить.

На этих воскресных вечеринках у фармацевта народу бывало немного, — злой язык хозяина и его политические взгляды мало-помалу оттолкнули от него людей почтенных. Зато помощник нотариуса не пропускал ни одной вечеринки. Заслышав звонок, он бросался встречать г-жу Бовари, принимал ее шаль, а грубые веревочные туфли, которые она надевала на ботинки для защиты от снега, отставлял в сторону, под аптекарскую конторку.

Сначала играли в тридцать одно, потом г-н Оме играл с Эммой в экарте, а Леон, стоя сзади, давал ей советы. Опираясь на спинку ее стула, он смотрел на гребень, впившийся зубьями в ее прическу. Когда Эмма сбрасывала карты, на груди у нее всякий раз приподнималось с правой

стороны платье. От зачесанных кверху волос ложился на спину коричневый отблеск и, постепенно бледнея, в конце концов сливался с полумраком. Внизу платье Эммы, пузырясь, морщась бесчисленными складками, свешивалось по обеим сторонам стула и ниспадало до полу. Нечаянно дотронувшись до него ботинком, Леон с таким испуганным видом отшатывался, словно наступил кому-нибудь на ногу.

После карт аптекарь с врачом сражались в домино, Эмма пересаживалась и, облокотившись на стол, перелистывала «Иллюстрацию». Она приносила с собою журнал мод. Леон подсаживался к ней; они вместе смотрели картинки и ждали друг друга, чтобы перевернуть страницу. Она часто просила его почитать стихи; Леон декламировал нараспев и нарочно делал паузы после строк, в которых говорилось о любви. Но его раздражал стук костяшек. Г-н Оме был сильный игрок и всегда обыгрывал Шарля на дубль-шесть. Дойдя до трехсот, оба разваливались в креслах у камина и очень скоро засыпали. Под пеплом дотлевал огонь; в чайнике было пусто; Леон все читал. Эмма, слушая его, машинально вертела газовый абажур, на котором были нарисованы Пьеро в колясках и канатные плясуньи с балансирами в

руках. Леон указывал на заснувшую публику и переставал читать; тогда они начинали говорить шепотом, и эта беседа казалась им еще приятнее, оттого что их никто не слышал.

Они заключили между собой нечто вроде соглашения, предусматривавшего постоянный обмен книгами и романсами. Г-н Бовари не был ревнив, и это его не задевало.

На свои именины он получил в подарок прекрасную френологическую голову, выкрашенную в синий цвет и испещренную цифрами до самой шеи. Это был знак внимания со стороны Леона. Он вообще был внимателен к лекарю и даже исполнял его поручения в Руане. А когда один нашумевший роман ввел в моду кактусы, Леон стал покупать их для г-жи Бовари и привозил в «Ласточке», всю дорогу держа их на коленях и накалывая пальцы колючками.

Эмма велела приделать у себя под окошком полочку с решеткой, чтобы было куда ставить горшки с цветами. Леон тоже устроил у себя подвесной садик. Ухаживая за цветами, они видели друг друга в окно.

Во всем городе было только одно окошко, в котором еще дольше маячила фигура человека: каждый день после обеда, а по воскресеньям с

утра до ночи, если только погода была ясная, в слуховом окне вырисовывался худощавый профиль г-на Бине, склонившегося над токарным станком, однообразное жужжанье которого долетало даже до «Золотого льва».

Как-то вечером, вернувшись домой, Леон увидел у себя в комнате коврик из бархата и шерсти, расшитый листьями по палевому полю. Он позвал г-жу Оме, г-на Оме, Жюстена, детей, кухарку, рассказал об этом патрону. Всем хотелось поглядеть на коврик. С чего это жена лекаря «расточает дары»? Это показалось подозрительным, и все сошлись на том, что она его возлюбленная.

Сам Леон давал пищу толкам — он так много говорил об ее очаровании, об ее уме, что как-то раз Бине грубо его оборвал:

— А мне-то что? Я с нею не знаком!

Леон ломал себе голову, как объясниться Эмме в любви. Он боялся оттолкнуть ее от себя; с другой стороны, ему было стыдно за свою трусость, и от полноты чувств и от сознания своей беспомощности на глазах у него выступали слезы. Он принимал твердые решения, писал письма и тут же их рвал, назначал себе сроки, а потом отодвигал их. Он часто шел к ней, готовый как будто бы на все, но в ее присутствии мужество

покидало его, и когда Шарль, войдя, предлагал ему прокатиться в шарабанчике в одну из окрестных деревень, где надо было навестить больного, он немедленно соглашался, прощался с хозяйкой и уходил. Он утешал себя тем, что в муже есть что-то от нее самой.

А Эмма даже не задавала себе вопроса, любит ли она Леона. Любовь, казалось ей, приходит внезапно, с молнийным блеском и ударами грома; это вихрь, который налетает откуда-то с неба на жизнь, переворачивает ее вверх дном, обрывает желания, точно листья, и ввергает сердце в пучину. Она не подозревала, что когда водосточные трубы засорены, то от дождя на плоских крышах образуются целые озера, и жила спокойно до тех пор, пока в стене своего дома случайно не обнаружила трещины.

V

Это было в одно из февральских воскресений, снежным днем.

Вся компания — г-н и г-жа Бовари, Оме и Леон — пошла посмотреть строившуюся в полумиле от города, в низине, льнопрядильную фабрику. Аптекарь взял с собой прогулки ради Наполеона и Аталию; замыкал шествие Жюстен с зонтами на плече.

Ничего, однако, достопримечательного не было в этой достопримечательности. На обширном пустыре, на котором, среди куч песка и камней, там и сям валялись уже успевшие проржаветь зубчатые колеса, стояло длинное четырехугольное здание со множеством пробитых в нем окошек. Здание было недостроено, и между балками сквозило небо. Привязанный к шесту на коньке пучок соломы с колосьями хлопал по ветру своею трехцветною лентой.

Оме разглагольствовал. Он объяснял спутникам, какое значение будет иметь это предприятие, определял на глаз толщину пола и стен и очень жалел, что у него нет измерительной линейки вроде той, какая есть у г-на Бине для его

личных нужд.

Эмма шла под руку с аптекарем и, слегка прижимаясь к его плечу, смотрела на солнечный диск, излучавший в туманной дали свою слепящую матовость. Потом вдруг повернула голову — взгляд ее невольно остановился на Шарле. Фуражка сползла у него чуть не на брови, толстые губы шевелились, и это придавало его лицу какое-то глупое выражение; даже его спина, его невозмутимая спина, раздражала ее; ей казалось, что заурядность этого человека сказывается во всем, вплоть до сюртука.

Эмма все еще рассматривала Шарля, находя в своем раздражении какую-то злобную радость, но в это время Леон очутился на один шаг впереди нее. Он побелел от холода, и от этого во всех чертах его разлилась еще более нежная томность. Воротник рубашки был ему широковат, и между подбородком и галстуком чуть-чуть видна была шея; из-под пряди волос выглядывала мочка уха; его большие голубые глаза, смотревшие на облака, казались Эмме прозрачнее и красивее горных озер, в которых отражается небо.

— Куда тебя несет! — вдруг закричал аптекарь и бросился к сыну. Мальчик залез в известку — ему хотелось выбелить свои башмачки. Отец

его как следует пробрал; Наполеон заревел от обиды, а Жюстен принялся отчищать башмаки жгутом соломы. Но, чтобы отскрести известку, нужен был нож. Шарль предложил свой.

«Ах, — подумала Эмма, — он, как мужик, всюду ходит с ножом в кармане!»

Сыпалась изморозь. Все повернули обратно.

Вечером г-жа Бовари не пошла к соседям, и когда после ухода Шарля она осталась одна, перед ней с отчетливостью почти непосредственного ощущения и с той удаленностью перспективы, какую сообщает предметам воспоминание, вновь возникла все та же параллель. Лежа на кровати, она не отводила глаз от жарко пылавшего огня и как сейчас видела Леона — он стоял, одной рукой помахивая тросточкой, а другой держа Аталию, которая с невозмутимым видом посасывала льдинку. Он казался Эмме очаровательным; она приковала к нему мысленный взор; она припоминала те положения, какие он принимал в другие дни, сказанные им фразы, звук его голоса, весь его облик и, протягивая губы словно для поцелуя, твердила:

— Да, он обворожителен! Обворожителен!.. Уж не влюблен ли он? — спрашивала она себя. — Но в кого же?.. Да в меня!

Вся цепь доказательств в одно мгновение развернулась перед Эммой, сердце у нее запрыгало. От огня в камине на потолке весело бегали отблески. Эмма легла на спину, потянулась.

И вслед за тем начались беспрерывные вздохи:

«Ах, если б это сбылось! А почему бы нет? Кто может этому помешать?..»

Шарль вернулся в полночь, и Эмма сделала вид, что только сейчас проснулась; когда же он, раздеваясь, чем-то стукнул, она пожаловалась на головную боль, а затем безучастным тоном спросила, как прошел вечер.

— Леон сидел недолго, — ответил Шарль.

Она не могла сдержать улыбку и, отдавшись во власть нового для нее очарования, уснула.

На другой день, когда уже смерклось, к ней пришел торговец модными товарами г-н Лере. Ловкий человек был этот купец.

Уроженец Гаскони, он впоследствии стал нормандцем и сумел сочетать в себе южное краснобайство с кошской хитрецой. Его обрюзгшее, дряблое безбородое лицо было точно окрашено отваром светлой лакрицы, а недобрый блеск маленьких черных глаз казался еще живее от седины. Кем он был раньше — никто не знал: одни говорили — разносчиком, другие — ме-

нялой в Руто. Но вот что, однако, не подлежало сомнению: он обладал способностью делать в уме такие сложные вычисления, что даже сам Бине приходил в ужас. Угодливый до льстивости, он вечно изгибался, точно кому-то кланялся или кого-то приглашал.

Оставив при входе свою шляпу с крепом, он поставил на стол зеленую картонку и, рассыпаясь в любезностях, стал пенять на то, что до сих пор не заслужил доверия «сударыни». И то сказать: чем же его жалкая лавчонка может привлечь такую *элегантную даму*? Он подчеркнул эти два слова. А между тем ей стоит только приказать, и он достанет для нее все что угодно: и белье, и чулки, и галантерейные, и модные товары — ведь он непременно каждую неделю ездит в город. У него дела с лучшими торговыми домами. Можете спросить про него в «Трех братьях», в «Золотой бороде», в «Длинноногом дикаре» — хозяева знают его как свои пять пальцев! Так вот, нынче он хотел показать, между прочим, сударыне некоторые вещицы, которые попали к нему по счастливой случайности. С этими словами он достал из картонки полдюжины вышитых воротничков.

Госпожа Бовари рассмотрела их.

— Мне это не нужно, — сказала она.

Тогда г-н Лере бережно вынул три алжирских шарфа, несколько коробок английских булавок, соломенные туфли и, наконец, четыре рюмки для яиц, выточенные каторжниками из скорлупы кокосового ореха. Опершись обеими руками на стол, вытянув шею, подавшись всем корпусом вперед, он жадно следил за выражением лица Эммы, растерянно перебегавшей глазами с предмета на предмет. Время от времени г-н Лере, будто бы снимая пылинку, проводил ногтем по разостланному во всю длину шелковому шарфу, и шелк, чуть слышно шурша, трепетал, а золотые блестки ткани мерцали звездочками в зеленоватом свете сумерек.

— Что это стоит?

— Пустяки, — ответил торговец, — да и дело-то не к спеху. Когда вам будет угодно. Мы ведь с вами не жиды!

Подумав немного, она поблагодарила г-на Лере и отказалась, а он, нисколько не удивившись, проговорил:

— Ну, хорошо, после столкуемся. Я со всеми дамами лажу, кроме собственной жены!

Эмма улыбнулась.

— Это я вот к чему, — с добродушным, но уже

серьезным видом продолжал г-н Лере, — я о деньгах не беспокоюсь... Денег я и сам мог бы вам дать, когда нужно.

Эмма выразила изумление.

— Да, да! — понизив голос, быстро заговорил он. — Я бы вам их мигом раздобыл. Можете на меня рассчитывать!

И потом вдруг начал расспрашивать, как здоровье папаши Телье, владельца кафе «Франция», которого в это время лечил г-н Бовари.

— Что это с папашей Телье?.. Он кашляет так, что весь дом трясется. Боюсь, как бы вместо фланелевой фуфайки ему не понадобилось еловое пальто. В молодости он любил кутнуть! Такие люди, как он, сударыня, ни в чем меры не знают! Он сгорел от водки. А все-таки грустно, когда старый знакомый отправляется на тот свет.

Застегивая картонку, он продолжал перебирать пациентов Шарля.

— Все эти заболевания от погоды! — хмуро поглядывая на окна, говорил он. — Мне тоже что-то не по себе. Надо будет зайти на днях посоветоваться с доктором — спина очень болит. Ну, до свидания, госпожа Бовари! Всегда к вашим услугам! Нижайшее почтение.

С этими словами он тихонько затворил за со-

бою дверь.

Эмма велела подать обед к ней в комнату и села поближе к огню; ела она медленно; все казалось ей вкусным.

«Как я умно поступила!» — подумала она, вспомнив о шарфах.

На лестнице послышались шаги: это был Леон. Эмма встала и взяла с комода из стопки первое попавшееся неподрубленное полотенце. Когда Леон вошел, у нее был в высшей степени деловой вид.

Разговор не клеился. Г-жа Бовари поминутно прерывала его, Леон тоже как будто чувствовал себя крайне неловко. Он сидел на низеньком стуле у камина и вертел в руке футлярчик из слоновой кости; Эмма шила и время от времени расправляла ногтем рубцы. Она не говорила ни слова; Леон, завороженный ее молчанием, как прежде ее разговором, также был нем.

«Бедный мальчик!» — думала она.

«Чем я ей не угодил?» — спрашивал себя он.

Наконец, сделав над собой усилие, он сказал, что на днях ему придется по делам нотариальной конторы съездить в Руан.

— Ваш нотный абонемент кончился. Возобновить его?

— Нет, — ответила Эмма.

— Почему?

— Потому что...

Поджав губы, она медленно вытянула длинную серую нитку.

Занятие Эммы раздражало Леона. Ему казалось, что она все время колет себе пальцы.

Он придумал галантную фразу, но не посмел произнести ее.

— Так вы больше не будете?.. — спросил он.

— Что? — живо отозвалась Эмма. — Играть? Ах, боже мой, когда же мне? Надо хозяйство вести, о муже заботиться, — словом, у меня много всяких обязанностей, масса куда более важных дел!

Она посмотрела на часы. Шарль запаздывал. Она сделала вид, что беспокоится.

— Он такой добрый! — несколько раз повторила она.

Помощник нотариуса был расположен к г-ну Бовари. Но это проявление нежности к нему со стороны Эммы неприятно поразило Леона. Однако он тоже рассыпался в похвалах Шарлю и добавил, что все от него в восторге, особенно фармацевт.

— Да, он очень хороший человек! — молвила Эмма.

— Бесспорно, — подтвердил Леон.

И тут же заговорил о г-же Оме, над неряшливостью которой они оба часто посмеивались.

— Ну и что ж такого? — прервала его Эмма. — Настоящая мать семейства о своих туалетах не заботится.

И снова умолкла.

С этого дня так и пошло. Ее слова, поведение — все изменилось. Она вся ушла в хозяйство, постоянно бывала в церкви, приструнила служанку.

Берту она взяла домой. Когда приходили гости, Фелисите приносила ее, и г-жа Бовари раздевала девочку и показывала, какое у нее тельце. Она всех уверяла, что обожает детей. Это ее утешение, ее радость, ее помешательство. Ласки сопровождались у нее изъявлениями восторга, которые всем, кроме ионвильцев, могли бы напомнить вретишницу из «Собора Парижской богоматери».

Когда Шарль приходил домой, ему всегда теперь грелись подле истопленного камина туфли. У всех его жилетов была теперь подкладка, на сорочках все до одной пуговицы были пришиты, ночные колпаки, ровными стопками разложенные в бельевом шкафу, радовали глаз. Когда супруги гуляли по саду, Эмма уже не хмурилась, как

прежде; что бы Шарль ни предложил, она со всем соглашалась, всему подчинялась безропотно, не рассуждая. И когда Шарль, раскрасневшийся после сытного обеда, сидел у камелька, сложив руки на животе, поставив ноги на решетку, и глаза у него были масленые от испытываемого им блаженного состояния, когда девочка ползала по ковру, а эта женщина с гибким станом перевешивалась через спинку кресла и целовала мужа в лоб, Леон невольно думал:

«Что за нелепость! Ну как тут затронешь ее сердце?»

Эмма казалась Леону столь добродетельной, столь неприступной, что у него уже не оставалось и проблеска надежды.

Но, подавив в себе желания, он вознес ее на небывалую высоту. Чисто женские свойства отсутствовали в том образе, который он себе создал, — они уже не имели для него никакой цены. В его представлении она все больше и больше отрывалась от земли и, точно в апофеозе, с божественной легкостью уносилась в вышину. Он любил ее чистой любовью, — такая любовь не мешает заниматься делом, ее лелеют, потому что она не часто встречается в жизни, но радости этой любви перевешивает горе, которое она при-

чиняет в конце.

Эмма похудела, румянец на ее щеках поблек, лицо вытянулось. Казалось, эта всегда теперь молчаливая женщина, с летящей походкой, с черными волосами, большими глазами и прямым носом, идет по жизни, едва касаясь ее, и несет на своем челе неясную печать какого-то высокого жребия. Она была очень печальна и очень тиха, очень нежна и в то же время очень сдержанна, в ее обаянии было что-то леденящее, бросавшее в дрожь, — так вздрагивают в церкви от благоухания цветов, смешанного с холодом мрамора. Никто не мог устоять против ее чар. Фармацевт говорил про нее:

— Удивительно способная женщина, — ей бы в субпрефектуре служить.

Хозяйки восхищались ее расчетливостью, пациенты — учтивостью, беднота — сердечностью.

А между тем она была полна вожделений, яростных желаний и ненависти. Под ее платьем с прямыми складками учащенно билось наболевшее сердце, но ее стыдливые уста не выдавали ее мук. Эмма была влюблена в Леона, и она искала уединения, чтобы, рисуя себе его образ, насладиться им без помех. С его появлением кончалось блаженство созерцания. Заслышав его

шаги, Эмма вздрагивала, при встрече с ним ее волнение утихало и оставалось лишь состояние полнейшей ошеломленности, которую постепенно вытесняла грусть.

Когда Леон, в безнадежном отчаянии, уходил от нее, он не подозревал, что она сейчас же вставала и смотрела в окно, как он идет по улице. Ее волновала его походка, она следила за сменой выражений на его лице; она придумывала целые истории только для того, чтобы под благовидным предлогом зайти к нему в комнату. Она завидовала счастью аптекарши, спавшей под одной кровлей с ним. Мысли ее вечно кружились над этим домом, точно голуби из «Золотого льва», которые слетались туда купать в сточной трубе свои розовые лапки и белые крылья. Но чем яснее становилось Эмме, что она любит, тем настойчивее пыталась она загнать свое чувство внутрь, чтобы оно ничем себя не обнаружило, чтобы уменьшить его силу. Она была бы рада, если б Леон догадался сам. Ей приходили в голову разные стечения обстоятельств, катастрофы, которые могли бы облегчить им сближение. Удерживали ее, конечно, душевная вялость, страх, а кроме того, стыд. Ей казалось, что она его слишком резко оттолкнула, что теперь уже поздно, что все

кончено. Но потом горделивая радость от сознания: «Я — честная женщина», радость — придав своему лицу выражение покорности, посмотреть на себя в зеркало, отчасти вознаграждала ее за принесенную, как ей казалось, жертву.

Веления плоти, жажда денег, томление страсти — все слилось у нее в одно мучительное чувство. Она уже не могла не думать о нем — мысль се беспрестанно к нему возвращалась; она бередила свою рану, всюду находила для этого повод. Ее раздражали неаккуратно поданное блюдо, неплотно запертая дверь, она страдала, оттого что у нее нет бархата, оттого что она несчастна, от несбыточности своих мечтаний, оттого что дома у нее тесно.

Шарль, видимо, не догадывался о ее душевной пытке, и это приводило ее в бешенство. Он был убежден, что создал для нее счастливую жизнь, а ей эта его уверенность казалась обидной нелепостью, она расценивала ее как проявление черствости. Ради кого она была так благоразумна? Не он ли был ей вечной помехой на пути к счастью, ее злой долей, острым шпеньком на пряжке туго стягивавшего ее ремня?

В конце концов она на него одного перенесла ту ненависть, которая накапливалась у нее в

душе от многообразных огорчений, и малейшая попытка смягчить это чувство только обостряла его, оттого что бесплодное усилие становилось лишней причиной для отчаяния и еще больше способствовало отчужденности. Собственная кротость возмущала ее. Серость быта вызывала мечты о роскоши, ласки супруга — жажду измены. Ей хотелось, чтобы Шарль побил ее, — тогда бы у нее было еще больше оснований ненавидеть его и мстить. Порой ее самое пугали те страшные мысли, что приходили ей на ум. А между тем надо было продолжать улыбаться, выслушивать рассуждения о том, как она счастлива, делать вид, что так оно и есть на самом деле, оставлять в этом заблуждении других!

Лицемерие это ей претило. Ее одолевал соблазн бежать с Леоном — все равно куда, только как можно дальше, и там начать новую жизнь, но в душе у нее тотчас разверзалась мрачная бездна.

«Да он меня уже и не любит, — думалось ей. — Как же мне быть? От кого ждать помощи, участия, утешения?»

Из глаз ее катились слезы; обессилевшая, разбитая, она ловила ртом воздух и тихо всхлипывала.

— Почему ж вы барину не скажете? — видя, что с ней припадок, спрашивала служанка.

— Это нервы, — отвечала Эмма. — Не говори ему, он только расстроится.

— Ну да, — отзывалась Фелисите, — у вас то же самое, что у Герины, дочки дядюшки Герена, рыбака из Боле. Я с ней познакомилась в Дьеппе, еще до того, как поступила к вам. Она всегда была такая грустная, такая грустная! Станет на пороге — ну прямо черное сукно, что вешают у входа в день похорон. Это у нее, знать, такая болезнь была — что-то вроде тумана в голове, и никто ничего не мог поделать, ни доктора, ни священник. Когда уж очень лихо ей приходилось, она убегала к морю, и там ее часто видел при обходе таможенный досмотрщик: лежит ничком на гальке и плачет. Говорят, после свадьбы это у нее прошло.

— А у меня это началось после свадьбы, — говорила Эмма.

VI

Однажды вечером она сидела у открытого окна и смотрела, как причетник Лестибудуа подрезает кусты букса, но потом он вдруг исчез, и тотчас же зазвонил к вечерне колокол.

Это было в начале апреля, когда расцветают примулы, когда по разделанным грядкам кружится теплый ветер, а сады, словно женщины, наряжаются к летним праздникам. Сквозь переплет беседки и далеко кругом было видно, какие затейливые излучины выписывает в лугах река. Вечерний туман поднимался меж безлистых тополей, скрадывая их очертания лиловою дымкой, еще более нежной и прозрачной, чем тонкий флер, повисший на ветвях. Вдали брело стадо, но не слышно было ни топота, ни мычанья, а колокол все звонил, в воздухе по-прежнему реяла его тихая жалоба.

Под этот мерный звон Эмма унеслась мыслью в давние воспоминания юности и пансиона. Ей припомнились высокие светильники на престоле, возвышавшиеся над цветочными вазами и дарохранительницей с колонками. Ей хотелось замешаться, как прежде, в длинный ряд белых

косынок, кое-где оттенявшихся черными, стоявшими колом капюшонами инокинь, которые преклоняли колена на скамеечки. За воскресной литургией она поднимала глаза от молитвенника и меж сизых клубов ладана, возносившихся к куполу, видела кроткий лик Девы Марии. На душу Эммы снизошло умиление. Она вдруг почувствовала, что она слаба и беспомощна, как пушинка, которую кружит вихрь. И, не рассуждая, направилась к церкви, — она готова была дать любой обет, лишь бы на его исполнение ушли все ее душевные силы, лишь бы он поглотил ее всю без остатка.

На площади ей встретился Лестибудуа, только что спустившийся с колокольни. Он звонил к вечерне между делом, когда ему было удобнее: оторвется от своих занятий, позвонит, потом опять за дела. Кроме того, преждевременным благовестом он созывал мальчиков на урок катехизиса.

Некоторые из них уже играли на могильных плитах в шары. Другие сидели верхом на ограде и болтали ногами, сбивая верхушки высокой крапивы, разросшейся между крайними могилами и низенькой каменной стенкой. Это был единственный зеленый уголок на всем кладби-

ще; дальше шел сплошной камень, несмотря на метлу сторожа вечно покрытый мелкою пылью.

Мальчишки в матерчатых туфлях бегали по кладбищу, как будто это был настланный для них паркет, их крики покрывали гудение колокола. Звон ослабевал вместе с качаньем толстой веревки, конец которой, спускаясь с колокольни, волочился по земле. Рассекая воздух своим режущим лётом, с визгом проносились ласточки и мгновенно исчезали в гнездах, желтевших под черепицей карниза. В глубине церкви горела лампада, попросту говоря — фитиль от ночника в подвешенной плошке. Издали свет ее можно было принять за мутное пятно, мерцающее поверх масла. Длинный луч солнца тянулся через весь корабль, и от этого все углы и боковые приделы казались еще сумрачнее.

— Где священник? — обратилась г-жа Бовари к мальчугану, который от нечего делать вертел расхлябанный турникет.

— Сейчас придет, — ответил мальчуган.

В самом деле, дверь в доме священника скрипнула, и на пороге появился аббат Бурнизьен; мальчишки гурьбой кинулись в церковь.

— Вот безобразники! — пробормотал священник. — Одно баловство на уме!

Наступив на растрепанный катехизис, он нагнулся и поднял его.

— Ничего для них нет святого! Но тут он увидел г-жу Бовари.

— Извините, — сказал он, — я вас не узнал.

Он сунул катехизис в карман и, все еще раскачивая двумя пальцами тяжелый ключ от ризницы, остановился.

Заходящее солнце било ему прямо в глаза, и в его свете лоснившаяся на локтях ластиковая сутана с обтрепанным подолом казалась менее темной. Широкую грудь вдоль ряда пуговок усеяли следы жира и табака; особенно много их было внизу, где от них не защищал нагрудник, на который свисали складки красной кожи, испещренной желтыми пятнами, прятавшимися в щетине седеющей бороды. Священник громко сопел — он только что пообедал.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Плохо, — ответила Эмма. — Я страдаю.

— Вот и я тоже! — подхватил священнослужитель. — Первые дни жары невероятно расслабляют, правда? Ну да ничего не поделаешь! Мы рождены для того, чтобы страдать, — так нас учит апостол Павел. А как смотрит на ваше самочувствие господин Бовари?

— Никак! — презрительно поведя плечами, ответила Эмма.

— Да неужели? — в полном изумлении воскликнул простодушный священник. — Он вам ничего не прописывает?

— Ах, я в его лекарствах не нуждаюсь! — молвила Эмма.

Священник между тем все поглядывал, что делают в церкви мальчишки, а мальчишки, стоя на коленях, толкали друг друга плечом и потом вдруг падали, как карточные домики.

— Мне важно знать... — снова заговорила Эмма.

— Погоди, погоди, Наблудэ! Я тебе уши нарву, сорванец! — сердито крикнул священник и обратился к Эмме: — Это сын плотника Будэ. Родители у него зажиточные, вот они его и балуют. А так малый способный, был бы хорошим учеником, если б не лень. Я иногда в шутку называю его Наблудэ. Ха-ха-ха! Вечно он что-нибудь наблудит, напроказит... Недавно я рассказал про это владыке, так он посмеялся... изволил смеяться... Ну, а как господин Бовари поживает?

Эмма, видимо, не слушала его.

— Наверно, как всегда, в трудах! — продолжал священник. — Мы ведь с ним самые занятые

люди во всем приходе. Но только он врачует тело, а я — душу! — с раскатистым смехом добавил он.

Эмма подняла на него умоляющий взор.

— Да... — сказала она. — Вы утешаете во всех скорбях.

— Ах, и не говорите, госпожа Бовари! Не далее как сегодня утром мне пришлось идти в Ба-Дьовиль из-за коровы: ее раздуло, а они думают, что это от порчи. Нынче с этими коровами прямо беда... Виноват! Одну минутку! Лонгмар и Будэ! Да перестанете вы или нет, балбесы вы этакие?

Священник устремился в церковь.

Ребята в это время толклись вокруг высокого аналоя, влезали на скамеечку псаломщика, открывали служебник; другие крадучись уже подбирались к исповедальне. Неожиданно на них посыпался град оплеух. Священнослужитель хватал их за шиворот, отрывал от пола, а потом с такой силой ставил на колени, точно хотел вбить в камень амвона.

— Да, так вот, — вернувшись к Эмме, сказал он и, зажав в зубах уголок большого ситцевого носового платка, принялся развертывать его. — Крестьянам тяжело живется.

— Не только одним крестьянам, — возразила Эмма.

— Совершенно справедливо!. Взять хотя бы рабочих в городах.

— Да нет...

— Простите, мне эта среда знакома! И я знаю случаи, когда у несчастных матерей, добродетельных, ну просто святых женщин, не было подчас куска хлеба.

— Но те, ваше преподобие, — возразила Эмма, и углы губ у нее дрогнули, — те, у кого есть хлеб, но нет...

— Дров на зиму? — подсказал священник.

— Это не беда!

— То есть как не беда? По-моему, если человек живет в тепле, в сытости... ведь в конце-то концов...

— Боже мой! Боже мой! — вздыхала Эмма.

— Вы неважно себя чувствуете? — подойдя к пей вплотную, с обеспокоенным видом спросил священник. — Наверно, желудок но в порядке? Идите-ка домой, госпожа Бовари, выпейте чайку для бодрости или же холодной воды с сахаром.

— Зачем?

Эмма словно только сейчас проснулась.

— Вы держитесь за голову. Я и подумал, что вам нехорошо. Ах да, — спохватился священник, — вы хотели меня о чем-то спросить. Что такое? Я

понятия не имею.

— Спросить? Нет, ничего... ничего... — повторяла Эмма.

И ее блуждающий взгляд задержался на старике в сутане. Оба молча смотрели друг на друга в упор.

— В таком случае, госпожа Бовари, извините, — сказал наконец священник, — долг, знаете ли, прежде всего. Мне пора заняться с моими шалопаями. Скоро день их первого причастия. Боюсь, как бы они меня не подвели! Поэтому с самого Вознесения я регулярно каждую среду задерживаю их на час. Ох, уж эти дети, дети! Надо как можно скорее направить их на путь спасения, как то заповедал нам сам господь устами божественного своего сына... Будьте здоровы, сударыня! Кланяйтесь, пожалуйста, вашему супругу!

И, преклонив у входа колена, он вошел в церковь.

Эмма смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду: растопырив руки, склонив голову чуть-чуть набок, он тяжело ступал между двумя рядами скамеек.

Затем она повернулась, точно статуя на оси, и пошла домой. Но еще долго преследовал ее зычный голос священника и звонкие голоса

мальчишек:

— Ты христианин?

— Да, я христианин.

— Кто есть христианин?

— Христианин есть тот, кто принял таинство крещения... крещения... крещения...

Держась за перила, Эмма поднялась на крыльцо и, как только вошла к себе в комнату, опустилась в кресло.

В окна струился мягкий белесоватый свет. Все предметы стояли на своих местах и казались неподвижней обычного, — они словно тонули в океане сумерек. Камин погас, маятник стучал себе и стучал, и Эмма бессознательно подивилась, как это вещи могут быть спокойны, когда в душе у нее так смутно. Между окном и рабочим столиком ковыляла в вязаных башмачках маленькая Берта; она пыталась подойти к матери и уцепиться за завязки ее передника.

— Отстань! — отведя ее руки, сказала Эмма.

Немного погодя девочка еще ближе подошла к ее коленям. Упершись в них ручонками, она подняла на мать большие голубые глаза; изо рта у нее на шелковый передник Эммы стекала прозрачная струйка слюны.

— Отстань! — в сердцах повторила мать.

Выражение ее лица испугало девочку, и она расплакалась.

— Да отстанешь ты от меня наконец? — толкнув ее локтем, крикнула Эмма.

Берта упала около самого комода и ударилась о медное украшение; она разрезала себе щеку, показалась кровь. Г-жа Бовари бросилась поднимать ее, позвонила так, что чуть не оборвала шнурок, истошным голосом стала звать служанку, проклинала себя, но тут вдруг появился Шарль. Он пришел домой обедать.

— Посмотри, дружок, — спокойно заговорила Эмма, — девочка упала и поранила себе щечку.

Шарль уверил жену, что ничего опасного нет, и побежал за пластырем.

Госпожа Бовари не вышла в столовую, — ей хотелось остаться здесь и поухаживать за ребенком. Она смотрела на уснувшую Берту, последние остатки ее тревоги мало-помалу рассеивались, и в конце концов Эмма решила, что она очень глупа и очень добра, иначе она бы не стала расстраиваться по пустякам. В самом деле, Берта уже не всхлипывала. Бумажное одеяльце чуть заметно шевелилось теперь от ее дыхания. В углах полузакрытых ввалившихся глаз стояли крупные слезы; меж ресниц видны были матовые белки; липкий

пластырь натягивал кожу поперек щеки.

«На редкость некрасивый ребенок!» — думала Эмма.

Вернувшись из аптеки в одиннадцать часов вечера (он пошел туда после обеда отдать остаток пластыря), Шарль застал жену подле детской кроватки.

— Уверяю тебя, что все пройдет! — сказал он, целуя ее в лоб. — Не мучь ты себя, бедняжечка, а то сама заболеешь!

В тот вечер он засиделся у аптекаря. Хотя он и не имел особенно расстроенного вида, все же г-н Оме старался ободрить его, «поднять его дух». Разговор зашел о различных опасностях, грозящих детям, о легкомыслии прислуги. Г-жа Оме знала это по опыту — на груди у нее так и остались следы от горящих углей, давным-давно упавших ей за фартук с совка, который держала кухарка. Вот почему нежные родители г-н и г-жа Оме были особенно осторожны. Ножи у них в доме никогда не точились, полы не натирались. Окна были забраны железной решеткой, камины ограждены решеточками из толстых прутьев. Дети Оме пользовались самостоятельностью, и тем не менее за каждым их шагом зорко следили; при малейшей простуде отец поил их микстурами от кашля, лет

до пяти их заставляли носить стеганые шапочки. Правда, это была уже мания г-жи Оме: супруг ее в глубине души был недоволен, — он боялся, как бы давление шапочек на мозг не повлияло на умственные способности; иной раз он даже не выдерживал и говорил:

— Ты что же это, хочешь сделать из них караибов или ботокудов?

Шарль между тем неоднократно пытался прервать беседу.

— Мне надо с вами поговорить, — шепнул он при выходе Леону, который стал было подниматься к себе.

«Неужели он что-то заподозрил?» — подумал тот. Сердце у него сильно билось, он терялся в догадках.

Затворив за собой дверь, Шарль обратился к нему с просьбой разузнать в Руане, сколько может стоить хороший дагерротип; он хочет сделать жене трогательный сюрприз в знак особого внимания — сняться в черном фраке и преподнести ей свой портрет. Но только прежде надо бы «прицениться». Шарль, однако, надеется, что это поручение не затруднит г-на Леона, — все равно он почти каждую неделю ездит в город.

Зачем? Оме подозревал тут «проказы ветреной

молодости», какую-нибудь интрижку. Но он ошибался: никаких любовных похождений у Леона не было. Никогда еще он так не грустил. Г-жа Лефрансуа судила об этом по тому, как много еды оставалось у него теперь на тарелках. Чтобы дознаться, в чем тут дело, она обратилась за разъяснениями к податному инспектору; Бине сухо ответил ей, что он «в полиции не служит».

Впрочем, и на Бине его сотрапезник производил весьма странное впечатление, — Леон часто откидывался на спинку стула и, разводя руками, в туманных выражениях жаловался на жизнь.

— Вам надо развлекаться, — говорил податной инспектор.

— Как развлекаться?

— Я бы на вашем месте завел токарный станок!

— Я же не умею точить!

— Да, это правда! — презрительно и самодовольно поглаживая подбородок, соглашался Бине.

Безответная любовь истомила Леона; к душевной усталости примешалось еще уныние, порожденное однообразием бесцельного, беспросветного существования. Ему до того опостылели Ионвиль и его обитатели, что он уже видеть

не мог некоторых знакомых, некоторые дома. Фармацевта, несмотря на все его добродушие, он буквально не выносил. А между тем перемена обстановки не только прельщала, но и пугала его.

Впрочем, боязнь скоро уступила место нетерпению; Париж издалека манил его к себе музыкой на балах-маскарадах и смехом гризеток. Ведь ему все равно необходимо закончить юридическое образование, — так что же он не едет? Кто ему мешает? И он стал мысленно готовиться к отъезду. Он заблаговременно обдумал план занятий. Решил, как именно обставить свою комнату. Он будет вести артистический образ жизни! Будет учиться играть на гитаре! Заведет халат, баскский берет, голубые бархатные туфли! Он представлял себе, как он повесит над камином две скрещенные рапиры, а над рапирами — гитару и череп.

Главная трудность заключалась в том, чтобы получить согласие матери; в сущности же, это был в высшей степени благоразумный шаг. Даже сам патрон советовал ему перейти в другую контору, где он мог бы найти себе более широкое поле деятельности. Леон принял сначала компромиссное решение, стал искать место младшего помощника нотариуса в Руане, но не нашел и

только после этого написал матери длинное письмо, подробно изложив причины, по которым ему необходимо было немедленно переехать в Париж. Мать согласилась.

Леон не спешил. В течение месяца Ивер каждый день возил ему из Ионвиля в Руан, из Руана в Ионвиль сундуки, чемоданы, тюки, но, пополнив свой гардероб, перебив свои три кресла, накупив уйму кашне, словом, приготовившись так, как не готовятся и к кругосветному путешествию, он потом стал откладывать отъезд с недели на неделю — до тех пор, пока не пришло второе письмо от матери, в котором она торопила его, ссылаясь на то, что сам же он хотел сдать экзамены до каникул.

Когда настал час разлуки, г-жа Оме заплакала, Жюстен зарыдал; один лишь г-н Оме, будучи человеком мужественным, сдержался, — он только изъявил желание донести пальто своего друга до калитки нотариуса, который вызвался отвезти Леона в Руан в своем экипаже. Времени у Леона оставалось в обрез, только чтобы успеть проститься с г-ном Бовари.

Взбежав по лестнице, он так запыхался, что принужден был остановиться. Как только он вошел, г-жа Бовари встала.

— Это опять я! — сказал Леон.

— Я так и знала!

Эмма кусала себе губы; кровь прилила у нее к лицу, и она вся порозовела — от корней волос до самого воротничка. Она продолжала стоять, прислонившись плечом к стене.

— Вашего супруга нет дома? — спросил Леон.

— Нет. — И еще раз повторила: — Нет.

Наступило молчание. Они смотрели друг на друга, и мысли их, проникнутые одним и тем же тоскливым чувством, сближались, как два трепещущих сердца.

— Мне хочется поцеловать Берту, — сказал Леон.

Эмма спустилась на несколько ступенек и позвала Фелисите.

Леон пробежал глазами по стенам, по этажеркам, по камину, точно хотел проникнуть всюду, все унести с собой.

Но Эмма вернулась, а служанка привела Берту, — девочка дергала веревку, к которой была вверх ногами привязана игрушечная ветряная мельница.

Леон несколько раз поцеловал Берту в шейку.

— Прощай, милое дитя! Прощай, дорогая крошка, прощай! И отдал ее матери.

— Уведите ее, — сказала Эмма. Они остались одни.

Госпожа Бовари повернулась к Леону спиной и прижалась лицом к оконному стеклу; Леон тихонько похлопывал фуражкой по ноге.

— Будет дождь, — молвила Эмма.

— У меня плащ, — сказал Леон.

— А!

Она снова повернулась к нему; голова у нее была опущена, свет скользил по ее лбу, как по мрамору, до самых надбровных дуг, и никто бы не мог сейчас догадаться, что*в*ысматривает она на горизонте, что*т*ворится у нее в душе.

— Ну, прощайте! — вздохнул Леон.

Она резким движением подняла голову:

— Да, прощайте... Пора!

Они двинулись друг к другу; он протянул руку, она заколебалась.

— Давайте по-английски, — сказала она и, силясь улыбнуться, подняла руку.

Пальцы Леона коснулись ее, и в эту минуту у него было такое чувство, точно все его существо проникает сквозь ее влажную кожу.

Потом он разжал ладонь; их взгляды встретились снова, и он удалился.

Дойдя до крытого рынка, он спрятался за столб,

чтобы в последний раз поглядеть на белый дом с четырьмя зелеными жалюзи. Ему показалось, что за окном, в комнате, мелькнула тень. Но тут вдруг занавеска как бы сама отцепилась и, медленно шевельнув своими длинными косыми складками, отчего они сразу разгладились, распрямилась и осталась неподвижной, точно каменная стена. Леон бросился бежать.

Он издали увидел на дороге кабриолет патрона; какой-то человек в холщовом фартуке держал лошадь под уздцы. Г-н Гильомен разговаривал с Оме. Леона ждали.

— Давайте обнимемся, — со слезами на глазах сказал аптекарь. — Вот ваше пальто, дорогой друг. Смотрите не простудитесь! Следите за собой! Берегите себя!

— Ну, Леон, садитесь! — сказал нотариус.

Оме перегнулся через крыло экипажа и сдавленным от рыдании голосом проронил печальные слова:

— Счастливый путь!

— Будьте здоровы! — сказал г-н Гильомен. — Пошел! Они уехали. Оме повернул обратно.

* * *

Госпожа Бовари открыла окно в сад и стала смотреть на тучи.

Скопляясь на западе, в стороне Руана, они быстро развертывали свои черные свитки, длинные лучи солнца пронзали их, точно золотые стрелы висящего трофея, а чистая часть неба отливала фарфоровой белизной. Внезапно налетевший ветер пригнул тополя, и полил дождь; капли его зашуршали по зеленой листве. Потом опять выглянуло солнце, запели петухи, захлопали крылышками в мокрых кустах воробьи, по песку побежали ручейки, унося с собой розовые лепестки акации.

«Он уж теперь, наверно, далёко!» — подумала Эмма.

В половине седьмого, во время обеда, пришел, как всегда, г-н Оме.

— Что ж, проводили мы нашего юношу? — заговорил он, присаживаясь.

— Как будто бы так! — отозвался лекарь и, обернувшись к г-ну Оме, спросил: — А у вас что новенького?

— Ничего особенного. Вот только жена моя сегодня расстроилась. Ох, уж эти женщины: любой

пустяк может их взволновать. А про мою жену и говорить нечего! Тут уж ничего не поделаешь — нервная система у женщин гораздо чувствительнее нашей.

— Бедный Леон! — заговорил Шарль. — Каково-то ему будет в Париже?.. Приживется ли он там?

Госпожа Бовари вздохнула.

— Полноте! — сказал фармацевт и прищелкнул языком. — Пирушки у рестораторов! Маскарады! Шампанское! Все пойдет как по маслу, можете мне поверить!

— Я не думаю, что он собьется с пути, — возразил Шарль.

— Я тоже! — живо отозвался г-н Оме. — Но ему нельзя будет отставать от других, иначе он прослывет ханжой. А вы не представляете себе, что вытворяют эти повесы в Латинском квартале со своими актрисами! Впрочем, к студентам в Париже относятся превосходно. Те из них, кто умеет хоть чем-нибудь развлечь общество, приняты в лучших домах. В них даже влюбляются дамы из Сен-Жерменского предместья, и они потом очень удачно женятся.

— Но я боюсь... — сказал лекарь, — боюсь, что там...

— Вы правы, — перебил его фармацевт, — это

оборотная сторона медали. Там надо ох как беречь карманы! Вот вы, предположим, гуляете в увеселительном саду. Появляется некто, хорошо одетый, даже с орденом, по виду — дипломат, подходит к вам, заговаривает, подлаживается, предлагает свою табакерку, поднимает вам шляпу. Вы уже подружились, он ведет вас в кафе, приглашает к себе в имение, за стаканом вина знакомит с разными людьми, и в семидесяти пяти случаях из ста все это только для того, чтобы стянуть у вас кошелек или вовлечь в какое-нибудь разорительное предприятие.

— Это верно, — согласился Шарль. — Но я-то имел в виду главным образом болезни — брюшной тиф, например, — им часто болеют студенты, приехавшие из провинции.

Эмма вздрогнула.

— Вследствие перемены режима, — подхватил фармацевт, — и вследствие потрясения, которое из-за этого переживает весь организм. А потом, знаете ли, парижская вода! Ресторанный стол! Вся эта острая пища в конце концов только горячит кровь. Что ни говорите, а хороший бульон куда полезнее! Я лично всегда предпочитал домашнюю кухню — это здоровее! Поэтому, когда я изучал в Гуане фармацевтику, я был на полном

пансионе, я столовался вместе с профессорами.

Аптекарь продолжал высказывать суждения общего характера и толковать о своих личных вкусах, пока за ним не пришел Жюстен и не сказал, что пора делать гоголь-моголь.

— Ни минуты покоя! — воскликнул аптекарь. — Вечно на привязи! На один миг нельзя отлучиться! Трудись до кровавого пота, как рабочая лошадь! Хомут нищеты!

Уже на пороге фармацевт спросил:

— Да, знаете новость?

— Какую?

— Весьма возможно, — поднимая брови и придавая своему лицу многозначительное выражение, сказал Оме, — что в этом году сельскохозяйственная выставка Нижней-Сены будет в Ионвиль-д'Аббей. Такие, по крайней мере, ходят слухи. На это намекает и сегодняшняя газета. Для нашего округа это будет иметь огромное значение! Мы еще об этом поговорим. Благодарю вас, мне хорошо видно — у Жюстена фонарь.

VII

Следующий день был для Эммы тягостным днем. Ей казалось, будто все вокруг нее повито какой-то черной мглой, чуть заметно колышущейся на поверхности предметов, и, жалобно воя, точно зимний ветер в пустом замке, все глубже оседала в ее душе тоска. То были думы о невозвратном, усталость, охватывающая человека после какого-нибудь сделанного дела, и, наконец, боль, которую испытываешь, чуть только прекратится уже ставший привычным душевный подъем, едва лишь внезапно ослабнет длительное душевное напряжение.

Как и по возвращении из Вобьесара, когда в голове у нее кружился вихрь кадрилей, она впала в черную меланхолию, в мрачное отчаяние. Леон представлялся ей стройнее, красивее, обаятельнее, загадочнее, чем когда бы то ни было. Разлучившись с нею, он ее не покинул, он был здесь, — стены дома, казалось, сторожили его тень. Она не могла отвести глаза от ковра, по которому он ступал, от стульев, на которых он сидел. Река струилась по-прежнему, неторопливо пронося свою легкую зыбь мимо скользкого бере-

га. Они часто гуляли здесь вдвоем по замшелым камням, под неумолкающий плеск волн. Как ярко светило им солнце! Как любили они укрыться от полдневного зноя в тенистом уголке сада! Он сидел с непокрытой головой на скамейке с ветхими столбиками и читал вслух. Свежий луговой ветер шевелил страницы книги и настурции возле беседки... И вот он уехал, единственная радость ее жизни, единственная надежда на счастье! Как могла она упустить это блаженство, когда оно само шло ей навстречу? Почему она не упала на колени и не ухватилась за него обеими руками, когда оно собиралось улететь? Она проклинала себя за то, что не полюбила тогда Леона, — теперь она жаждала его поцелуев. Ей хотелось бежать за ним, упасть в его объятия, сказать ему: «Это я, я — твоя!» Но ее заранее отпугивали препятствия, и чувство горечи, примешиваясь к желаниям, лишь усиливало их.

С той поры память о Леоне стала как бы средоточием ее тоски. Она горела в ее душе ярче, нежели костер, разведенный на снегу путешественниками в русской степи. Эмма бросалась к огню, грелась около него, осторожно помешивала в этом догоравшем очаге, всюду искала, что бы еще в него подбросить. Самые далекие

воспоминания и совсем недавние происшествия, то, что она испытала, и то, что она воображала, разлетевшиеся сладострастные мечты, думы о счастье, ломавшиеся на ветру, как сухие ветки, ее никому не нужная нравственность, ее неутоленные чаяния, домашние дрязги — все это она подбирала, все это она ловила, все это годилось, чтобы разжечь ее кручину.

И все же пламя погасло, — быть может, оттого, что не хватило топлива, а быть может, наоборот, оттого, что Эмма слишком много сразу его положила. Разлука мало-помалу притушила любовь, привычка приглушила тоску, зарево пожара, заливавшее багрянцем пасмурное небо Эммы, с каждым днем все бледнело, а потом и совсем померкло. Усыпленное сознание Эммы принимало отвращение к мужу за влечение к любимому человеку, ожоги злобы — за вспышки нежности. Но буря не утихала, а страсть сгорела дотла, помощь ниоткуда не приходила, луч солнца ниоткуда не пробивался, со всех сторон ее обступала темная ночь, и она вся закоченела от дикого, до костей пробирающего холода.

Мрачная полоса жизни в Тосте повторялась для нее сызнова. Но только теперь она считала себя еще несчастнее, ибо уже познала горе и проник-

лась уверенностью, что оно неизбывно.

Женщина, принесшая такие огромные жертвы, может позволить себе некоторые прихоти. Эмма купила готическую скамеечку, за один месяц истратила четырнадцать франков на лимоны для полировки ногтей, выписала из Руана голубое кашемировое платье, выбрала у Лере самый красивый шарф, стала подпоясывать им капот и в этом наряде при закрытых ставнях лежала с книгой в руках на диване.

Теперь она часто меняла прическу: то причесывалась по-китайски, то распускала волнистые локоны, то заплетала косы; потом сделала себе сбоку пробор, сзади подвернула волосы, и у нее вышло подобие мужской прически.

Ей захотелось выучиться итальянскому языку: она обзавелась словарями, купила грамматику, купила бумаги. Попробовала читать серьезные книги по истории и философии. Шарль иногда просыпался ночью и вскакивал — ему казалось, что его зовут к больному.

— Сейчас приду, — бормотал он.

Но это Эмма, зажигая лампу, чиркала спичкой. Между тем с книгами повторилась та же история, что с вышиваньем: весь шкаф у нее был завален неоконченными работами, и точно так же Эмма

брала одну книгу, бросала и принималась за другую.

Временами Эмму охватывало лихорадочное возбуждение, и тогда ее легко можно было подбить на любую дикую выходку: как-то раз она поспорила с мужем, что выпьет залпом полстакана водки, и так как Шарль имел глупость раззадорить ее, то она и выпила все до дна.

Несмотря на свои чудачества, как выражались ионвильские дамы, Эмма все же не производила впечатления жизнерадостной женщины, углы ее рта были вечно опущены, как у старой девы или у незадачливого честолюбца. Она всегда была бледна, бела как полотно, морщила нос, смотрела на всех невидящим взглядом. Обнаружив у себя на висках три седых волоса, она заговорила о том, что начинает стареть.

Она заметно слабела. Как-то раз у нее даже открылось кровохарканье. Шарль встревожился, забегал.

— А, да не все ли равно! — сказала она.

Шарль забился в свой кабинет, сел в кресло и, облокотившись на письменный стол, на котором возвышалась френологическая голова, заплакал.

Он выписал мать, и они вели долгие разговоры об Эмме.

Как быть? Что с ней делать, раз она отказывается от всякого лечения?

— Знаешь, как бы надо поступить с такой женой? — твердила г-жа Бовари-мать. — Приучить ее заниматься делом, ручным трудом! Пришлось бы ей, как другим, работать ради куска хлеба, так небось сразу бы поздоровела, — это у нее все оттого, что голова не тем забита, да от безделья.

— Она все-таки занимается, — возражал Шарль.

— Занимается! А чем? Романы читает, вредные книги, в которых против религии пишут, да, подражая Вольтеру, высмеивают духовенство. Проку от этого не жди, бедный мой мальчик! Кто не верит в Бога, тот добром не кончит.

Словом, было решено не давать Эмме читать романы. Задача была не из легких. Тем не менее г-жа Бовари-мать взяла это на себя: она обещала проездом через Руан зайти к библиотекарю и сказать, что Эмма отказывается от абонемента. Если же библиотекарь, этот змей-искуситель, станет упорствовать, то ведь недолго и в полицию заявить.

Свекровь и невестка простились холодно. Если не считать обычных вопросов во время еды и пожеланий спокойной ночи, то за три недели, что

они прожили вместе, они и двух слов не сказали друг другу.

Госпожа Бовари-мать уехала в среду — в Ионвиле это был базарный день.

С утра на площади вдоль домов, от церкви и до трактира, выстроился ряд телег, поставленных на задок, вверх оглоблями. На противоположной стороне в брезентовых палатках торговали бумажными тканями, одеялами, шерстяными чулками, недоуздками, синими лентами в связках, и концы этих лент плескались на ветру. Между пирамидами яиц и плетушками с сыром, из которых торчала склеившаяся солома, прямо на землю был свален грузный скобяной товар; рядом с сельскохозяйственными орудиями, высовывая головы между прутьями низких клеток, кудахтали куры. Толпа сгрудилась на одном месте и по временам так напирала, что витрина аптеки грозила треснуть. По средам здесь всегда была толкотня — люди протискивались в аптеку не столько за лекарствами, сколько для того, чтобы посоветоваться с Оме, — так он был популярен в окрестных селениях. Его несокрушимая самоуверенность пленяла сельчан. Лучшего лекаря, чем он, они не могли себе представить.

Эмма сидела, облокотившись на подоконник

(это было ее излюбленное место — в провинции окно заменяет театр и прогулки) , и от скуки смотрела на толпившееся мужичье, как вдруг внимание ее остановил господин в зеленом бархатном сюртуке. На нем были щегольские желтые перчатки и вместе с тем грубые краги. Направлялся он к докторскому дому, а за ним, понурив голову, задумчиво брел крестьянин.

— Барин дома? — спросил незнакомец Жюстена, который болтал на пороге с Фелисите.

Все еще принимая Жюстена за слугу доктора, он добавил:

— Скажите, что его спрашивает господни Родольф Буланже де Ла Юшет.

Новоприбывший присоединил к своему имени название географического пункта не из местного патриотизма, а для того, чтобы сразу дать понять, кто он такой. Под Ионвилем действительно было поместье Ла Юшет, и он его купил вместе с барской усадьбой и двумя фермами; управлял он имением сам, но жил на довольно широкую ногу. Говорили, что у этого холостяка «по меньшей мере пятнадцать тысяч ренты».

Шарль вошел в залу. Г-н Буланже сказал, что вот этот его работник желает, чтобы ему отворили кровь, а то-де у него «мурашки по всему телу

бегают».

— Мне от этого полегчает, — на все доводы отвечал работник.

Бовари велел принести бинт и попросил Жюстена подержать таз. Видя, что малый побледнел, — он его подбодрил:

— Не бойся, милейший, не бойся!

— Ничего, ничего, — ответил тот, — действуйте!

И, расхрабрившись, протянул свою ручищу. Из-под ланцета выбилась струя крови и забрызгала оконное стекло.

— Ближе таз! — крикнул Шарль.

— Вот на! — сказал крестьянин. — Прямо целый фонтан! А кровь-то какая красная! Ведь это хорошо?

— Некоторые сперва ничего не чувствуют, а потом вдруг теряют сознание, — заметил лекарь. — Особенно часто это бывает с людьми крепкого телосложения, как вот он.

При этих словах сельчанин выронил футляр от ланцета, который он все время вертел в руке. У него так свело плечи, что затрещала спинка стула. Шапка упала на пол.

— Так я и знал, — зажимая пальцем вену, сказал Бовари.

В руках у Жюстена заплясал таз, колени у него подгибались, он побледнел.

— Жена! Жена! — позвал Шарль. Эмма сбежала с лестницы.

— Уксусу! — крикнул он. — Ах, боже мой, сразу двое! От волнения Шарль с трудом наложил повязку.

— Пустяки! — подхватив Жюстена, совершенно спокойно сказал г-н Буланже.

Он усадил его на стол и прислонил спиной к стене.

Госпожа Бовари стала снимать с Жюстена галстук. Шнурки его рубашки были завязаны на шее узлом. Тонкие пальцы Эммы долго распутывали его. Потом, смочив свой батистовый платок уксусом, она начала осторожно тереть ему виски и тихонько дуть на них.

Конюх очнулся, а Жюстен все никак не мог прийти в себя, зрачки его, тонувшие в мутных белках, напоминали голубые цветы в молоке.

— Это надо убрать от него подальше, — сказал Шарль. Госпожа Бовари взяла таз. Чтобы задвинуть его под стол, она присела, и ее платье, летнее желтое платье (длинный лиф и широкая юбка с четырьмя воланами), прикрыло плиты пола. Нагнувшись и расставив локти, она слегка по-

качивалась, и при колебаниях ее стана колокол платья местами опадал. Потом она взяла графин с водой и бросила туда несколько кусков сахара, но в это время подоспел фармацевт. Пока все тут суетились, служанка за ним сбегала. Увидев, что глаза у племянника открыты, он облегченно вздохнул. Потом обошел его со всех сторон и смерил взглядом.

— Дурак! — говорил он. — Право, дурачина! Набитый дурак! Велика важность — флеботомия! А ведь такой храбрец! Вы не поверите, это сущая белка, за орехами лазает на головокружительную высоту. Ну-ка, похвастайся! А как же твои благие намерения? Ты ведь хочешь быть фармацевтом. Тебя могут вызвать в суд, дабы ты пролил свет на какое-нибудь чрезвычайно запутанное дело, и тебе надо будет сохранять спокойствие, рассуждать, вести себя, как подобает мужчине, а иначе тебя примут за идиота!

Ученик в ответ не произнес ни слова.

— Кто тебя сюда звал? — продолжал аптекарь. — Вечно надоедаешь доктору и его супруге! Как раз по средам мне твоя помощь особенно необходима. Сейчас в аптеке человек двадцать. А я вот пожалел тебя и все бросил. Ну иди! Живо! Жди меня и поглядывай за склянками!

Жюстен, приведя себя в порядок, удалился, и тут речь зашла о дурноте. Г-жа Бовари никогда ею не страдала.

— Для женщины это редкость! — заметил г-н Буланже. — А ведь есть на свете очень слабые люди. При мне на поединке секундант потерял сознание, как только стали заряжать пистолеты.

— А меня вид чужой крови ничуть не пугает, — заговорил аптекарь. — Но если я только представлю себе, что кровь течет у меня самого, и буду развивать эту мысль, вот тогда мне ничего не стоит лишиться чувств.

Между тем г-н Буланже отпустил своего работника и велел ему успокоиться, коль скоро прихоть его удовлетворена.

— Впрочем, благодаря этой прихоти я имел удовольствие познакомиться с вами, — добавил он, глядя на Эмму.

Затем положил на угол стола три франка, небрежно кивнул головой и вышел.

Немного погодя он был уже за рекой (дорога в Ла Юшет тянулась вдоль того берега). Эмма видела, как он шел по лугу под тополями, порой как бы в раздумье замедляя шаг.

— Очень мила! — говорил он сам с собой. — Очень мила эта докторша! Хорошенькие зубки,

черные глаза, кокетливая ножка, а манеры, как у парижанки. Откуда она, черт побери, взялась? Где ее подцепил этот увалень?

Родольфу Буланже исполнилось тридцать четыре года; у этого грубого по натуре и проницательного человека в прошлом было много романов, и женщин он знал хорошо. Г-жа Бовари ему приглянулась, и теперь он все думал о ней и о ее муже.

«По-моему, он очень глуп... Она, наверно, тяготится им. Ногти у него грязные, он по три дня не бреется. Пока он разъезжает по больным, она штопает ему носки. И как же ей скучно! Хочется жить в городе, каждый вечер танцевать польку! Бедная девочка! Она задыхается без любви, как рыба без воды на кухонном столе. Два-три комплимента, и она будет вас обожать, ручаюсь! Она будет с вами нежна! Обворожительна!.. Да, а как потом от нее отделаться?»

В предвидении тьмы наслаждений, которые может доставить Эмма, он по контрасту вспомнил о своей любовнице. Он содержал руанскую актрису. И вот, когда ее образ возник перед ним, он при одной мысли о ней почувствовал пресыщение.

«Нет, госпожа Бовари гораздо красивее! — поду-

мал он. — А главное, свежее. Виржини уж очень расплылась. Ее восторженность мне опротивела. А потом, эта ее страсть к креветкам!»

Кругом не было ни души, и Родольф слышал только мерный шорох травы, бившей его по башмакам, да стрекотанье кузнечиков в овсах. Ему представлялась Эмма, какая она была у себя в зале, точь-в-точь так же одетая, и мысленно он раздевал ее.

— Она будет моя! — разбивая палкой сухой ком земли, воскликнул он.

И сейчас же стал думать о том, как за это дело взяться.

«Где мы с ней будем видеться? — задавал он себе вопрос. — Каким образом? Свою девчонку она, верно, с рук не спускает, а тут еще служанка, соседи, муж, — возни не оберешься».

— Только время зря потратишь! — проговорил он вслух. А потом опять начал вспоминать.

«Глаза ее, как два буравчика, впиваются тебе прямо в сердце. А какая она бледная!.. Обожаю бледных женщин!»

На вершине Аргейльского холма решение его созрело.

«Надо ждать удобного случая, вот и все. Что ж, буду к ним заходить, пришлю им дичи, живности.

Попрошу себе даже кровь пустить, если нужен будет предлог. Мы подружимся, я приглашу их к себе...»

— Дьявольщина! — воскликнул он. — Ведь скоро выставка. Я ее там и увижу. С этого мы начнем. Главное, не робеть — и успех обеспечен.

VIII

Наконец пресловутая выставка открылась! Утром жители, стоя у своих домов, толковали о приготовлениях к торжеству. Фронтон мэрии был увит гирляндами плюща. На лугу раскинули для званого пира шатер, а посреди площади, перед церковью поставили нечто вроде бомбарды для салютов при въезде в город г-на префекта и при оглашении имен земледельцев-лауреатов. Из Бюши прибыл отряд национальной гвардии (своей гвардии в Ионвиле не было) и присоединился к пожарной дружине под командой Бине. Ради празднества Бине надел какой-то особенно высокий воротничок. Корпус его, затянутый в мундир, был прям и неподвижен; казалось, будто вся жизненная сила, заключавшаяся в его теле, притекла к ногам, шагавшим мерно, отчетисто, не сгибаясь. Податной инспектор и гвардейский полковник вечно друг с другом соперничали, и поэтому сейчас, желая показать товар лицом, они, каждый со вверенным ему отрядом, проводили строевые занятия. По площади проходили то красные погоны, то черные нагрудники. Конца этому не было, все опять начиналось сначала!

Ионвиль никогда не видел такого церемониального марша! Кое-кто из горожан еще накануне вымыл стены своих домов; из приоткрытых окон свисали трехцветные флаги; во всех кабачках было полно народу. День выдался ясный, и накрахмаленные чепчики казались белее снега, золотые крестики блестели на солнце, а на однообразном темном фоне сюртуков и синих блуз там и сям пестрели разноцветные косынки. Вылезая из повозок, фермерши откалывали огромные булавки, которыми они скрепляли платья вокруг талии, чтобы их не забрызгало грязью. Мужья берегли свои шляпы и дорогой накрывали их носовыми платками, уголки которых они держали в зубах.

Народ прибывал на главную улицу с обоих концов города. Он вливался в нее из переулков, из проездов, из домов; то и дело раздавался стук дверного молотка за какой-нибудь горожанкой в нитяных перчатках, вышедшей поглядеть на праздник. Особое внимание привлекали установленные по бокам эстрады, где должно было находиться начальство, два высоких треугольных станка с иллюминационными шкаликами. А напротив четырех колонн мэрии торчали четыре шеста, к которым были прикреплены

светло-зеленые полотняные флажки с золотыми надписями. На одном флажке надпись гласила — «Торговля», на другом —«Земледелие», на третьем — «Промышленность», на четвертом — «Изящные искусства».

Но от этого ликования, светившегося на всех лицах, явно мрачнела трактирщица, г-жа Лефрансуа. Стоя на кухонном крыльце, она бурчала себе под нос:

— Экая дурацкая затея, экая дурацкая затея — этот их брезентовый балаган! Что ж им префект — ярмарочный петрушка? Неужто ему приятно будет обедать в балагане? Толкуют о пользе края, а сами невесть что творят! Тогда незачем было вызывать невшательского кухаря! Для кого? Для пастухов? Для голодранцев?..

Мимо проходил аптекарь. На нем был черный фрак, нанковые панталоны, башмаки с касторовым верхом и — ради такого торжественного случая — шляпа, шляпа с низкой тульей.

— Мое почтение! — сказал он. — Извините, я тороплюсь.

Пышнотелая вдова спросила, куда он идет.

— А вы что, удивлены? Я и впрямь сижу у себя в лаборатории, точно крыса в сыре.

— В каком сыре? — спросила трактирщица.

— Да нет, да нет! — поспешил ее разуверить Оме. — Я хотел сказать, госпожа Лефрансуа, что я — домосед. Однако нынче уж такой день, приходится...

— А, вы идете туда? — с презрительным видом спросила трактирщица.

— Конечно, — в недоумении проговорил аптекарь. — Разве вы не знаете, что я член консультативной комиссии?

Тетушка Лефрансуа посмотрела на него и усмехнулась.

— Тогда другое дело! — сказала она. — Но только какое отношение вы имеете к земледелию? Что вы в нем смыслите?

— Еще как смыслю! Ведь я же фармацевт, следовательно — химик, а так как химия, госпожа Лефрансуа, изучает молекулярное взаимодействие всех физических тел, то, само собою разумеется, к ее области относится и сельское хозяйство! В самом деле, состав удобрений, ферментация жидкостей, анализ газов и влияние миазмов — что же это такое, позвольте вас спросить, как не самая настоящая химия?

Трактирщица ничего ему на это не ответила. Оме продолжал:

— Вы думаете, агроном — это тот, кто сам па-

шет землю и откармливает живность? Нет, этого недостаточно, — агроному прежде всего должны быть известны состав веществ, с которыми ему приходится иметь дело, геологические сдвиги, атмосферические явления, свойства почвы, свойства минералов, качество воды, удельный вес различных тел, их капиллярность, да мало ли еще что! Дабы руководить другими, он должен основательно изучить основы гигиены, должен что-то понимать в строительном деле, в уходе за животными, в питании рабочей силы! И это еще не все, госпожа Лефрансуа: он должен, знаете ли, изучить ботанику, уметь определять растения, отличать целебные от ядовитых, непитательные от кормовых, должен сообразить, что такие-то травы нужно сеять не здесь, а там, размножать одни, уничтожать другие. Словом, чтобы вводить улучшения, он должен читать брошюры, журналы, следить за всеми открытиями, знать последнее слово науки...

Трактирщица не спускала глаз с дверей кафе «Франция», а фармацевт все рассуждал:

— Дай бог, чтобы наши земледельцы сделались химиками! По крайней мере, пусть они почаще прислушиваются к советам ученых! Вот я, например, недавно окончил капитальный труд,

научную работу на семидесяти двух с половиной страницах под заглавием: «Сидр, его производство и его действие в свете некоторых новых фактов». Я послал ее в Руанское агрономическое общество и удостоился чести быть принятым в его члены по секции земледелия, по разряду помологии. И вот, если бы мой труд опубликовать...

Между тем лицо г-жи Лефрансуа приняло столь озабоченное выражение, что аптекарь невольно смолк.

— Гляньте-ка! — сказала она. — Ничего не понимаю! В эта-кой-то харчевне!

И, пожав плечами так, что петли вязаной кофты растянулись у нее на груди, она обеими руками показала на трактир своего соперника, откуда сейчас доносилось пение.

— Ну да это ненадолго, — прибавила она, — через неделю конец всему.

Оме попятился от изумления. Г-жа Лефрансуа сошла с крыльца и зашептала ему на ухо:

— Как? Разве вы не знаете? Его на днях опишут. Это Лере пустил его по миру. Допек векселями.

— Какая страшная катастрофа! — воскликнул аптекарь, у которого для любого случая были припасены готовые фразы.

Тут хозяйка начала рассказывать ему историю,

которую она знала от работника г-на Гильомена, Теодора. Ненависть к Телье не мешала ей порицать Лере. Подлипала, палец в рот не клади!

— Э, да он вон он, под навесом! — сказала она. — Кланяется госпоже Бовари. А на ней зеленая шляпка, и она идет под руку с господином Буланже.

— Госпожа Бовари! — воскликнул Оме. — Сейчас я ее догоню, предложу ей место за оградой, у самых колонн, — может быть, там ей будет удобнее.

Тетушка Лефрансуа тщетно пыталась его остановить, чтобы досказать ему про Телье, — сложив губы в улыбку, раскланиваясь направо и налево и задевая встречных развевающимися фалдами черного фрака, фармацевт бодро понесся вперед.

Завидев его издали, Родольф прибавил шагу, но г-жа Бовари запыхалась; тогда он пошел медленнее и, улыбаясь, грубовато сказал:

— Я хотел убежать от этого толстяка, от небезызвестного вам аптекаря.

Она толкнула его локтем.

«Что бы это значило?» — спросил он себя и на ходу искоса взглянул на нее.

По ее спокойному профилю ничего нельзя было понять. Он отчетливо вырисовывался на свету,

в овале шляпки с бледно-желтыми завязками, похожими на сухие стебли камыша. Ее глаза с длинными загнутыми ресницами смотрели прямо перед собой, и хотя они были широко раскрыты, все же казалось, будто она их слегка прищуривает, оттого что к нежной коже щек приливала и чуть заметно билась под нею кровь. Носовая перегородка отсвечивала розовым. Голову Эмма склонила набок, между губами был виден перламутровый край белых зубов.

«Может быть, она просто дразнит меня?» — подумал Родольф.

Между тем она своим жестом хотела только предостеречь его — дело в том, что сзади шел г-н Лере.

— Какая чудесная погода! — попытался он с ними заговорить. — Весь город высыпал на улицы! Ни один листок не шелохнется!

Госпожа Бовари и Родольф ему не отвечали, но стоило им сделать едва уловимое движение, как он нагонял их и, поднося руку к шляпе, спрашивал: «Чем могу служить?»

Поравнявшись с кузницей, Родольф, вместо того чтобы идти прямо по дороге до самой заставы, круто повернул на тропинку, увлекая за собою г-жу Бовари.

— Будьте здоровы, господин Лере! — сказал он. — Всего наилучшего!

— Ловко же вы от пего отделались! — смеясь, сказала Эмма.

— А для чего нам посторонние? — сказал он. — Раз уж мне сегодня выпало на долю счастье быть с вами...

Эмма покраснела. Не закончив своей мысли, Родольф заговорил о том, какая сегодня хорошая погода и как приятно идти по траве. Ромашки уже цвели.

— Прелестные цветочки! — сказал он. — Их тут так много, что всем здешним влюбленным хватит на гаданье. Не нарвать ли? Как вы думаете? — спросил он.

— А вы разве влюблены? — слегка покашливая, спросила Эмма.

— Гм! Гм! Как знать! — ответил Родольф.

На лугу становилось людно, хозяйки задевали встречных своими большими зонтами, корзинками, малышами. То и дело приходилось сторониться и пропускать длинную шеренгу батрачек с серебряными колечками на пальцах, в синих чулках, в туфлях без каблуков; на близком расстоянии от них пахло молоком. Держась за руки, они прошли всю луговину — от шпалеры

осин до пиршественного шатра. Скоро должен был начаться осмотр выставки, и земледельцы один за другим входили в круг, огороженный кольями, между которыми была натянута длинная веревка, и напоминавший ипподром.

На кругу, мордами к бечеве, вычерчивая ломаную линию своими неодинаковыми спинами, стоял скот. Уткнув рыла в землю, дремали свиньи, мычали телята, блеяли овцы, коровы с поджатыми ногами лежали брюхом на траве и, мигая тяжелыми веками, медленно пережевывали жвачку, а над ними вился жужжащий рой мух. Жеребцы взвивались на дыбы и, косясь на кобыл, заливисто ржали; конюхи, засучив рукава, держали их под уздцы. Кобылы стояли смирно, вытянув гривастые шеи, а жеребята то лежали в тени, которая падала от маток, то подходили пососать. А над длинной волнистой линией всех этих сгрудившихся тел то здесь, то там вспененным валом вздымалась развевавшаяся на ветру белая грива, выступали острые рога или головы бегущих людей. Поодаль, шагах в ста от барьера, не шевелясь, точно отлитый из бронзы, стоял огромный черный бык в намордник, с железным кольцом в ноздре. Мальчик в обносках держал его за веревку.

Между двумя рядами экспонатов тяжелым шагом шли какие-то господа, осматривали каждое животное, потом тихо совещались. Один из них, по-видимому — самый главный, на ходу что-то заносил в книжку. Это был председатель жюри, г-н Дерозере из Панвиля. Увидев Родольфа, он бросился к нему и с любезной улыбкой спросил:

— Что же вы нас покинули, господин Буланже? Родольф ответил, что сейчас придет. Но как только председатель скрылся из виду, он сказал Эмме:

— Нет уж, я останусь с вами! Ваше общество куда приятнее!

Продолжая посмеиваться над выставкой, Родольф для большей свободы передвижения показал полицейскому синий пригласительный билет. Время от времени он даже останавливался перед примечательными «экземплярами», но г-жа Бовари не проявляла к ним ни малейшего интереса. Заметив это, он проехался насчет туалетов ионвильских дам, потом извинился за небрежность своей одежды. Его туалет представлял собою то сочетание банальности и изысканности, в котором мещане обыкновенно видят признак непостоянной натуры, душевного разлада, непреодолимого желания порисоваться,

во всяком случае, признак несколько пренебрежительного отношения к правилам приличия, и это пленяет обывателей или, наоборот, возмущает. Так, у Родольфа в вырезе серого тикового жилета надувалась от ветра батистовая рубашка с гофрированными рукавами, панталоны в широкую полоску доходили до лодыжек, а под ними виднелись лаковые ботинки с нанковым верхом. Отлакированы они были до зеркального блеска, и в них отражалась трава. Держа руку в кармане пиджака, сдвинув набок соломенную шляпу, Родольф расшвыривал носками ботинок конский навоз.

— Впрочем, — прибавил он, — в деревне...

— И так сойдет, — сказала Эмма.

— Вот именно, — подхватил Родольф. — Разве кто-нибудь из местных уважаемых граждан способен оценить хотя бы покрой фрака?

И тут они заговорили о провинциальной пошлости, о том, как она засасывает, как она разрушает все иллюзии.

— Вот и я начинаю впадать в уныние... — сказал Родольф.

— Вы? — с удивлением спросила Эмма. — А я думала, вы такой веселый!

— Да, с виду, потому что на людях я умею но-

сить маску шутника. А между тем сколько раз, глядя на озаренное луною кладбище, я спрашивал себя, не лучше ли соединиться с теми, кто спит вечным сном...

— А ваши друзья? — спросила Эмма. — О них вы не подумали?

— Друзья? Какие друзья? Где они? Кому я нужен? При этом он издал легкий свист.

Но тут им пришлось расступиться и дать дорогу громоздкому сооружению из стульев, которое кто-то нес сзади них. Из-за этого многоярусного сооружения выглядывали только носки башмаков да пальцы широко расставленных рук. Это могильщик Лестибудуа в самой гуще народа тащил церковные стулья. Отличаясь необыкновенной изобретательностью во всем, что касалось его личной выгоды, он живо смекнул, что из выставки тоже можно извлечь доход, и его затея имела огромный успех — могильщика рвали на части. Духота разморила собравшихся, и они расхватывали эти стулья с пропахшими ладаном соломенными сиденьями и почти благоговейно прислонялись к закапанным воском крепким спинкам.

Госпожа Бовари опять взяла Родольфа под руку, а он снова заговорил как бы сам с собой:

— Да, мне недостает многого! Я так одинок! Ах, если б у меня была цель в жизни, если б я полюбил кого-нибудь, кого-нибудь встретил... О, я бы этой привязанности отдал все свои силы, я бы все преодолел, все сокрушил!

— Мне кажется, однако, — заметила Эмма, — что вам совсем не так плохо живется.

— Вы находите? — спросил Родольф.

— В конце концов, — продолжала она, — вы свободны... — Она запнулась. — Богаты.

— Не смейтесь надо мной, — сказал Родольф.

Она поклялась, что говорит серьезно, но тут вдруг выстрелила пушка, и вся толпа ринулась в город.

Это была фальшивая тревога. Г-н префект запаздывал, и члены жюри не знали, что делать: то ли открывать заседание, то ли еще подождать.

Наконец в глубине площади показалось большое наемное ландо, запряженное двумя одрами, которых изо всех сил нахлестывал кучер в белой шляпе. Бине, а за ним полковник только успели скомандовать: «В ружье!» Гвардейцы и пожарные бросились к козлам. Все засуетились. Некоторые забыли даже надеть воротнички. Но выезд префекта как будто бы предвидел, что пойдет кутерьма, — по крайней мере, пара кляч,

беспокойно грызя удила, подъехала к колоннаде мэрии как раз в тот момент, когда гвардейцы и пожарные, под барабанную дробь печатая шаг, развертывались по фронту.

— На месте!.. — скомандовал Бине.

— Стой! — скомандовал полковник. — Равнение налево!

Взяли на караул, лязг колец на стволах винтовок прокатился, точно скачущий по ступенькам лестницы медный котел, и вслед за тем ружья снова опустились.

Из экипажа вышел господин в шитом серебром коротком фраке, лысый, с пучком волос на затылке, с землистым цветом лица, по виду — весьма добродушный. Вглядываясь в толпу, он щурил свои выкаченные глаза под тяжелыми веками, поднимал кверху свой птичий нос, а впалый рот складывал в улыбку. Узнав мэра по перевязи, он сказал ему, что г-н префект приехать не может. Потом сообщил, что он является советником префектуры, и проговорил несколько извинений. Тюваш рассыпался в любезностях — советник сказал, что он его конфузит. Так они и стояли друг против друга, почти касаясь лбами, в плотном окружении членов жюри, муниципального совета, именитых граждан, национальных гвар-

дейцев и толпы. Прижимая к груди маленькую черную треуголку, г-н советник опять начал произносить слова приветствия, а в это время Тюваш, изогнувшись дугой, тоже улыбался, мямлил, подыскивал выражения, изъявлял свою преданность монархии, лепетал что-то о чести, оказанной Ионвилю.

Трактирный слуга Ипполит взял лошадей под уздцы и, припадая на свою кривую ногу, отвел их под навес во двор «Золотого льва», где уже собрались крестьяне поглядеть на коляску. Забил барабан, выстрелила пушка, господа один за другим взошли на эстраду и сели в обитые красным трипом кресла, предоставленные для этой цели г-жою Тюваш.

Все эти господа были похожи друг на друга. Цвет их желтых, дряблых, чуть тронутых загаром лиц напоминал сидр, бакенбарды выбивались у них из высоких тугих воротничков, подпираемых белыми галстуками, которые были завязаны тщательно расправленными бантами. Жилеты у всех были бархатные, шалевые; часы у всех были на ленте с овальной сердоликовой печаткой; все упирались руками в колени и широко раздвигали ноги, на которых не декатированное сукно панталон блестело ярче, нежели на ботфортах кожа.

Позади эстрады, у входа в мэрию, между колонн расположились дамы из общества, а простонародье сидело на стульях или стояло напротив эстрады. Лестибудуа перетащил сюда с луга все стулья, поминутно бегал в церковь за пополнением, и эта его коммерческая деятельность производила такой беспорядок, что пробраться к ступенькам эстрады было почти невозможно.

— По-моему, — сказал г-н Лере аптекарю, проходившему на свое место, — здесь надо бы поставить две венецианские мачты п украсить их какими-нибудь строгими, но в то же время дорогими модными материями — это было бы очень красиво.

— Конечно, — согласился Оме. — Но ничего не поделаешь, — все взял в свои руки мэр. А бедняга Тюваш тонкостью вкуса не отличается, так называемого художественного чутья у него ни на волос нет.

Тем временем Родольф и г-жа Бовари поднялись на второй этаж мэрии, в «зал заседаний»; здесь никого не было, и Родольф нашел, что отсюда им будет очень удобно смотреть на зрелище. Он взял три табурета, стоявших вокруг овального стола, под бюстом монарха, и они сели рядом.

Господа на эстраде взволнованно шептались,

переговаривались. Наконец советник встал. Теперь всем уже было известно, что это г-н Льевен, — его фамилия облетела собравшихся. Разложив свои листки и не отводя от них взгляда, он начал:

— *«Господа!*

Позвольте мне с самого начала (прежде чем перейти к предмету нашего сегодняшнего собрания, и я убежден, что все вы разделяете мои чувства), позвольте мне, говорю я, принести дань восхищения нашей высшей власти, правительству, монарху, господа, королю, нашему обожаемому государю, ибо он неусыпно печется как о благо всего общества, так равно и о благе отдельных лиц, ибо он твердой и вместе с тем мудрой рукою ведет государственную колесницу среди неисчислимых опасностей, коими грозит бурное море, и не забывает ни о мире, ни о войне, ни о промышленности, ни о торговле, ни о земледелии, ни об изящных искусствах».

— Мне бы надо отсесть, — сказал Родольф.

— Зачем? — спросила Эмма.

Но как раз в эту минуту голос советника достиг необычайной силы.

— *«Прошли те времена, господа, — разглагольствовал он, — когда междоусобица обагряла*

кровью наши стогны; когда собственник, негоциант и даже рабочий, мирным сном засыпая ввечеру, невольно вздрагивали при мысли о том, что их может пробудить звон мятежного набата; когда злокозненные учения дерзко подрывали основы...»

— Меня могут увидеть снизу, — пояснил Родольф, — п тогда надо будет целых две недели извиняться, а при моей скверной репутации...

— О, вы клевещете на себя! — сказала Эмма.

— Нет, нет, у меня гнусная репутация, уверяю вас.

— «Но, господа, — продолжал советник, — отвращая умственный взор свой от этих мрачных картин, я перевожу глаза на теперешнее состояние нашего прекрасного отечества, и что же я вижу? Всюду процветают торговля и ремесла; всюду новые пути сообщения, подобно новым кровеносным сосудам в государственном организме, связывают между собой различные его части; наши крупные промышленные центры возобновили свою деятельность; религия, воспрянув, всем простирает свои объятия; в наших гаванях снова тесно от кораблей, доверие возрождается, и наконец-то Франция вздохнула свободно!..»

— Впрочем, — прибавил Родольф, — со своей

точки зрения, свет, пожалуй, прав.

— То есть? — спросила Эмма.

— Ну да! — сказал Родольф. — Разве вы не знаете о существовании мятущихся душ? Они то грезят, то действуют, предаются то самому чистому чувству, то неистовству наслаждений, — им ведомы все прихоти, все безумства.

При этих словах Эмма посмотрела на Родольфа как на путешественника, побывавшего в дальних странах.

— Мы, бедные женщины, лишены и этого развлечения! — заметила Эмма.

— Грустное развлечение, — счастья оно не приносит.

— А счастье есть на земле? — спросила Эмма.

— Да, в один прекрасный день оно приходит, — ответил Родольф.

— *«И вы это поняли, — говорил советник, — вы, земледельцы и батраки, вы, скромные пионеры великого дела цивилизации, вы, поборники нравственности и прогресса! Вы поняли, говорю я, что политические бури, безусловно, более разрушительны, нежели потрясения атмосферы...»*

— В один прекрасный день оно приходит, — повторил Родольф, — приходит внезапно, когда его уже перестаешь ждать. Вдруг открывается

бесконечная даль, и чей-то голос говорит: «Вот оно!» Вы испытываете потребность доверить этому человеку всю свою жизнь, отдать ему все, пожертвовать для него всем! Объяснений не надо — все понятно без слов. Именно таким вы видели его в мечтах. (Он смотрел на Эмму.) Наконец сокровище, которое вы так долго искали, здесь, перед вами, и оно сверкает, блестит! Но вы еще сомневаетесь, вы еще не смеете верить, вы ослеплены, как будто из темноты сразу вышли на свет.

Последнюю фразу Родольф подкрепил пантомимой. Он схватился за голову, точно она у него закружилась, затем уронил руку на руку Эммы. Она ее отдернула. А советник между тем все читал:

— *«Но кого это может удивить, господа? Только слепых, только опутанных (я не боюсь сказать об этом прямо), только опутанных вековыми предрассудками людей, которые до сих пор понятия не имеют о том, каков образ мыслей сельского населения. В самом деле, где мы еще найдем такой патриотизм, такую преданность общему делу, одним словом — такое благоразумие, как не в деревне? Это не поверхностный ум, господа, не мишурный блеск празднословов,*

но ум глубокий, трезвый, прежде всего ставящий перед собой практические цели, тем самым повышая благосостояние отдельных лиц, соблюдая общественную пользу и служа опорой государству, — цели, которые проистекают из законопослушания и верности долгу...»

— Опять! — сказал Родольф. — Все долг и долг — меня тошнит от этого слова. Тьма-тьмущая остолопов во фланелевых жилетах и святош с грелками и четками прожужжали нам все уши: «Долг! Долг!» Черт подери, долг заключается в том, чтобы понимать великое, поклоняться прекрасному, а вовсе не в том, чтобы придерживаться разных постыдных условностей.

— Да, но... да, по... — пыталась вставить Эмма.

— Ну к чему ополчаться на страсти? Ведь это же лучшее, что есть на земле, это источник героизма, восторга, поэзии, музыки, искусства, решительно всего.

— Но надо же хоть немного считаться с мнением света, уважать его мораль, — возразила Эмма.

— В том-то и дело, что есть две морали, — отрезал Родольф. — Есть мелкая, условная, человеческая, — она вечно меняется, она криклива, она копается в грязи, у нас под ногами, как вот это сборище дураков, которое вы видите перед собой.

Но есть другая мораль, вечная — она вокруг нас, как вот эта природа, и она над нами, как голубое небо, откуда нам светит солнце.

Господин Льевен вытер губы платком и продолжал:

— *«Нужно ли доказывать вам, господа, пользу земледелия? Кто же удовлетворяет наши потребности? Кто доставляет нам пропитание? Кто же, как не земледелец? Да, господа, земледелец! Это он, засевая своей трудолюбивой рукой плодородные борозды полей, выращивает зерно, которое, после того как его размельчат и смелют с помощью хитроумных приспособлений, уже в виде муки доставляется в города и тотчас же поступает к булочнику, а тот превращает ее в продукт питания как для богачей, так и для бедняков. Не тот же ли самый земледелец, чтобы одеть нас, выкармливает на пастбищах тучные стада? Во что бы мы одевались, чем бы мы кормились, если бы не земледелец? За примерами ходить недалеко! Все мы часто задумывались над тем, какую важную роль играет в нашей жизни скромное создание, украшение наших птичников, которое одновременно снабжает нас мягкими подушками для нашего ложа, сочным мясом и яйцами для нашего стола. Впрочем, если бы я*

стал перечислять многообразные дары, которые, словно добрая мать, балующая детей своих, расточает нам заботливо возделанная земля, я бы никогда не кончил. Здесь — виноград, а в другом месте — яблоки, а следовательно — сидр, там — рапс, еще дальше — сыр. А лен? Запомните, господа: лен! За последние годы посевная площадь льна значительно увеличилась, вот почему я хочу остановить на нем ваше внимание».

Останавливать внимание слушателей не было никакой необходимости, — все и без того разинули рты, ловили каждое его слово. Сидевший около него Тюваш слушал, вытаращив глаза, Дерозере время от времени слегка жмурился, а поодаль, приставив к уху ладонь, чтобы не пропустить ни единого звука, сидел со своим сыном Наполеоном на руках фармацевт. Прочие члены жюри в знак одобрения медленно покачивали головами. У эстрады, опершись на штыки, отдыхали пожарные. Бине стоял навытяжку и, держа локоть на отлете, делал саблей на караул. Может быть, он и слушал, но видеть ничего не мог, оттого что козырек его каски сползал ему на нос. У его поручика, младшего сына г-на Тюваша, каска была совсем не по мерке; огромная, она болталась у него на голове, и из-под нее торчал

кончик ситцевого платка. Это обстоятельство вызывало у него по-детски кроткую улыбку, его бледное потное личико выражало блаженство, изнеможение и сонную одурь.

Площадь и даже дома на ней были полны народу. Люди смотрели из всех окон, со всех порогов, а Жюстен, захваченный зрелищем, стоял как вкопанный перед аптечной витриной. В толпе никто не разговаривал, и все же г-на Льевена было плохо слышно. Долетали только обрывки фраз, поминутно заглушаемых скрипом стульев. А сзади раздавался то протяжный рев быка, то блеянье ягнят, перекликавшихся с разных концов площади. Дело в том, что пастухи подогнали скотину поближе, и коровы и овцы, слизывая языком приставшие к мордам травинки, время от времени подавали голос.

Родольф придвинулся к Эмме и быстро зашептал:

— Разве этот всеобщий заговор вас не возмущает? Есть ли хоть одно чувство, которое бы он не осудил? Благороднейшие инстинкты, самые чистые отношения подвергаются преследованию, обливаются грязью, и если двум страдающим душам посчастливится в конце концов найти друг друга, то все подстраивается таким образом,

чтобы им нельзя было сойтись. И все же они напрягут усилия, станут бить крылами, станут звать друг друга. Ничего! Рано или поздно, через полгода, через десять лет, но они соединятся, оттого что так велит рок, оттого что они рождены друг для друга.

Сложив руки на коленях и подняв голову, он пристально, в упор смотрел на Эмму. Она различала в его глазах золотые лучики вокруг черных зрачков, ощущала запах помады от его волос. И ее охватывало томление; она вспомнила виконта, с которым танцевала в Вобьесаре, — от его бороды пахло так же: ванилью и лимоном, — и машинально опустила веки; ей казалось, что так легче вдыхать этот запах. Но, выгибая стан, Эмма увидела вдали, на горизонте, старый дилижанс «Ласточку», — он медленно спускался с холма Ле, волоча за собой длинный шлейф пыли. В этой желтой карете так часто возвращался к ней Леон, и по этой самой дороге он уехал от нее навсегда! Вдруг ей почудилось, что напротив, в окне, мелькнуло его лицо; потом все смешалось, нашли облака; ей мнилось теперь, что она все еще кружится при блеске люстр, в объятиях виконта, а что Леон где-то недалеко, что он сейчас придет... и в то же время она чувствовала, что голова

Родольфа совсем близко. Сладостью этого ощущения были пропитаны давнишние ее желания, и, подобно песчинкам, которые крутит вихрь, они роились в тонком дыму благоухания, окутывавшем ее душу. Она широко раздувала ноздри, дыша свежестью увивавшего карнизы плюща. Она сняла перчатки, вытерла руки, затем стала обмахивать лицо платком; глухой гул толпы и монотонный голос советника она улавливала сквозь стук крови в висках. Советник говорил:

— *«Добивайтесь! Не сдавайтесь! Не слушайте ни нашептываний рутинеров, ни скороспелых советов самонадеянных экспериментаторов! Обратите особое внимание на плодородность почвы, на качество удобрений, на улучшение пород лошадей, коров, овец, свиней! Пусть эта выставка будет для вас как бы мирной ареной, пусть победитель, перед тем как уйти с нее, протянет руку побежденному, братски обнимется с ним, и пусть у побежденного вспыхнет при этом надежда, что он добьется больших успехов в дальнейшем! А вы, преданные слуги, скромные работники, вы, чей тяжелый труд до сих пор не привлекал к себе внимания ни одного правительства! Ваши непоказные достоинства будут ныне вознаграждены, и вы можете быть*

уверены, что государство наконец обратило на вас свои взоры, что оно вас ободряет, что оно вам покровительствует, что оно удовлетворит ваши справедливые требования и по мере сил постарается облегчить бремя ваших огромных жертв!»

Господин Льевен сел на место; затем произнес речь г-н Дерозере. Слог ее был, пожалуй, менее цветист, но зато это была более деловая речь; он обнаружил в ней больше специальных познаний, высказал более высокие соображения. Правительство он восхвалял недолго, зато уделил больше внимания религии и сельскому хозяйству. Он указал на связь между ними и на те совместные усилия, которые они с давних пор прилагают во имя цивилизации. Родольф и г-жа Бовари говорили в это время о снах, о предчувствиях, о магнетизме. Оратор, обратив мысленный взор к колыбели человечества, описывал те мрачные времена, когда люди жили в лесах и питались желудями. Потом они сбросили звериные шкуры, оделись в сукно, вспахали землю, насадили виноград. Пошло ли это на пользу, чего больше принесло с собой это открытие: бед или благ? Такой вопрос поставил перед собой г-н председатель. А Родольф от магнетизма постепенно перешел к сродству душ, и пока г-н

Дерозере толковал о Цинциннате за плугом, о Диоклетиане, сажающем капусту, и о китайских императорах, встречающих новый год торжественным посевом, Родольф доказывал Эмме, что всякое неодолимое влечение уходит корнями в прошлое.

— Взять хотя бы нас с вами, — говорил он, — почему мы познакомились? Какая случайность свела нас? Разумеется, наши личные склонности толкали нас друг к другу, преодолевая пространство, — так в конце концов сливаются две реки.

Он взял ее руку; она не отняла.

— *«За разведение ценных культур...» — выкрикнул председатель.*

— Вот, например, когда я к вам заходил...

— *«...господину Визе из Кенкампуа...»*

— ...думал ли я, что сегодня буду с вами?

— *«...семьдесят франков!»*

— Несколько раз я порывался уйти и все-таки пошел за вами, остался.

— *«За удобрение навозом...»*

— И теперь уже останусь и на вечер, и на завтра, и на остальное время, на всю жизнь!

— *«...господину Карону из Аргейля — золотая медаль!*

— Я впервые сталкиваюсь с таким неотрази-

мым очарованием...

— *«Господину Бену из Живри-Сен-Мартен...»*

— ...и память о вас я сохраню навеки.

— *«...за барана-мериноса...»*

— А вы меня забудете, я пройду мимо вас, словно тень.

— *«Господину Бело из Нотр-Дам...»*

— Но нет, что-то от меня должно же остаться в ваших помыслах, в вашей жизни?

— *«За породу свиней приз делится ex aequo*[4] *между господами Леэрисе и Кюлембуром: шестьдесят франков!»*

Родольф сжимал ее горячую дрожащую руку, и ему казалось, будто он держит голубку, которой хочется выпорхнуть. И вдруг то ли Эмма попыталась высвободить руку, то ли это был ответ на его пожатие, но она шевельнула пальцами.

— Благодарю вас! — воскликнул Родольф. — Вы меня не отталкиваете! Вы — добрая! Вы поняли, что я — ваш! Позвольте мне смотреть на вас, любоваться вами!

В раскрытые окна подул ветер, и сукно на столе собралось складками, а внизу, на площади, у всех крестьянок поднялись и крылышками белых

---

[4] Примечания: 4
Поровну (лат.).

мотыльков затрепетали оборки высоких чепцов.

— *«За применение жмыхов маслянистых семян...» — продолжал председатель.*

И зачастил:

— *«За применение фламандских удобрений... за разведение льна... за осушение почвы при долгосрочной аренде... за услуги по хозяйству...»*

Родольф примолк. Оба смотрели друг на друга. Желание было так сильно, что и у него и у нее дрожали пересохшие губы. Их пальцы непроизвольно, покорно сплелись.

— *«Катрине-Никезе-Элизабете Леру из Сасето-Лагерьер за пятидесятичетырехлетнюю службу на одной и той же ферме серебряную медаль ценой в двадцать пять франков!»*

— Где же Катрина Леру? — спросил советник.

Катрина Леру не показывалась. В толпе послышался шепот:

— Да иди же!

— Не туда!

— Налево!

— Не бойся!

— Вот дура!

— Да где же она? — крикнул Тюваш.

— Вон... вон она!

— Так пусть подойдет!

На эстраду робко поднялась вся точно ссохшаяся старушонка в тряпье. На ногах у нее были огромные деревянные башмаки, бедра прикрывал длинный голубой передник. Ее худое, сморщенное, как печеное яблоко, лицо выглядывало из простого, без отделки, чепца, длинные узловатые руки путались в рукавах красной кофты. От сенной трухи, от щелока, от овечьего жирового выпота руки у нее так разъело, так они заскорузли и загрубели, что казалось, будто они грязные, хотя она долго мыла их в чистой воде; натруженные пальцы всегда у нее слегка раздвигались, как бы скромно свидетельствуя о том, сколько ей пришлось претерпеть. В выражении ее лица было что-то монашески суровое. Ее безжизненный взгляд не смягчали оттенки грусти и умиления. Постоянно имея дело с животными, она переняла у них немоту и спокойствие. Сегодня она впервые очутилась в таком многолюдном обществе. Флаги, барабаны, господа в черных фраках, орден советника — все это навело на нее страх, и она стояла как вкопанная, не зная, что ей делать: подойти ближе или убежать, не понимая, зачем вытолкнули ее из толпы, почему ей улыбаются члены жюри. Прямо перед благоденствующими буржуа стояло олицетворение

полувекового рабского труда.

— Подойдите, уважаемая Катрина-Никеза-Элизабета Леру! — взяв у председателя список награжденных, сказал г-н советник.

Глядя то на бумагу, то на старуху, он несколько раз повторил отеческим тоном:

— Подойдите, подойдите!

— Вы что, глухая? — подскочив в своем кресле, спросил Тюваш и стал кричать ей в ухо: — За пятидесятичетырехлетнюю службу! Серебряная медаль! Двадцать пять франков! Это вам, вам!

Получив медаль, старуха начала ее рассматривать. Лицо ее расплылось при этом в блаженную улыбку, и, уходя, она пробормотала:

— Я ее священнику отдам, чтоб он за меня молился!

— Вот фанатизм! — наклонившись к нотариусу, воскликнул фармацевт.

Заседание кончилось, толпа разошлась, речи были произнесены, и теперь каждый вновь занял свое прежнее положение, все вошло в свою колею: хозяева стали ругать работников, а те стали бить животных — этих бесстрастных триумфаторов, возвращавшихся с зелеными венками на рогах к себе в стойла.

Между тем национальные гвардейцы, наса-

див на штыки булки, поднялись на второй этаж мэрии; батальонный барабанщик нес впереди корзину с вином. Г-жа Бовари взяла Родольфа под руку, он довел ее до дому, они расстались у крыльца, и Родольф пошел прогуляться перед парадным обедом по лугу.

Плохо приготовленный обед был продолжителен и шумен. За столом было так тесно, что люди с трудом двигали локтями; узкие доски, служившие скамьями, казалось, вот-вот рухнут. Ели до отвала. Каждый старался наесть на весь свой взнос. По лбам катился пот. Над столом, среди висячих кенкетов, точно осенний утренний туман над рекой, курился белесый пар. Родольф, прислонившись к коленкоровой изнанке шатра, думал только об Эмме и ничего не слышал. Позади него слуги на траве составляли в стопки грязные тарелки; соседи заговаривали с ним — он не отвечал; ему подливали вина, и в то время как шум вокруг все усиливался, в сознании его ширилась тишина. Он вызывал в своем воображении ее слова, очертания ее губ; лицо ее, точно в волшебном зеркале, сверкало на шишках киверов, складки на стенах шатра превращались в складки ее платья, вереница грядущих дней любви уходила в бесконечную даль.

Вечером, во время фейерверка, он увидел ее еще раз, но она была с мужем, г-жой Оме и фармацевтом. Аптекарь, боясь, как бы ракеты не наделали бед, ежеминутно бросал своих спутников, подбегал к Бине и давал ему советы.

Так как пиротехнические приборы были присланы на имя г-на Тюваша, а тот из предосторожности сложил их до времени в погреб, то отсыревший порох не загорался, главный же эффект — дракон, кусающий свой собственный хвост, — не удался вовсе. Порою вспыхивала жалкая римская свеча, и глазеющая толпа поднимала крик, прорезаемый визгом девок, которых в темноте щупали парни. Эмма прижалась к плечу Шарля и, подняв голову, молча следила за тем, как в черном небе огнистыми брызгами рассыпаются ракеты. При свете плошек Родольфу хорошо было видно ее лицо.

Но плошки одна за другой погасали. Зажглись звезды. Упало несколько капель дождя. Эмма повязала голову косынкой.

В эту минуту из ворот трактира выехала коляска советника. Кучер был пьян и сейчас же заснул; над верхом экипажа, между двумя фонарями, виднелась бесформенная груда его тела, качавшаяся из стороны в сторону вместе с подпрыгивавшим

на ремнях кузовом.

— Нет, как хотите, а с пьянством надо вести самую решительную борьбу! — заметил аптекарь. — Я бы каждую неделю вывешивал на дверях мэрии доску ad hoc[5], на которую были бы занесены фамилии тех, кто за истекший период времени отравлял себя алкоголем. С точки зрения статистической это были бы показательные таблицы, которые в случае надобности... Извините!

С этими словами он побежал к податному инспектору. Бине спешил домой. Он соскучился по своему станку.

— Не худо было бы кого-нибудь послать, — заговорил Оме, — а то сходили бы вы сами...

— Да отстаньте вы от меня, — сказал податной инспектор, — ну чего вы боитесь?

— Успокойтесь! — вернувшись к своим друзьям, молвил аптекарь. — Бине уверил меня, что меры приняты. Ни одна искра не упадет. В насосах полно воды. Идемте спать.

— А меня и правда давно уже клонит ко сну, — сказала сладко зевавшая г-жа Оме. — Ну да это не беда, зато день мы провели чудесно.

Родольф, нежно глядя на Эмму, тихо повторил:

---

[5] Примечания: 5
Для этой цели (лат.).

— О да, чудесно!

Все простились и разошлись по домам.

Два дня спустя в «Руанском светоче» появилась большая статья о выставке. В приливе вдохновения ее на другой же день после праздника написал Оме:

«Откуда все эти фестоны, гирлянды, цветы? Куда, подобно волнам бушующего моря, течет толпа, которую заливает потоками света жгучее солнце, иссушающее наши нивы?»

Затем он обрисовал положение крестьян. Правительство, конечно, делает для них много, но все еще недостаточно! «Смелее! — взывал к нему фармацевт. — Необходим целый ряд реформ — осуществим же их!» Дойдя до появления советника, он не забыл упомянуть «нашу воинственную милицию», «наших деревенских резвушек» и лысых стариков, с видом патриархов стоявших в толпе, — «этих обломков наших бессмертных фаланг, почувствовавших, как сильно забились у них сердца при мужественных звуках барабана». Перечисляя членов жюри, он одним из первых назвал себя, а в особом примечании напомнил, что это тот самый г-н Оме, фармацевт, который прислал в Агрономическое общество статью о сидре. Перейдя к раздаче наград, он в ди-

фирамбических тонах описал радость лауреатов:

«Отец обнимал сына, брат — брата, супруг — супругу. Все с гордостью показывали свои скромные медали, и, разумеется, каждый, вернувшись домой к своей дорогой хозяйке, со слезами повесит медаль на стене своей смиренной хижины.

Около шести часов главнейшие участники празднества встретились за пиршественным столом, накрытым на пастбище г-на Льежара. Обед прошел в исключительно дружественной атмосфере. Г-н Льевен провозгласил здравицу за монарха! Г-н Тюваш — за префекта! Г-н Дерозере — за земледелие! Г-н Оме — за брата и сестру: за искусство и промышленность! Г-н Леплише — за мелиорацию! Вечером блестящий фейерверк внезапно озарил воздушное пространство. То был настоящий калейдоскоп, оперная декорация; на одно мгновение наш тихий городок был как бы перенесен в сказочную обстановку «Тысячи и одной ночи».

Считаем своим долгом засвидетельствовать, что семейное торжество не было омрачено ни одним неприятным происшествием».

К этому г-н Оме прибавлял:

«Бросалось лишь в глаза блистательное от-

сутствие духовенства. По-видимому, в ризницах понимают прогресс по-своему. Вольному воля, господа Лойолы!»

IX

Прошло полтора месяца. Родольф не появлялся. Наконец однажды вечером он пришел.

На другой день после выставки он сказал себе: «Устроим перерыв — иначе можно все испортить».

И в конце недели уехал на охоту. Вернувшись с охоты, он подумал, что уже поздно, а затем рассудил так:

«Ведь если она полюбила меня с первого дня, то разлука, наверное, усилила это чувство. Подождем еще немного».

И когда он вошел к ней в залу и увидел, что она побледнела, он убедился, что рассчитал правильно.

Эмма была одна. Вечерело. Муслиновые занавески на окнах сгущали сумрак; в зеркале, между зубчатых ветвей кораллового полипа, отражался блеск позолоты барометра, на который падал солнечный луч.

Родольф не садился. Видно было, что Эмме стоит большого труда отвечать на его первые учтивые фразы.

— Я был занят, — сказал он. — Потом болел.

— Опасно? — воскликнула она.

— Да нет! — садясь рядом с ней, ответил Родольф. — Просто я решил больше к вам не приходить.

— Почему?

— Вы не догадываетесь?

Родольф опять посмотрел на нее, и таким страстным взором, что она вспыхнула и опустила голову.

— Эмма... — снова заговорил он.

— Милостивый государь! — слегка подавшись назад, сказала Эмма.

— Ах, теперь вы сами видите, как я был прав, что не хотел больше к вам приходить! — печально сказал Родольф. — Ваше имя беспрерывно звучит у меня в душе, оно невольно срывается с моих уст, а вы мне запрещаете произносить его! Госпожа Бовари!.. Так вас называют все!.. Да это и не ваше имя — это имя другого человека! Другого! —повторил он и закрыл лицо руками. — Да, я все время о вас вспоминаю!.. Думы о вас не дают мне покою! О, простите!.. Мы больше не увидимся... Прощайте!.. Я уезжаю далёко... так далёко, что больше вы обо мне не услышите!.. И тем не менее... сегодня что-то меня потянуло к вам! С небом не поборешься, против улыбки ангела не усто-

ишь! Все прекрасное, чарующее, пленительное увлекает невольно!

Эмма впервые слышала такие слова, и ее самолюбие нежилось в них, словно в теплой ванне.

— Да, я не приходил, — продолжал он, — я не мог вас видеть, но зато я любовался всем, что вас окружает. Ночами... каждую ночь я вставал, шел сюда, смотрел на ваш дом, на крышу, блестевшую при луне, на деревья, колыхавшиеся под вашим окном, на огонек вашего ночника, мерцавший во мраке сквозь оконные стекла. А вы и не знали, что вон там, так близко и в то же время так далёко, несчастный страдалец...

Эмма повернулась к нему.

— Какой вы добрый! — дрогнувшим голосом проговорила она.

— Нет, я просто люблю вас — только и всего! А вы этого и не подозревали! Скажите же мне... одно слово! Одно лишь слово!

Родольф незаметно соскользнул с табурета на пол, но в это время в кухне послышались шаги, и он обратил внимание, что дверь не заперта.

— Умоляю вас, — сказал он, вставая, — исполните одно мое желание!

Ему хотелось осмотреть ее дом, знать, как она живет. Госпожа Бовари решила, что ничего

неудобного в этом нет, но, когда они оба встали, вошел Шарль.

— Здравствуйте, доктор, — сказал Родольф.

Лекарь, польщенный этим неожиданным для него титулом, наговорил кучу любезностей, а Родольф тем временем оправился от смущения.

— Ваша супруга жаловалась на здоровье... — начал было он.

Шарль перебил его: он в самом деле очень беспокоится за жену — у нее опять начались приступы удушья. Родольф спросил, не будет ли ей полезна верховая езда.

— Разумеется! Отлично, великолепно!.. Блестящая мысль! Непременно начни кататься.

Эмма на это возразила, что у нее нет лошади, Родольф предложил свою; она отказалась, он не настаивал. Потом в объяснение своего визита он сказал, что у его конюха, которому пускали кровь, головокружения еще не прошли,

— Я к вам заеду, — вызвался Бовари.

— Нет, нет, я пришлю его к вам. Мы приедем с ним вместе, зачем же вам беспокоиться?

— Прекрасно. Благодарю вас.

Когда супруги остались вдвоем, Шарль спросил Эмму:

— Почему ты отвергла предложение Буланже?

Это так мило с его стороны!

Лицо Эммы приняло недовольное выражение; она придумала тысячу отговорок и в конце концов заявила, что «это может показаться странным».

— А, наплевать! — сказал Шарль и сделал пируэт. — Здоровье — прежде всего! Ты не права!

— Как же это я буду ездить верхом, когда у меня даже амазонки нет?

— Ну так закажи! — ответил Шарль. Это ее убедило.

Когда костюм был сшит, Шарль написал Буланже, что жена согласна и что они рассчитывают на его любезность.

Ровно в двенадцать часов следующего дня у крыльца появился Родольф с двумя верховыми лошадьми. На одной из них было дамское седло оленьей кожи; розовые помпончики прикрывали ей уши.

Родольф надел мягкие сапоги, — он был уверен, что Эмма никогда таких не видала. В самом деле, когда он в бархатном фраке и белых триковых рейтузах взбежал на площадку лестницы, Эмма пришла в восторг от его вида. Она была уже готова и ждала.

Жюстен удрал из аптеки, чтобы поглядеть на

Эмму; сам фармацевт — и тот соизволил выйти. Он обратился к Буланже с наставлениями:

— Будьте осторожны! Долго ли до беды? Лошади у вас не горячи?

Эмма услышала над головой стук: это, развлекая маленькую Берту, барабанила по стеклу Фелисите. Девочка послала матери воздушный поцелуй — та сделала ответный знак рукояткой хлыстика.

— Приятной прогулки! — крикнул г-н Оме. — Но только осторожней, осторожней!

И замахал им вслед газетой.

Вырвавшись на простор, лошадь Эммы тотчас понеслась галопом. Родольф скакал рядом. По временам Эмма и Родольф переговаривались. Слегка наклонив голову, высоко держа повод, а правую руку опустив, Эмма вся отдалась ритму галопа, подбрасывавшего ее в седле.

У подножия горы Родольф ослабил поводья; они пустили лошадей одновременно; на вершине лошади вдруг остановились, длинная голубая вуаль закрыла Эмме лицо.

Было самое начало октября. Над полями стоял туман. На горизонте, между очертаниями холмов, вился клочковатый пар — поднимался и таял. В прорывах облаков далеко-далеко виднелись

освещенные солнцем крыши Ионвиля, сады, сбегавшие к реке, стены, дворы, колокольня. Эмма, щурясь, старалась отыскать свой дом, и никогда еще этот захудалый городишко не казался ей таким маленьким. С той высоты, на которой они находились, вся долина представлялась огромным молочно-белым озером, испаряющимся в воздухе. Леса, уходившие ввысь, были похожи на черные скалы, а линия встававших из тумана высоких тополей образовывала как бы береговую полосу, колыхавшуюся от ветра.

Поодаль, на лужайке, среди елей, в теплом воздухе струился тусклый свет. Рыжеватая, как табачная пыль, земля приглушала шаги. Лошади, ступая, разбрасывали подковами упавшие шишки. Родольф и Эмма ехали по краю леса. Временами она отворачивалась, чтобы не встретиться с ним взглядом, и видела лишь бесконечные ряды еловых стволов, от которых у нее скоро стало рябить в глазах. Храпели лошади. Поскрипывали кожаные седла.

В ту самую минуту, когда они въезжали в лес, показалось солнце.

— Бог благословляет нас! — воскликнул Родольф.

— Вы так думаете? — спросила Эмма.

— Вперед! Вперед!

Он щелкнул языком. Лошади побежали.

За стремена Эммы цеплялись высокие придорожные папоротники. Родольф, не останавливаясь, наклонялся и выдергивал их. Время от времени он, чтобы раздвинуть ветви, обгонял Эмму, и тогда она чувствовала, как его колено касается ее ноги. Небо разъяснилось. Листья деревьев были неподвижны. Родольф и Эмма проезжали просторные поляны, заросшие цветущим вереском. Эти лиловые ковры сменялись лесными дебрями, то серыми, то бурыми, то золотистыми, в зависимости от цвета листвы. Где-то под кустами слышался шорох крыльев, хрипло и нежно каркали вороны, взлетавшие на дубы.

Родольф и Эмма спешились. Он привязал лошадей. Она пошла вперед, между колеями, по замшелой дороге.

Длинное платье мешало ей, она подняла шлейф, и Родольф, идя сзади, видел между черным сукном платья и черным ботинком полоску тонкого белого чулка, которая, как ему казалось, заключала в себе частицу ее наготы.

Эмма остановилась.

— Я устала, — промолвила она.

— Ну еще немножко! — сказал Родольф. — Со-

беритесь с силами!

Пройдя шагов сто, она опять остановилась. Лицо ее, проглядывавшее сквозь прозрачную голубизну вуали, падавшей с ее мужской шляпы то на правое, то на левое бедро, точно плавало в лазури волн.

— Куда же мы идем?

Он не ответил. Она дышала прерывисто. Родольф посматривал вокруг и кусал себе усы.

Они вышли на широкую просеку, где была вырублена молодая поросль, сели на поваленное дерево, и Родольф заговорил о своей любви.

Для начала он не стал отпугивать ее комплиментами. Он был спокоен, серьезен, печален.

Эмма слушала его, опустив голову, и носком ботинка шевелила валявшиеся на земле щепки.

И все же, когда он спросил:

— Разве пути наши теперь не сошлись?

Она ответила:

— О нет! Вы сами знаете. Это невозможно.

Она встала и пошла вперед. Он взял ее за руку. Она остановилась, посмотрела на него долгим влюбленным взглядом увлажнившихся глаз и неожиданно быстро произнесла:

— Ах, не будем об этом говорить!.. Где наши лошади? Поедем обратно.

У него вырвался жест досады и гнева.

Она повторила:

— Где наши лошади? Где наши лошади?

Родольф как-то странно усмехнулся, стиснул зубы, расставил руки и, глядя на Эмму в упор, двинулся к ней. Эмма вздрогнула и отшатнулась.

— Ах, мне страшно! Мне неприятно! Едем! — лепетала она.

— Как хотите, — изменившись в лице, сказал Родольф.

Он опять стал почтительным, ласковым, робким. Она подала ему руку. Они пошли назад.

— Что это с вами было? — заговорил он. — Из-за чего? Ума не приложу. Вы, очевидно, не так меня поняли? В моей душе вы как мадонна на пьедестале, вы занимаете в ней высокое, прочное и ничем не загрязненное место! Я не могу без вас жить! Не могу жить без ваших глаз, без вашего голоса, без ваших мыслей. Будьте моим другом, моей сестрой, моим ангелом!

Он протянул руку и обхватил ее стан. Она сделала слабую попытку высвободиться. Но он не отпускал ее и продолжал идти.

Вдруг они услышали, как лошади щиплют листья.

— Подождите! — сказал Родольф. — Побудем

здесь еще! Останьтесь!

И, увлекая ее за собой, пошел берегом маленького, покрытого зеленою ряскою пруда. Увядшие кувшинки, росшие среди камышей, были неподвижны. Лягушки, заслышав шаги людей, ступавших по траве, прыгали в воду.

— Что я, безумная, делаю? Что я делаю? — твердила Эмма. — Я не должна вас слушать.

— Почему?.. Эмма! Эмма!

— О Родольф! — медленно проговорила она и склонилась на его плечо.

Сукно ее платья зацепилось за бархат его фрака. Она запрокинула голову, от глубокого вздоха напряглась ее белая шея, по всему ее телу пробежала дрожь, и, пряча лицо, вся в слезах, она безвольно отдалась Родольфу.

Ложились вечерние тени. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь ветви, слепили ей глаза. Вокруг нее там и сям, на листьях и на земле, перебегали пятна света, — казалось, будто это колибри роняют на лету перья. Кругом было тихо. От деревьев веяло покоем. Эмма чувствовала, как опять у нее забилось сердце, как теплая волна крови прошла по ее телу. Вдруг где-то далеко за лесом, на другом холме, раздался невнятный протяжный крик, чей-то певучий голос, и она

молча слушала, как он, словно музыка, сливался с замирающим трепетом ее возбужденных нервов. Родольф с сигарой во рту, орудуя перочинным ножом, чинил оборванный повод.

В Ионвиль они вернулись тою же дорогой. Они видели на грязи тянувшиеся рядом следы копыт своих лошадей, видели те же кусты, те же камни в траве. Ничто вокруг не изменилось. А между тем в самой Эмме произошла перемена, более для нее важная, чем если бы сдвинулись с места окрестные горы. Родольф время от времени наклонялся и целовал ей руку.

Верхом на лошади Эмма была сейчас обворожительна. В седле она держалась прямо, стан ее был гибок, согнутое колено лежало на гриве, лицо слегка раскраснелось от воздуха и от закатного багрянца.

В Ионвиле она загарцевала по мостовой. На нее смотрели из окон.

За обедом муж нашел, что она хорошо выглядит. Когда же он спросил, довольна ли она прогулкой, Эмма как будто не слыхала вопроса; она все так же сидела над тарелкой, облокотившись на стол, освещенный двумя свечами.

— Эмма! — сказал Шарль.

— Что?

— Знаешь, сегодня я заезжал к Александру. У него есть старая кобыла, очень неплохая, только вот колени облысели, — я уверен, что он отдаст ее за сто экю... Я решил сделать тебе удовольствие и оставил ее за собой... я ее купил... — прибавил он. — Хорошо я сделал? Ну? Что же ты молчишь?

Она утвердительно качнула головой. Четверть часа спустя она спросила:

— Вечером ты куда-нибудь идешь?

— Да. А что?

— Просто так, милый, ничего!

Отделавшись от Шарля, она сейчас же заперлась у себя в комнате.

Сначала это было какое-то наваждение: она видела перед собой деревья, дороги, канавы, Родольфа, все еще чувствовала его объятия, слышала шелест листьев и шуршание камышей.

Но, посмотрев в зеркало, она сама подивилась выражению своего лица. Прежде не было у нее таких больших, таких черных, таких глубоких глаз. Что-то неуловимое, разлитое во всем облике, преображало ее.

«У меня есть любовник! Любовник!» — повторяла она, радуясь этой мысли, точно вновь наступившей зрелости. Значит, у нее будет теперь трепет счастья, радость любви, которую она

уже перестала ждать. Перед ней открывалась область чудесного, где властвуют страсть, восторг, исступление. Лазоревая бесконечность окружала ее; мысль ее прозревала искрящиеся вершины чувства, а жизнь обыденная виднелась лишь где-то глубоко внизу, между высотами.

Ей припомнились героини прочитанных книг, и ликующий хор неверных жен запел в ее памяти родными, завораживающими голосами. Теперь она сама вступала в круг этих вымыслов как его единственно живая часть и убеждалась, что отныне она тоже являет собою образ влюбленной женщины, который прежде возбуждал в ней такую зависть, убеждалась, что заветная мечта ее молодости сбывается. И еще она испытывала блаженство утоленной мести. Она так истомилась! Зато сейчас она торжествовала, и долго сдерживаемая страсть хлынула радостно бурлящим потоком. Эмма наслаждалась ею безудержно, безмятежно, бездумно.

Следующий день прошел в новых ласках. Родольф и Эмма дали друг другу клятву. Она поведала ему свои прежние горести. Он прерывал ее поцелуями, а она, глядя на него сквозь полуопущенные ресницы, просила еще раз назвать ее по имени и повторить, что он ее любит. Это

было, как и накануне, в лесу, в пустом шалаше башмачника. Стены шалаша были соломенные, а крыша такая низкая, что приходилось все время нагибаться. Они сидели друг против друга на ложе из сухих листьев.

С этого дня они стали писать друг другу каждый вечер. Эмма шла в самый конец сада, к реке, и засовывала свои письма в одну из трещин обрыва, Родольф приходил сюда за письмом и клал на его место свое, но оно всегда казалось Эмме слишком коротким.

Однажды Шарль уехал еще до рассвета, и Эмме захотелось повидаться с Родольфом сию же минуту. Можно было сбегать в Ла Юшет, пробыть там час и вернуться в Ионвиль, пока все еще спали. При одной этой мысли у нее захватило дух от страстного желания, и немного погодя она быстрыми шагами, не оглядываясь, уже шла лугом.

Занималась заря. Эмма, издали увидев два стрельчатых флюгера, черневших на фоне белеющего неба, догадалась, что это дом ее возлюбленного.

За фермой виднелся флигель, — по всей вероятности, помещик жил именно там. Эмма вошла туда так, словно стены сами раздвинулись при ее приближении. Длинная, без поворотов, лестница

вела в коридор. Эмма отворила дверь и вдруг увидела в глубине комнаты спящего человека. Это был Родольф. Она вскрикнула.

— Это ты? Это ты? — повторял он. — Как тебе удалось?.. Смотри, у тебя мокрое платье!

— Я люблю тебя! — закидывая ему на шею руки, сказала она.

Эта смелая затея окончилась благополучно, и теперь всякий раз, когда Шарль уезжал рано, Эмма второпях одевалась и на цыпочках спускалась по каменной лестнице к реке.

Если досок, по которым переходили коровы, на месте не оказывалось, то надо было идти вдоль реки, у самой садовой ограды. Берег был скользкий. Чтобы не упасть, Эмма цеплялась за увядшие левкои. Затем она шла прямиком по вспаханному полю, увязая, спотыкаясь, пачкая свою изящную обувь. Она боялась быков и через выгон бежала опрометью; косынку ее трепал ветер. К Родольфу она входила тяжело дыша, раскрасневшаяся, и от нее веяло свежим ароматом молодости, зелени и вольного воздуха. Родольф обыкновенно еще спал. Вместе с ней в его комнату словно врывалось весеннее утро.

Желтые занавески на окнах смягчали густой золотистый свет, проникавший снаружи. Эмма

шла ощупью, жмурясь, и капли росы сверкали у нее в волосах венцом из топазов. Родольф, смеясь, привлекал ее и прижимал к груди.

Потом она обводила глазами его комнату, выдвигала ящики, причесывалась его гребенкой, смотрелась в его зеркальце для бритья. Часто она даже брала в рот длинный чубук трубки, лежавшей на ночном столике, среди кусочков лимона и сахара, возле графина с водой.

Не менее четверти часа уходило у них на прощание. Эмма, расставаясь, плакала; ей хотелось всегда быть с Родольфом. Какая-то неодолимая сила влекла ее к нему. Но вот однажды, когда она пришла к нему неожиданно, он досадливо поморщился.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты нездоров? Скажи!

В конце концов он внушительным тоном заметил, что она забыла всякую осторожность и что эти посещения бросают на нее тень.

X

С течением времени опасения Родольфа передались и ей. На первых порах она была упоена любовью и ни о чем другом не помышляла. Но теперь, когда эта любовь стала для нее жизненной необходимостью, она боялась утратить хотя бы частицу ее, хоть чем-нибудь ее потревожить. Возвращаясь от Родольфа, она пугливо озиралась, высматривая, нет ли какой-нибудь фигуры на горизонте, из какого окна ее могут увидеть. Она прислушивалась к шагам, к голосам, к стуку повозок и внезапно останавливалась, бледная, трепещущая, как листва тополей, колыхавшихся у нее над головой.

Однажды утром, идя домой, она неожиданно увидела длинное дуло карабина, наставленное как будто бы прямо на нее. Оно торчало из бочки, прятавшейся в траве на краю канавы. У Эммы подкашивались ноги от ужаса, но она все же продолжала идти вперед, как вдруг из бочки, точно чертик из коробочки, выскочил человек. Гетры на нем были застегнуты до самых колен, фуражку он надвинул на глаза. Губы у него дрожали, нос покраснел. Это капитан Бине охотился на дичь.

— Вам надо было меня окликнуть! — громко заговорил он. — Когда видишь ружье, непременно надо предупредить.

Так податной инспектор пытался объяснить напавший на него страх. Но дело было в том, что приказ префекта разрешал охоту на уток только с лодки, и, таким образом, блюститель законов г-н Бине сам же их и нарушал. Вот почему податному инспектору все время казалось, что идет полевой сторож. Но сознание опасности лишь усиливало удовольствие охоты, и, сидя в бочке, Бине блаженствовал и восхищался собственной изобретательностью.

Узнав Эмму, он почувствовал, что гора у него свалилась с плеч, и тотчас попытался завязать с ней разговор:

— А ведь нынче не жарко! Пощипывает!

Эмма ничего ему не ответила.

— Что это вы нынче спозаранку? — не унимался Бине.

— Так пришлось, — пролепетала она, — моя дочь у кормилицы — я ее навещала.

— Ах, вот как? Хорошее дело! Хорошее дело! А я в таком виде торчу здесь с самой зари. Но только погода до того скверная, что если дичь не пролетит у вас под самым...

— Всего доброго, господин Бине! — повертываясь к нему спиной, прервала его Эмма.

— Будьте здоровы, сударыня! — сухо отозвался он. И опять полез в бочку.

Эмма пожалела, что так резко оборвала податного инспектора. Теперь он непременно начнет строить самые невыгодные для нее предположения. История с кормилицей была придумана неудачно: весь город знает, что уже год, как родители взяли Берту к себе. Да и потом, здесь поблизости нет никакого жилья. Эта дорога ведет только в Ла Юшет. Значит, Бине догадался, откуда она идет, и, уж конечно, молчать не станет — всем раззвонит! До самого вечера она ломала себе голову, придумывая, как бы ей получше вывернуться, и перед глазами у нее все стоял этот болван с ягдташем.

После обеда Шарль, видя, что жена чем-то расстроена, предложил ей пойти развлечься к фармацевту, и первый, кого она увидела в аптеке, был все тот же инспектор! Он стоял перед прилавком так, что на него падал свет от красного шара, и говорил:

— Дайте мне, пожалуйста, пол-унции купороса.

— Жюстен, принеси-ка нам сюда серной кис-

лоты! — крикнул аптекарь и обратился к Эмме, которая хотела подняться к г-же Оме: — Нет, нет, побудьте здесь, не беспокойтесь, она сейчас сама к вам сойдет. Погрейтесь пока у печки... Вы уж меня извините... Здравствуйте, доктор!.. (Фармацевту очень нравилось называть Шарля доктором, точно это слово, обращенное к другому, бросало на него самого отблеск торжевственности, какую он, Оме, в него вкладывал.) Смотри не опрокинь ступки! Принеси стулья из зальцы — ты же знаешь, что кресла в гостиной трогать нельзя.

С этими словами Оме выскочил из-за прилавка, чтобы поставить кресло на место, по тут Бине спросил у него пол-унции сахарной кислоты.

— Сахарной кислоты? — презрительно переспросил аптекарь. — Я такой не знаю, понятия не имею! Может быть, вы хотите щавелевой кислоты? Щавелевой, да?

Бине пояснил, что ему нужно едкое вещество, чтобы свести ржавчину с охотничьего снаряжения. Эмма вздрогнула.

— Да, в самом деле, погода вам не благоприятствует, — поспешил поддержать разговор фармацевт, — уж очень сыро.

— А вот некоторые сырости не боятся, — с лука-

вым видом заметил инспектор.

Эмме стало нечем дышать.

— Дайте мне еще...

«Он никогда отсюда не уйдет!» — подумала она.

— ...пол-унции канифоли и скипидару, четыре унции желтого воску и еще, пожалуйста, полторы унции жженой кости — я этим чищу лаковые ремни.

Аптекарь начал резать воск. В это время вошла г-жа Оме с Ирмой на руках, рядом с ней шел Наполеон, а сзади — Аталия. Г-жа Оме села на обитую бархатом скамейку у окна, мальчуган вскарабкался на табурет, а его старшая сестра подбежала к папочке и стала вертеться вокруг коробочки с ююбой. Аптекарь наливал жидкости через воронки, закупоривал склянки, наклеивал этикетки, завязывал свертки. Все кругом него молчали. Время от времени слышалось только звяканье разновесок да шепот фармацевта, который наставлял своего ученика.

— Ну как ваша малышка? — вдруг спросила г-жа Оме.

— Тише! — прикрикнул на нее г-н Оме, занося в черновую тетрадь какие-то цифры.

— Почему вы ее не взяли с собой? — снова, но

уже вполголоса, обратилась к Эмме с вопросом г-жа Оме.

— Тсс! Тсс! — показывая пальцем на аптекаря, прошептала Эмма.

Но Бине углубился в чтение счета и, по-видимому, ничего не слышал. Наконец он ушел. Почувствовав облегчение, Эмма испустила глубокий вздох.

— Как вы тяжело дышите! — заметила г-жа Оме.

— Здесь у вас немного душно, — ответила Эмма.

На другой же день Родольф и Эмма решили, что их свидания должны быть обставлены по-иному. Эмма предложила подкупить каким-нибудь подарком свою служанку. Родольф, однако, считал, что самое благое дело — найти в Ионвиле укромный домик. И он обещал что-нибудь в этом роде подыскать.

Всю зиму он раза три-четыре в неделю глухою ночью приходил к ней в сад. Шарль думал, что ключ от калитки потерян; на самом же деле Эмма передала его Родольфу.

В виде условного знака Родольф бросал в окно горсть песку. Эмма мгновенно вскакивала с постели. Но иногда приходилось ждать, так как у

Шарля была страсть подсесть к камельку и болтать без конца. Эмма сгорала от нетерпения; она готова была уничтожить своим взглядом Шарля. Наконец она принималась за свой ночной туалет; потом брала книгу и преспокойно усаживалась читать, делая вид, что увлечена чтением. Но в это время слышался голос Шарля, уже успевшего лечь в постель, — он звал ее спать:

— Иди, иди, Эмма, пора!

— Сейчас иду! — отзывалась она.

Свет мешал ему, он поворачивался к стене и засыпал. Тогда Эмма, полуодетая, дрожащая, улыбающаяся, убегала.

У Родольфа был широкий плащ. Он закутывал ее и, обхватив за талию, молча уводил в глубину сада.

Это происходило в беседке, на той же самой скамейке с трухлявыми столбиками, на которой летними вечерами сидел Леон и таким влюбленным взглядом смотрел на Эмму. Теперь она уже совсем забыла его!

Сквозь безлистые ветви жасмина сверкали звезды. Сзади шумела река, по временам слышался треск сухих стеблей камыша. Тьма кое-где сгущалась; порою по этим скоплениям мрака пробегал мгновенный трепет, они выпрямля-

лись, потом склонялись, и тогда Эмме и Родольфу чудилось, будто на них накатывают огромные черные волны и вот сейчас захлестнут их. От ночного холода они еще тесней прижимались друг к другу; дыхание у них становилось как будто бы учащеннее; глаза, которых почти не было видно, в темноте казались больше, а каждое слово, шепотом произнесенное в тиши, падало в душу, хрустально звеня и будя бесконечные отголоски.

В ненастные ночи они укрывались между каретником и конюшней, во флигельке, где Шарль принимал больных. В кухонный подсвечник Эмма вставляла свечу, которая у нее была припрятана за книгами, и зажигала ее. Родольф располагался как у себя дома. Его смешил книжный шкаф, письменный стол, общий вид комнаты, и он то и дело подшучивал над Шарлем, чем приводил Эмму в смущение. Ей хотелось, чтобы он был серьезнее, даже трагичнее, особенно в тот раз, когда ей вдруг почудилось, что кто-то идет по дорожке к флигелю.

— Сюда идут! — сказала она.

Он потушил свет.

— У тебя есть пистолеты?

— Зачем?

— Ну, чтобы... чтобы защищаться, — пояснила

Эмма.

— От твоего мужа? Ах он бедняга!

И Родольф сделал движение, означавшее: «Да я из него одним щелчком вышибу дух!»

В этой его храбрости, поразившей Эмму, было, однако, что-то неделикатное, наивно-грубое, такое, отчего ее невольно покоробило.

Родольф потом долго думал над этим разговором о пистолетах. Если она говорила серьезно, рассуждал он, то это смешно и даже противно. Ведь он не испытывал так называемых мук ревности и не имел оснований ненавидеть добродушного лекаря, — вот почему, когда Эмма, заговорив о своих отношениях с Шарлем, дала Родольфу торжественную клятву, он расценил это как бестактность.

К тому же Эмма становилась чересчур сентиментальной. С ней непременно надо было обмениваться миниатюрами, срезать пряди волос, а теперь она еще требовала, чтобы он подарил ей кольцо, настоящее обручальное кольцо, в знак любви до гроба. Ей доставляло удовольствие говорить о вечернем звоне, о «голосах природы», потом она заводила разговор о своей и о его матери. Родольф потерял ее двадцать лет тому назад. Это не мешало Эмме сюсюкать с ним по этому

поводу так, точно Родольф был мальчик-сиротка. Иногда она даже изрекала, глядя на луну:

— Я убеждена, что они оба благословляют оттуда нашу любовь.

Но она была так хороша собой! Так редко попадалось на его пути столь простодушное существо! Ему, ветренику, ее чистая любовь была внове; непривычная для него, она льстила его самолюбию и будила в нем чувственность. Его мещанский здравый смысл презирал восторженность Эммы, однако в глубине души эта восторженность казалась ему очаровательной именно потому, что относилась к нему. Уверившись в любви Эммы, он перестал стесняться, его обращение с ней неприметным образом изменилось.

Он уже не говорил ей, как прежде, тех нежных слов, что трогали ее до слез, не расточал ей тех бурных ласк, что доводили ее до безумия. Великая любовь, в которую она была погружена, высыхала, точно река, и уже видна была тина. Эмма не хотела этому верить, она стала еще нежнее с Родольфом, а он все менее тщательно скрывал свое равнодушие.

Она сама не знала, жалеет ли она, что уступила тогда его домогательствам, или же, напротив, ее

все сильнее тянет к нему. Унизительное сознание своей слабохарактерности вызывало в ней злобу, которую умеряло только сладострастие. Это была не привязанность, это был как бы непрерывный соблазн. Родольф порабощал ее. Эмма теперь уже почти боялась его.

На поверхности все, однако, было спокойнее, чем когда-либо; Родольфу удалось ввести этот роман в желаемое русло, и полгода спустя, когда пришла весна, они уже представляли собой что-то вроде супругов, которые поддерживают в домашнем очаге ровное пламя.

Весной обыкновенно папаша Руо в память о своей сросшейся ноге посылал Шарлю и Эмме индейку. К подарку неизменно прилагалось письмо. На сей раз Эмма, перерезав веревочку, которой оно было привязано к корзине, прочла следующее:

«Дорогие мои дети!

Надеюсь, вы оба здоровы, и еще я надеюсь, что эта моя индейка окажется не хуже прежних; осмеливаюсь утверждать, что она будет даже понежнее, да и пожирнее. А на будущий год я для разнообразия пришлю вам индюка или, если хотите, каплуна, а вы мне верните, пожалуйста, мою корзину вместе с теми двумя. У меня случилась

беда: ночью поднялся сильный ветер, сорвал с сарая крышу и забросил на деревья. Урожай тоже не так чтобы уж очень знатный. Одним словом, я не могу сказать, когда сумею вас проведать. Трудно мне стало выбираться из дому, — ведь я теперь совсем один, милая моя Эмма!»

В этом месте между строчками был оставлен пробел — бедный старик словно выронил перо и погрузился в раздумье.

«О себе скажу, что я здоров, вот только схватил на днях насморк, когда ездил на ярмарку в Ивето нанимать пастуха, а который был у меня раньше, того я прогнал: уж больно стал привередлив. Мученье с этими разбойниками! Вдобавок он еще нечист на руку.

От одного разносчика, который зимой побывал в ваших краях и вырвал там себе зуб, я слышал, что Бовари по-прежнему трудится не покладая рук. Это меня не удивило. Разносчик показал мне свою десну. Мы с ним выпили кофе. Я спросил, видел ли он тебя, Эмма: он сказал, что нет, зато он видел двух лошадей в вашей конюшне, — стало быть, дела у вас идут. Ну и отлично, милые детки, давай вам бог!

Мне очень грустно, что я еще не познакомился с моей любимой внучкой Бертой Бовари. Я посадил

для нее в саду, как раз напротив твоей комнаты, Эмма, сливу и никому не позволяю ее трогать. Потом я наварю сливового варенья и спрячу в шкаф, а когда внучка ко мне приедет, то будет его кушать, сколько захочет.

Прощайте, славные мои детки! Целую тебя, дочурка, и Вас, дорогой зять, а малышку — в обе щечки.

Всего, всего вам хорошего!

Ваш любящий отец

Теодор Руо».

Эмма долго держала в руках этот листок грубой бумаги. В письме отца орфографические ошибки цеплялись одна за другую, но сквозь них до внутреннего слуха Эммы долетало невнятное биенье размягченного сердца, как сквозь ветви кустарника до нас доходит квохтанье прячущейся наседки. Старик Руо присыпал чернила каминной золой, и когда Эмма заметила, что на ее платье село немного серой пыли, она до осязаемости ясно представила себе, как отец тянется за щипцами. Давно-давно не сидела она с ним на скамеечке у камина и не помешивала потрескивающий дрок палкой, конец которой загорался от жаркого огня! Вспомнились ей светлые летние вечера. Идешь, бывало, мимо жеребят, а они ржут

и резвятся, резвятся!.. Под ее окном стоял улей, и пчелы, кружась в лучах солнца, золотыми шариками ударялись об оконное стекло, а потом тут же отскакивали. Какое это было счастливое время! Беззаботное! Полное надежд! Как много было тогда иллюзий! А теперь не осталось ни одной. Эмма растратила их во время своих душевных бурь, растрачивала постепенно: в девичестве, в браке, в любви, на протяжении всей своей жизни, точно путешественник, оставляющий частицу своего состояния в каждой гостинице.

Но кто повинен в ее несчастье? Откуда налетел этот страшный, все вырвавший с корнем ураган? Эмма подняла голову и, словно высматривая источник своих страданий, обвела глазами комнату.

На фарфоровых вещицах, которыми была заставлена этажерка, переливчато блестел солнечный луч; в камине горели дрова; под туфлями прощупывался мягкий ковер; день был солнечный, воздух — теплый, слышался звонкий смех ее ребенка.

Девочка каталась по лужайке, по свежескошенной траве. Сейчас она лежала плашмя на копне. Няня придерживала ее за платьице. Тут же рядом сгребал сено граблями Лестибудуа, и всякий

раз, как он приближался, Берта наклонялась и всплескивала ручонками.

— Приведите ее ко мне! — крикнула мать и, раскрыв объятия, бросилась ей навстречу. — Как я люблю тебя, ненаглядная моя девочка! Как я тебя люблю!

Заметив, что у нее не совсем чистые уши, Эмма позвонила, велела принести горячей воды, вымыла Берту, переменила ей белье, чулочки, башмачки, забросала няню вопросами о ее здоровье, как будто она сама только что вернулась из далекого путешествия, наконец со слезами на глазах еще раз поцеловала дочку и с рук на руки передала няне, оторопевшей от подобного прилива нежности.

Вечером Родольф нашел, что Эмма как-то особенно серьезна.

«Пройдет, — решил он. — Так просто, каприз».

И пропустил три свидания подряд. Когда же наконец пришел, она встретила его холодно, почти враждебно.

«Меня этим не возьмешь, моя деточка...» — сказал себе Родольф.

Он делал вид, что не замечает ни ее тяжелых вздохов, ни того, как она комкает в руке платок.

Вот когда Эмма раскаялась!

Она даже призадумалась: за что она так ненавидит Шарля, и не лучше ли все-таки попытаться полюбить его? Но Шарль не оценил этого возврата былого чувства, ее жертвенный порыв разбился, это повергло ее в полное смятение, а тут еще подвернулся аптекарь и нечаянно подлил масла в огонь.

XI

Он как раз недавно прочитал хвалебную статью о новом методе лечения искривления стопы, а так как он был поборником прогресса, то у него сейчас же родилась патриотическая мысль: дабы «поддержать честь города», необходимо начать производить в Ионвиле операции стрефоподии.

— Ну чем мы рискуем? — говорил он Эмме. — Подумайте (тут он принимался перебирать по пальцам выгоды этого предприятия): успех почти обеспечен, больной получает облегчение и избавляется от уродства, популярность хирурга быстро растет. Почему бы, например, вашему супругу не оказать помощь бедняге Ипполиту из «Золотого льва»? Примите во внимание, что он непременно станет рассказывать о том, как его вылечили, всем приезжающим, а кроме того, — понизив голос и оглядевшись по сторонам, добавлял Оме, — кто мне помешает послать об этом заметочку в газету? Господи боже мой! Статья нарасхват... всюду разговоры... все это растет, как снежный ком! И как знать? Как знать?..

Что же, может быть, Шарля и впрямь ждет удача? У Эммы нет ни малейших оснований

сомневаться в его способностях. А какое удовлетворение получит она, если под ее влиянием он решится на такой шаг, который даст ему славу и деньги! Она ведь как раз ищет для себя опору, более прочную, чем любовь.

Шарль сдался на уговоры аптекаря и собственной супруги. Он выписал из Руана книгу доктора Дюваля и теперь каждый вечер, сжав голову руками, углублялся в чтение.

Пока он изучал эквинусы, варусы и вальгусы, то есть стрефокатоподию, стрефендоподию и стрефекзоподию (проще говоря, различные случаи искривления стопы: книзу, внутрь и наружу), а также стрефиноподию и стрефаноподию (иными словами, выверт книзу и загиб кверху), г-н Оме всячески старался убедить трактирного слугу сделать себе операцию:

— Ну, может, будет больновато, только и всего. Просто-напросто укол, вроде легонького кровопускания. Удалить мозоль, и то иногда бывает больнее.

Ипполит таращил свои глупые глаза и все раздумывал.

— Мне-то ведь безразлично! — продолжал фармацевт. — Для тебя стараемся! Только из человеколюбия! Я, друг мой, хочу, чтобы ты избавился

от уродующего тебя прихрамывания, сопровождающегося колебанием поясничной области, а ведь, что ты там ни говори, это очень тебе мешает исполнять твои непосредственные обязанности.

Оме расписывал ему, насколько он станет живее, подвижнее, даже намекал, что он будет пользоваться большим успехом у женского пола, и тогда на лице у конюха появлялась сонная улыбка. Затем аптекарь пытался подействовать на его самолюбие:

— Какой же ты после этого мужчина, черт бы тебя побрал! А что, если б тебя призвали на военную службу, что, если б тебе пришлось сражаться под знаменами?.. Эх, Ипполит!

И, заявив, что ему не понятно такое упрямство, такое безрассудное нежелание воспользоваться благодеяниями науки, удалялся.

В конце концов несчастный Ипполит уступил, ибо против него образовался целый заговор. Бине, который никогда прежде не вмешивался в чужие дела, г-жа Лефрансуа, Артемиза, соседи, даже сам мэр, г-н Тюваш, — все к нему приставали, все его убеждали, стыдили, однако сломил его упорство довод, что «это ничего ему не будет стоить». Бовари взял на свой счет даже покупку прибора для операции. Идея этого широкого жеста принад-

лежала Эмме, а Шарль согласился, подумав при этом, что жена его ангел.

По заказу лекаря, слушавшегося советов фармацевта, столяр с помощью слесаря в конце концов смастерил нечто вроде ящика фунтов на восемь весом, причем они троекратно переделывали этот прибор и не пожалели на него ни железа, ни дерева, ни жести, ни кожи, ни шурупов, ни гаек.

Но чтобы решить, какую связку перерезать, надо было сначала выяснить, каким именно видом искривления стопы страдает Ипполит.

На одной ноге у него стопа составляла почти прямую линию с голенью; в то же время она была вывернута и внутрь — следовательно, это был эквинус, осложненный небольшим варусом, или же слабый варус в сочетании с ярко выраженным эквинусом. Но на этом своем эквинусе, шириной, в самом деле, с лошадиное копыто, загрубелом, сухожилом, длиннопалом, с черными ногтями, похожими на гвозди от подковы, наш стрефопод день-деньской бегал быстрее лани. Вечно он, выбрасывая свою кривую подпорку, прыгал на площади вокруг повозок. Создавалось впечатление, что больная нога у него даже сильнее здоровой. От постоянного упражнения у нее точно появились душевные качества — терпе-

ние и настойчивость, и, исполняя какую-нибудь особенно тяжелую работу, Ипполит преимущественно ступал на нее.

Лекарь отказался делать две операции одновременно, — он и так уж дрожал от страха, что нечаянно заденет какую-нибудь ему не известную важную область, — он решил сначала разрезать ахиллесово сухожилие, то есть покончить с эквинусом, и только потом, чтобы устранить и варус, взяться за переднюю берцовую мышцу.

Ни у Амбруаза Паре, который впервые после Цельса, по прошествии пятнадцати столетий, осуществил непосредственную перевязку артерии; ни у Дюпюитрена, которому предстояло вскрыть нарыв внутри головного мозга; ни у Жансуля перед первой операцией верхней челюсти так не билось сердце, так не дрожала рука, так не было напряжено внимание, как у г-на Бовари, когда он с тенотомом в руке приблизился к Ипполиту. Как в настоящей больнице, рядом, на столе, лежала куча корпии, вощеных ниток и великое множество бинтов, целая пирамида бинтов, все бинты, какие только нашлись у аптекаря. Все это еще с утра приготовил г-н Оме, — ему хотелось не только потрясти публику, но и пустить пыль в глаза самому себе. Шарль проткнул кожу; послышался

сухой треск. Связка была перерезана, операция кончилась. Ипполит не мог прийти в себя от изумления; он наклонился и стал целовать руку г-ну Бовари.

— Ну полно, полно! — сказал аптекарь. — У тебя еще будет время выразить признательность своему благодетелю!

Он вышел рассказать об исходе операции пяти-шести любопытным, которые, вообразив, что вот-вот появится Ипполит и пройдется перед ними, уже не хромая, стояли во дворе. Шарль пристегнул больного к механическому приспособлению и пошел домой. На пороге его встретила взволнованная Эмма. Она бросилась ему на шею. Оба сели обедать. Шарль ел много, а за десертом даже попросил налить ему кофе, тогда как обыкновенно он позволял себе эту роскошь только по воскресеньям, если приходили гости.

Вечер прошел чудесно; супруги оживленно беседовали, сообща строили планы. Разговор шел об их будущем благосостоянии, о том, что нового заведут они в своем хозяйстве. Шарль рисовал себе такую картину: больные к нему все идут, доходы его все растут, по-прежнему любящая жена создает ему уют. Эмма между тем испытывала блаженство от нового, освежающего чувства,

которое было и здоровее и чище прежнего оттого, что в ней наконец шевельнулось нечто похожее на нежность к этому бедному малому, так горячо любившему ее. Она вспомнила о Родольфе, но взгляд ее тотчас же обратился к Шарлю, и она с удивлением заметила, что у него довольно красивые зубы.

Шарль и Эмма были уже в постели, когда, не слушая кухарку, к ним в спальню влетел с только что исписанным листком бумаги в руках г-н Оме. Это была рекламная статья, предназначавшаяся фармацевтом для «Руанского светоча». Он принес ее показать.

— Прочтите сами, — сказал Бовари. Аптекарь начал читать:

— «Несмотря на сеть предрассудков, которая все еще опутывает часть Европы, свет начал проникать и в нашу глухую провинцию. Так, например, в прошедший вторник наш маленький городок Ионвиль оказался ареною хирургического опыта, который в то же время является актом высшего человеколюбия. Г-н Бовари, один из наших выдающихся практикующих врачей...»

— Ну, это уж чересчур! Это уж чересчур! — задыхаясь от волнения, проговорил Шарль.

— Да нет, что вы, нисколько!.. «...оперировал

искривление стопы...». Я нарочно не употребил научного термина, — сами понимаете: газета... Пожалуй, не все поймут, а надо, чтобы массы...

— Вы правы, — сказал Шарль. — Продолжайте.

— Я перечту всю фразу, — сказал фармацевт: — «Г-н Бовари, один из наших выдающихся практикующих врачей, оперировал искривление стопы некоему Ипполиту Тотену, который вот уже двадцать пять лет исполняет обязанности конюха в трактире „Золотой лев“, что на Оружейной площади, содержательницей коего является вдова г-жа Лефрансуа. Новизна опыта и участие к больному вызвали такое скопление народа, что у входа в заведение образовалась форменная давка. Сама операция совершилась словно по волшебству — выступило лишь несколько капель крови, как бы для того, чтобы возвестить, что усилия врачебного искусства восторжествовали над непокорной связкой. Удивительно, что больной (мы это утверждаем de visu[6]) нисколько не жаловался на боль. Его состояние пока что не внушает ни малейших опасений. Все говорит о том, что выздоровление пойдет быстро, и, кто знает, быть может, на ближайшем же деревен-

---

[6] Примечания: 6
В качестве очевидца (лат.).

ском празднике мы увидим, как славный наш Ипполит вместе с другими добрыми молодцами принимает участие в вакхических плясках, доказывая своим воодушевлением и своими прыжками, что он вполне здоров? Итак, слава нашим великодушным ученым! Слава неутомимым труженикам, которые не спят ночей для того, чтобы род человеческий стал прекраснее и здоровее! Слава! Трижды слава! Теперь уже можно сказать с уверенностью, что прозреют слепые и бодро зашагают хромые! Что фанатизм некогда сулил только избранным, то наука ныне дарует всем! Мы будем держать наших читателей в курсе последующих стадий этого замечательного лечения».

Однако пять дней спустя к Бовари прибежала перепуганная тетушка Лефрансуа.

— Помогите! Он умирает!.. — кричала она. — Прямо не знаю, что делать!

Шарль кинулся в «Золотой лев»; вслед за ним фармацевт, видя, что он без шляпы бежит через площадь, бросил аптеку. Весь красный от волнения, с трудом переводя дух, г-н Оме расспрашивал всех, кто попадался ему на трактирной лестнице:

— Что такое с нашим любопытным стрефо-

подом?

А стрефопод тем временем извивался в страшных судорогах, и механический прибор, в который была зажата его нога, казалось, мог проломить стену — с такой силой он об нее ударялся.

Лекарь с величайшей осторожностью, чтобы не изменить положения конечности, снял с нее ящик — и ему представилось ужасающее зрелище. Стопа вся заплыла опухолью, кожа натянулась до того, что могла, того и гляди, лопнуть, все кругом было в кровоподтеках от знаменитого прибора. Ипполит давно жаловался, что ему больно, но этому не придавали значения. Теперь уже невозможно было отрицать, что Ипполит имел для этого некоторые основания, и на несколько часов его ногу оставили в покое. Но едва лишь отек немного опал, оба ученых мужа нашли, что пора вновь поместить ногу в аппарат и, чтобы дело пошло скорее, как можно крепче его завинтить. Наконец через три дня Ипполит не выдержал, прибор снова пришлось снять, и результат получился сверхнеожиданный. Синеватая опухоль распространилась и на голень, а на опухоли местами образовались нарывчики, из которых сочилась черная жидкость. Дело прини-

мало нешуточный оборот. Ипполит затосковал, и, чтобы у него было хоть какое-нибудь развлечение, тетушка Лефрансуа поместила его в зальцу около кухни.

Но податной инспектор, который там ежедневно обедал, взбунтовался против такого соседства. Тогда Ипполита перевели в бильярдную.

Бледный, обросший, с глубоко запавшими глазами, он лежал под толстыми одеялами, беспрерывно стонал и лишь изредка поворачивал потную голову на грязной, засиженной мухами подушке. Г-жа Бовари приходила его проведать. Она приносила ему чистые тряпки для припарок, утешала его, ободряла. Впрочем, у него не было недостатка в обществе, особенно в базарные дни, когда крестьяне толпились тут же, гоняли бильярдные шары, орудовали киями, курили, пили, пели, галдели.

— Как дела? — хлопая больного по плечу, говорили они. — Вид-то у тебя неважный! Ну да сам виноват. Тебе нужно было вот то-то и то-то.

Они рассказывали ему целые истории, как люди излечивались другими средствами, и в утешение прибавляли:

— Больно ты мнительный! А ну, вставай! Развалился тут, как барин! У, притворщик! А уж

запашок от тебя!

В самом деле, гангрена поднималась все выше и выше. Бовари чуть сам от этого не заболел. Он прибегал к больному каждый час, каждую минуту. Ипполит смотрел на него глазами, полными ужаса, и, всхлипывая, бормотал:

— Когда же я выздоровлю?.. Ах, спасите меня!.. Что я за несчастный! Что я за несчастный!

Но лекарь, всякий раз рекомендуя ему диету, уходил.

— Не слушай ты его, сынок, — говорила тетушка Лефрансуа. — Довольно ты от них натерпелся! Ведь так ты и ног не потянешь. На, покушай.

И она предлагала ему то тарелочку крепкого бульона, то кусочек жареного мяса, то кусочек сала, а иной раз даже рюмку водки, однако больной не решался поднести ее ко рту.

Весть о том, что Ипполиту стало хуже, дошла до аббата Бурнизьена, и он пришел навестить больного. Прежде всего он посочувствовал ему, но тут же прибавил, что свои страдания Ипполит должен переносить с радостью, ибо такова воля божья, и что надо теперь же, не откладывая, примириться с небом.

— А то ведь ты иногда ленился исполнять свой долг, — отеческим тоном говорил священник. —

Ты редко посещал храм божий. Сколько лет ты не причащался святых тайн? Я понимаю, что от мыслей о спасении души тебя отвлекали дела, суета мирская. А теперь настала пора и о душе подумать. Только ты не отчаивайся: я знал великих грешников, и все же они, готовясь предстать перед Господом (тебе-то еще до этого далеко, я знаю, знаю), взывали к его милосердию и, без сомнения, умирали просветленными. Будем надеяться, что и ты подашь благой пример! Отчего бы тебе на всякий случай не читать утром и вечером «Богородице, дево, радуйся» и «Отче наш, иже еси на небесех»? Начни-ка! Ради меня! Сделай мне такое одолжение! Что тебе стоит?.. Обещаешь?

Бедный малый обещал. Священник стал ходить к нему каждый день. Он болтал с трактирщицей, рассказывал ей разные истории, подъезжал к ней с шуточками и прибауточками, смысла которых Ипполит не понимал. Но при первом удобном случае аббат, придав своему лицу надлежащее выражение, заводил разговор с Ипполитом на религиозные темы.

Его рвение имело успех: вскоре стрефопод дал обет, если только выздоровеет, сходить на богомолье в Бон-Секур. Аббат Бурнизьен сказал, что это не помешает. — кашу маслом, дескать, не

испортишь. «А риска никакого».

Аптекаря возмущали эти, как он выражался, «поповские штучки». Он считал, что Ипполиту они вредны.

— Оставьте его в покое! Оставьте его в покое! — твердил он г-же Лефрансуа. — Вы ему только настроение портите своим мистицизмом!

Но добрая женщина не слушала его, — ведь он же тут был «главным зачинщиком»! Из духа противоречия она даже повесила над изголовьем больного чашу со святой водой и ветку букса.

Тем не менее религия оказалась такой же бессильной, как и хирургия, — неумолимый процесс заражения крови поднимался к животу. Какими только снадобьями ни пичкали Ипполита, сколько ни ставили ему припарок, разложение тканей шло полным ходом, и когда, наконец, тетушка Лефрансуа, видя, что никакие средства не помогают, спросила Шарля, не послать ли в Невшатель за местной знаменитостью, г-ном Каниве, то ему уже ничего иного не оставалось, как утвердительно кивнуть головой.

Пятидесятилетний доктор медицины, преуспевающий, самоуверенный, не счел нужным стесняться и при виде ноги, тронутой разложением до самого колена, презрительно рассмеялся.

Потом он безапелляционным тоном заявил, что ногу необходимо отрезать, пошел к фармацевту и там начал ругательски ругать тех ослов, которые довели бедного малого до такого состояния. Дергая г-на Оме за пуговицу сюртука, он орал на всю аптеку:

— Вот они, парижские-то новшества! Вот они, выдумки столичных господ! Это вроде лечения косоглазия, или хлороформа, или удаления камней из мочевого пузыря. Правительству давно бы надо запретить эти безобразия! А они все мудрят, они пичкают больных лекарствами, совершенно не думая о последствиях. Нам, конечно, с ними не тягаться. Мы — не ученые, не франты, не краснобаи; мы — практики, лечащие врачи, нам в голову не придет оперировать человека, когда он здоровехонек! Выпрямлять искривление стопы! Да разве можно выпрямить искривление стопы? Это все равно что исправить горбатого!

Аптекарю такие речи не доставляли удовольствия, но свое замешательство он маскировал льстивой улыбкой: дело в том, что рецепты г-на Каниве доходили и до Ионвиля, и с ним надо было быть полюбезнее. Вот почему он не выступил на защиту Бовари и ни разу даже не возразил доктору, — он пожертвовал своим достоинством

ради более важных деловых интересов.

Ампутация, которую должен был сделать доктор Каниве, в жизни города явилась событием значительным. В этот день обыватели, все как один, встали рано, и на Большой улице, хотя она была полна народа, царила зловещая тишина, как перед смертной казнью. У бакалейщика только и разговору было что о болезни Ипполита; во всех лавках торговля прекратилась; жена мэра г-жа Тюваш не отходила от окошка, — ей безумно хотелось посмотреть, как проедет мимо хирург.

Он ехал в собственном кабриолете и сам правил лошадью. На правую рессору так долго давил груз его мощного тела, что она в конце концов ослабла, и оттого экипаж всегда немного кренился набок. На подушке, рядом с доктором, стоял обтянутый красным сафьяном поместительный ящик с тремя внушительно блестевшими медными замками.

Доктор налетел на «Золотой лев», как ураган, еще в сенях зычным голосом велел распрячь его лошадь, а затем пошел в конюшню поглядеть, не мало ли задали ей овса. Надо заметить, что, приезжая к больным, он прежде всего проявлял заботу о своей лошади и о своем кабриолете. По этому поводу даже говорили: «Господин Каниве

— оригинал!» Но за это несокрушимое спокойствие его только еще больше уважали. Если бы вымерла вселенная, вся до последнего человека, и тогда не изменил бы он самой пустячной своей привычке.

Явился Оме.

— Я рассчитываю на вас, — сказал доктор. — Вы готовы? Ну так за дело!

Но аптекарь, краснея, признался, что он человек чересчур впечатлительный и потому присутствовать при такой операции не может.

— Когда, понимаете ли, являешься простым зрителем, то это слишком сильно действует на воображение, — пояснил он. — Да и нервная система у меня в таком...

— А, будет вам! — прервал его Каниве. — По-моему, вы, наоборот, склонны к апоплексии. Впрочем, меня это не удивляет. Вы, господа фармацевты, вечно копошитесь в своей кухне, и с течением времени у вас даже темперамент меняется. Посмотрите-ка на меня: я встаю в четыре часа утра, для бритья употребляю холодную воду (мне никогда не бывает холодно), фуфаек не ношу, ни при каких обстоятельствах не простужаюсь, желудок у меня в исправности! Живу я сегодня так, завтра этак, смотрю на вещи философски,

питаюсь чем бог пошлет. Оттого-то я и не такой неженка, как вы. Мне решительно все равно, кого ни резать, — крещеного человека или жареную дичь. Привычка — это великое дело!..

Ипполит, завернувшись в одеяло, потел от страха, а эти господа, не обращая на него ни малейшего внимания, завели длинный разговор, во время которого аптекарь сравнил хладнокровие хирурга с хладнокровием полководца. Такого рода сопоставление польстило доктору Каниве, и он стал развивать мысль, что медицина — это высокое призвание. Он считал, что, сколько бы разные коновалы ни оскверняли искусство врачевания, на него нельзя иначе смотреть, как на священнодействие. Вспомнив наконец о больном, он осмотрел принесенные аптекарем бинты, — те самые, что были заготовлены еще для первой операции, и попросил дать ему в помощь человека, который подержал бы ногу пациента. Послали за Лестибудуа, г-н Каниве, засучив рукава, проследовал в бильярдную, а фармацевт остался с Артемизой и трактирщицей — обе они были белее своих передников и все прикладывали ухо к двери.

А Бовари между тем затворился у себя дома. Он сидел внизу, в зале, у нетопленного камина, и,

свесив голову на грудь, сложив руки, смотрел в одну точку. «Какая неудача! — думал он. — Какое разочарование!» А ведь он принял все меры предосторожности. Тут что-то прямо роковое. Так или иначе, если Ипполит умрет, убийца его — Шарль. А что ему отвечать больным, если они станут расспрашивать его во время визитов? Ну, а если тут было все-таки с его стороны какое-нибудь упущение?

Он искал и не находил. Но ведь ошибались самые знаменитые хирурги. Этого-то как раз никто и не примет во внимание. Наоборот, все станут тыкать пальцем, судачить! Дойдет до Форжа! До Невшателя! До Руана! Куда угодно! Как бы еще коллеги не прохватили его в газетах! Начнется полемика, придется отвечать. Ипполит может подать на него в суд. Ему грозит позор, разорение, гибель. Его фантазию, преследуемую роем домыслов, швыряло то туда, то сюда, как пустую бочку с волны на волну.

Эмма сидела напротив Шарля и смотрела ему в лицо. Его унижение не находило в ней сочувствия — она тоже была унижена: откуда она взяла, будто этот человек на что-то способен? Ведь она столько раз убеждалась в его никчемности!

Шарль стал ходить из угла в угол. Сапоги его

скрипели.

— Сядь! — сказала Эмма. — Ты мне действуешь на нервы. Он сел.

Как могла она (она, с ее умом!) еще раз в нем ошибиться! И вообще, какая это непростительная глупость — портить себе жизнь беспрестанными жертвами! Она подумала о своей любви к роскоши, о своей душевной пустоте, о своем неудачном замужестве, о неприглядности своей семейной жизни, о своих мечтах, что, как раненые ласточки, упали в грязь, обо всем, к чему она стремилась, чем могла бы обладать и в чем себе отказала. И ради чего? Ради чего?

Внезапно напряженную тишину городка прорезал душераздирающий крик. Бовари стал бледен как смерть. Эмма нервно сдвинула брови и снова ушла в свои мысли. Все ради него, ради этого существа, ради этого человека, который ничего не понимает, ничего не чувствует! Ведь он совершенно спокоен, ему и в голову не приходит, что, опорочив свое доброе имя, он осрамил и ее. А она еще старалась полюбить его, со слезами каялась, что отдалась другому!

— А может, это был вальгус? — вдруг выйдя из задумчивости, воскликнул Бовари.

Вопрос Шарля свалился на мысли Эммы, как

свинцовый шар на серебряное блюдо; Эмма вздрогнула от этого неожиданного толчка и, силясь понять, что хотел этим сказать Шарль, подняла голову. Они обменялись безмолвным взглядом, как бы дивясь, что видят перед собой друг друга, — так они были сейчас внутренне далеки. Шарль смотрел на нее мутными глазами пьяницы и в то же время чутко прислушивался к последним воплям оперируемого — к этим тягучим переливам, которые вдруг переходили в тонкий визг, и тогда казалось, что где-то далеко режут животное. Эмма кусала свои побелевшие губы и, вертя в руке отломанный ею кусочек кораллового полипа, не сводила с Шарля острия горящих зрачков, похожих на огненные стрелы, которые вот-вот будут пущены из лука. Все в нем раздражало ее сейчас — раздражало его лицо, костюм, то, что он отмалчивался, весь его облик, наконец, самый факт его существования. Она раскаивалась в том, что прежде была такой добродетельной, — теперь это казалось ей преступлением, и последние остатки ее целомудрия падали под сокрушительными ударами, которые наносило ему самолюбие. Упиваясь местью, она предвкушала торжество измены над верностью. Образ возлюбленного с такой неудержимой си-

лой притягивал ее к себе, что у нее кружилась голова. Душа ее, вновь исполнившись обожания, рвалась к нему. А в Шарле она видела теперь нечто совершенно ей чуждое, нечто такое, с чем раз навсегда покончено, что уже перестало для нее существовать и кануло в вечность, как будто он умирал, как будто он отходил у нее на глазах.

На улице раздались шаги. Шарль посмотрел в окно. Сквозь щели в ставне был виден доктор Каниве — он шел мимо рынка, по солнечной стороне, и вытирал платком лоб. Следом за ним Оме тащил большой красный ящик. Оба направлялись в аптеку.

В порыве нежности и отчаяния Шарль повернулся к жене.

— Обними меня, моя хорошая! — сказал он.

— Оставь меня! — вся вспыхнув, проговорила Эмма.

— Что с тобой? Что с тобой? — растерянно забормотал он. — Не волнуйся! Успокойся!.. Ты же знаешь, как я тебя люблю!.. Поди ко мне!

— Довольно! — страшно закричала Эмма и, выбежав из комнаты, так хлопнула дверью, что барометр упад со стены и разбился.

Шарль рухнул в кресло; недоумевающий, потрясенный, он искал причину в каком-нибудь

нервном заболевании, плакал, и тяжелое, необъяснимое предчувствие томило его.

Когда Родольф пришел вечером в сад, возлюбленная ждала его на нижней ступеньке террасы. Они обнялись, и от жаркого поцелуя вся их досада растаяла, как снежный ком.

XII

Они опять полюбили друг друга. Эмма часто писала ему днем записки, потом делала знак в окно Жюстену, и тот, мигом сбросив фартук, мчался в Ла Юшет. Родольф приходил; ей нужно было только высказать ему, как она без него соскучилась, какой у нее отвратительный муж и как ужасна ее жизнь.

— Что же я-то здесь могу поделать? — однажды запальчиво воскликнул Родольф.

— Ах, тебе стоит только захотеть!..

Эмма с распущенными волосами сидела у его ног и смотрела перед собой отсутствующим взглядом.

— Что захотеть? — спросил Родольф.

Она вздохнула.

— Мы бы отсюда уехали... куда-нибудь...

— Да ты с ума сошла! — смеясь, проговорил он. — Это невозможно!

Потом она снова вернулась к этой теме; он сделал вид, что не понимает, и переменил разговор.

Он не признавал осложнений в таком простом деле, как любовь. А у нее на все были свои мотивы, свои соображения, ее привязанность

непременно должна была чем-то подогреваться.

Так, отвращение к мужу усиливало ее страсть к Родольфу. Чем беззаветнее отдавалась она любовнику, тем острее ненавидела мужа. Никогда еще Шарль, этот тяжелодум с толстыми пальцами и вульгарными манерами, не был ей так противен, как после свидания с Родольфом, после встречи с ним наедине. Разыгрывая добродетельную супругу, она пылала страстью при одной мысли о черных кудрях Родольфа, падавших на его загорелый лоб, об его мощном и в то же время стройном стане, об этом столь многоопытном и все же таком увлекающемся человеке! Для него она обтачивала свои ногти с тщательностью гранильщика, для него не щадила ни кольдкрема для своей кожи, ни пачулей для носовых платков. Она унизывала себя браслетами, кольцами, ожерельями. Перед его приходом она ставила розы в две большие вазы синего стекла, убирала комнату и убиралась сама, точно придворная дама в ожидании принца. Она заставляла прислугу то и дело стирать белье. Фелисите по целым дням но вылезала из кухни, а Жюстен, который вообще часто проводил с нею время, смотрел, как она работает.

Облокотившись на длинную гладильную доску,

он с жадным любопытством рассматривал разложенные перед ним принадлежности дамского туалета: канифасовые юбки, косынки, воротнички, панталоны на тесемках, широкие в бедрах и суживавшиеся книзу.

— А это для чего? — указывая на кринолин или на застежку, спрашивал юнец.

— А ты что, первый раз видишь? — со смехом говорила Фелисите. — Небось у твоей хозяйки, госпожи Оме, точь-в-точь такие же.

— Ну да, такие же! — отзывался Жюстен и задумчиво прибавлял: — Моя барыня разве что стояла рядом с вашей.

Но служанку раздражало, что он все вертится около нее. Она была на шесть лет старше его, за нею уже начинал ухаживать работник г-на Гильомена Теодор.

— Отстань ты от меня! — переставляя горшочек с крахмалом, говорила она. — Поди-ка лучше натолки миндалю. Вечно трешься около женщин. Еще бороденка-то у паршивца не выросла, а туда же!

— Ну, ну, не сердитесь, я вам сейчас ботиночки ее в лучшем виде разделаю.

Он брал с подоконника Эммины башмачки, покрытые грязью свиданий, под его руками грязь

превращалась в пыль, и он смотрел, как она медленно поднимается в луче солнца.

— Уж очень ты бережно с ними обращаешься! — говорила кухарка. Сама она с ними не церемонилась, когда чистила, так как барыня, заметив, что ботинки уже не имеют вида новых, сейчас же отдавала их ей.

У Эммы в шкафу было когда-то много обуви, но постепенно она вся почти перешла к служанке, и Шарль никогда не выговаривал за это жене.

Без возражений уплатил он и триста франков за искусственную ногу, которую Эмма сочла необходимым подарить Ипполиту. Протез был пробковый, с пружинными сочленениями, — это был сложный механизм, заправленный в черную штанину, с лакированным ботинком на конце. Однако Ипполит не мог себе позволить роскошь ходить каждый день на такой красивой ноге и выпросил у г-жи Бовари другую ногу, попроще. Лекарь, разумеется, оплатил и эту покупку.

Мало-помалу конюх опять начал заниматься своим делом. Снова он стал появляться то тут, то там на улицах городка, и Шарль, издали заслышав сухой стук костыля по камням мостовой, быстро переходил на другую сторону.

Все заказы брался выполнять торговец г-н

Лере, — это давало ему возможность часто встречаться с Эммой. Он рассказывал ей о парижских новинках, обо всех диковинных женских вещицах, был чрезвычайно услужлив и никогда не требовал денег. Эмму соблазнил такой легкий способ удовлетворять свои прихоти. Так, например, ей захотелось подарить Родольфу очень красивый хлыст, который она видела в одном из руанских магазинов. Через неделю г-н Лере положил ей этот хлыст на стол.

Но на другой день он предъявил ей счет на двести семьдесят франков и сколько-то сантимов, Эмма растерялась: в письменном столе было пусто, Лестибудуа задолжали больше чем за полмесяца, служанке — за полгода, помимо этого было еще много долгов, и Шарль с нетерпением ждал Петрова дня, когда г-н Дерозере обыкновенно расплачивался с ним сразу за целый год.

Эмме несколько раз удавалось спровадить торговца, но в конце концов он потерял терпение: его самого преследуют-де кредиторы, деньги у него все в обороте, и, если он не получит хоть сколько-нибудь, ему придется забрать у нее вещи.

— Ну и берите! — отрезала Эмма.

— Что вы? Я пошутил! — сказал он. — Вот только хлыстика жаль. Ничего не поделаешь, я

попрошу вашего супруга мне его вернуть.

— Нет, нет! — воскликнула Эмма.

«Ага! Ты у меня в руках!» — подумал Лере.

Вышел он от Эммы вполне проникнутый этой уверенностью, по своему обыкновению насвистывая и повторяя вполголоса:

— Отлично! Посмотрим! Посмотрим!

Эмма все еще напрягала мысль в поисках выхода из тупика, когда появилась кухарка и положила на камин сверточек в синей бумаге «от г-на Дерозере». Эмма подскочила, развернула сверток. В нем оказалось пятнадцать наполеондоров. Значит, счет можно будет оплатить! На лестнице послышались шаги мужа — Эмма бросила золото в ящик письменного стола и вынула ключ.

Через три дня Лере пришел опять.

— Я хочу предложить вам одну сделку, — сказал он. — Если вам трудно уплатить требуемую сумму, вы можете...

— Возьмите, — прервала его Эмма и вложила ему в руку четырнадцать наполеондоров.

Торговец был изумлен. Чтобы скрыть разочарование, он рассыпался в извинениях и в предложениях услуг, но Эмма ответила на все решительным отказом. После его ухода она

несколько секунд ощупывала в карманах две монеты по сто су, которые он дал ей сдачи. Она поклялась, что будет теперь экономить и потом все вернет.

«Э! Да Шарль про них и не вспомнит!» — поразмыслив, решила она.

Кроме хлыста с золоченой ручкой, Родольф получил в подарок печатку с девизом: Amor nel cor[7], шарф и, наконец, портсигар, точно такой же, какой был у виконта, — виконт когда-то обронил портсигар на дороге, Шарль поднял, а Эмма спрятала на память. Родольф считал для себя унизительным получать от Эммы подарки. От некоторых он отказывался, но Эмма настаивала, и в конце концов, придя к заключению, что Эмма деспотична и напориста, он покорился.

Потом у нее появились какие-то странные фантазии.

— Когда будет бить полночь, подумай обо мне! — просила она.

Если он признавался, что не думал, на него сыпался град упреков; кончалось же это всегда одинаково:

— Ты меня любишь?

---

[7] Примечания: 7
Любовь в сердце (итал.).

— Конечно, люблю! — отвечал он.

— Очень?

— Ну еще бы!

— А других ты не любил?

— Ты что же думаешь, до тебя я был девственником? — со смехом говорил Родольф.

Эмма плакала, а он, мешая уверения с шуточками, пытался ее утешить.

— Да ведь я тебя люблю! — опять начинала она. — Так люблю, что жить без тебя не могу, понимаешь? Иной раз так хочется тебя увидеть — кажется, сердце разорвется от муки. Думаешь: «Где-то он? Может, он сейчас говорит с другими? Они ему улыбаются, он к ним подходит...» Нет, нет, тебе никто больше не нравится, ведь правда? Есть женщины красивее меня, но любить, как я, никто не умеет! Я твоя раба, твоя наложница! Ты мой повелитель, мой кумир! Ты добрый! Ты прекрасный! Ты умный! Ты сильный!

Во всем том, что она говорила, для Родольфа не было уже ничего нового, — он столько раз это слышал! Эмма ничем не отличалась от других любовниц. Прелесть новизны постепенно спадала, точно одежда, обнажая вечное однообразие страсти, у которой всегда одни и те же формы и один и тот же язык. Сходство в оборотах речи

заслоняло от этого слишком трезвого человека различие в оттенках чувства. Он слышал подобные фразы из продажных и развратных уст и потому с трудом верил в искренность Эммы: «Высокопарными словами обычно прикрывается весьма неглубокая привязанность», — рассуждал он. Как будто полнота души не изливается подчас в пустопорожних метафорах! Ведь никто же до сих пор не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, горестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс.

Однако даже при том критическом отношении, которое составляет преимущество всякого, кто не теряет головы даже в самой упоительной битве, Родольф находил для себя в этом романе нечто заманчивое. Теперь он уже ничуть не стеснялся Эммы. Оп был с нею бесцеремонен. Он сделал из нее существо испорченное и податливое. Ее сумасшедшая страсть была проникнута восторгом перед ним, представляла для нее самой источник наслаждений, источник блаженного хмеля, душа ее все глубже погружалась в это опьянение и, точно герцог Кларенс в бочке с мальвазией, свертывалась комочком на самом дне.

Она уже приобрела опыт в сердечных делах, и это ее преобразило. Взгляд у нее стал смелее, речи — свободнее. Ей теперь уже было не стыдно гулять с Родольфом и курить папиросу, словно нарочно «дразня гусей». Когда же она в один прекрасный день вышла из «Ласточки» в жилете мужского покроя, у тех, кто еще сомневался, рассеялись всякие сомнения, и в такой же мере, как местных жительниц, возмутило это и г-жу Бовари-мать, сбежавшую к сыну после дикого скандала с мужем. Впрочем, ей не понравилось и многое другое: во-первых, Шарль не внял ее советам запретить чтение романов; потом, ей не нравился самый дух этого дома. Она позволяла себе делать замечания, но это вызывало неудовольствие, а как-то раз из-за Фелисите у невестки со свекровью вышла крупная ссора.

Накануне вечером г-жа Бовари-мать, проходя по коридору, застала Фелисите с мужчиной — мужчиной лет сорока, в темных бакенбардах; заслышав шаги, он опрометью выскочил из кухни. Эмму это насмешило, но почтенная дама, вспылив, заявила, что только безнравственные люди не следят за нравственностью слуг.

— Где вы воспитывались? — спросила невестка.

Взгляд у нее был при этом до того вызывающий, что г-жа Бовари-мать сочла нужным спросить, уж не за себя ли вступилась Эмма.

— Вон отсюда! — крикнула невестка и вскочила с места.

— Эмма!.. Мама!.. — стараясь помирить их, воскликнул Шарль.

Но обе женщины в бешенстве вылетели из комнаты. Эмма топала ногами и все повторяла:

— Как она себя держит! Мужичка!

Шарль бросился к матери. Та была вне себя.

— Нахалка! Вертушка! А может, еще и хуже! — шипела свекровь.

Она прямо сказала, что, если невестка не придет к ней и не извинится, она сейчас же уедет. Шарль побежал к жене — он на коленях умолял ее уступить. В конце концов Эмма согласилась:

— Хорошо! Я пойду!

В самом деле, она с достоинством маркизы протянула свекрови руку и сказала:

— Извините, сударыня.

Но, вернувшись к себе, бросилась ничком на кровать и по-детски расплакалась, уткнувшись в подушку.

У нее с Родольфом был уговор, что в каком-нибудь исключительном случае она прикрепит к

оконной занавеске клочок белой бумаги: если Родольф будет в это время в Ионвиле, то по этому знаку сейчас же пройдет на задворки. Эмма подала сигнал. Прождав три четверти часа, она вдруг увидела Родольфа на углу крытого рынка. Она чуть было не отворила окно и не окликнула его, но он уже исчез. Эмма снова впала в отчаяние.

Вскоре ей, однако, послышались шаги на тротуаре. Конечно, это был он. Она спустилась с лестницы, перебежала двор. Он стоял там, в проулке. Она кинулась к нему в объятия.

— Ты неосторожна, — заметил он.

— Ах, если б ты знал! — воскликнула Эмма.

И тут она рассказала ему все — рассказала торопливо, бессвязно, сгущая краски, выдумывая, со множеством отступлений, которые окончательно сбили его с толку.

— Полно, мой ангел! Возьми себя в руки! Успокойся! Потерпи!

— Но я уже четыре года терплю и мучаюсь!.. Наша с тобой любовь такая, что я, не стыдясь, призналась бы в ней перед лицом божиим! Они меня истерзали. Я больше не могу! Спаси меня!

Она прижималась к Родольфу. Ее мокрые от слез глаза блестели, точно огоньки, отраженные в воде; от частого дыхания вздымалась грудь.

Никогда еще Родольф не любил ее так страстно. Совсем потеряв голову, он спросил:

— Что же делать? Чего ты хочешь?

— Возьми меня отсюда! — воскликнула она. — Увези меня!.. Я тебя умоляю!

И она потянулась к его губам как бы для того, чтобы вместе с поцелуем вырвать невольное согласие.

— Но... — начал Родольф.

— Что такое?

— А твоя дочь?

Эмма помедлила.

— Придется взять ее с собой! — решила она.

«Что за женщина!» — подумал Родольф, глядя ей вслед.

Она убежала в сад. Ее звали.

Все последующие дни Бовари-мать не могла надивиться перемене, происшедшей в невестке. И точно: Эмма стала покладистее, почтительнее, снизошла даже до того, что спросила свекровь, как надо мариновать огурцы.

Делалось ли это с целью отвести глаза свекрови и мужу? Или же это был своего рода сладострастный стоицизм, желание глубже почувствовать убожество всего того, что она покидала? Нет, она была далека от этой мысли, как раз наоборот: она

вся ушла в предвкушение близкого счастья. С Родольфом она только об этом и говорила. Положив голову ему на плечо, она шептала:

— Ах, когда же мы будем с тобой в почтовой карете!.. Ты можешь себе это представить? Неужели это все-таки совершится? Когда лошади понесут нас стрелой, у меня, наверно, будет такое чувство, словно мы поднимаемся на воздушном шаре, словно мы возносимся к облакам. Знаешь, я уже считаю дни... А ты?

За последнее время г-жа Бовари как-то особенно похорошела. Она была красива той не поддающейся определению красотой, которую питают радость, воодушевление, успех и которая, в сущности, есть не что иное, как гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни. Вожделения, горести, опыт в наслаждениях, вечно юные мечты — все это было так же необходимо для ее постепенного душевного роста, как цветам необходимы удобрение, дождь, ветер и солнце, и теперь она вдруг раскрылась во всей полноте своей натуры. Разрез ее глаз был словно создан для влюбленных взглядов, во время которых ее зрачки пропадали, тонкие ноздри раздувались от глубокого дыхания, а уголки полных губ, затененных черным пушком, хорошо видным при

свете, оттягивались кверху. Казалось, опытный в искушениях художник укладывал завитки волос на ее затылке. А когда прихоть тайной любви распускала ее волосы, они падали небрежно, тяжелой волной. Голос и движения Эммы стали мягче. Что-то пронзительное, но неуловимое исходило даже от складок ее платья, от изгиба ее ноги. Шарлю она представлялась столь же пленительной и неотразимой, как в первые дни после женитьбы.

Когда он возвращался домой поздно, он не смел ее будить. От фарфорового ночника на потолке дрожал световой круг, а в тени, у изножья кровати, белой палаткой вздувался полог над колыбелью. Шарль смотрел на жену и на дочку. Ему казалось, что он улавливает легкое дыхание девочки. Теперь она будет расти не по дням, а по часам; каждое время года означит в ней какую-нибудь перемену. Шарль представлял себе, как она с веселым личиком возвращается под вечер из школы, платьице на ней выпачкано чернилами, на руке она несет корзиночку. Потом надо будет отдать ее в пансион — это обойдется недешево. Как быть? Шарль впадал в задумчивость. Он рассчитывал арендовать где-нибудь поблизости небольшую ферму, с тем чтобы каж-

дое утро по дороге к больным присматривать за ней самому. Доход от нее он будет копить, деньги положит в сберегательную кассу, потом приобретет какие-нибудь акции, а тем временем и пациентов у него прибавится. На это он особенно надеялся: ему хотелось, чтобы Берта была хорошо воспитана, чтобы у нее появились способности, чтобы она выучилась играть на фортепьяно. К пятнадцати годам это уже будет писаная красавица, похожая на мать, и летом, когда обе наденут соломенные шляпки с широкими полями, издали их станут принимать за сестер. Воображению Шарля рисовалось, как Берта, сидя подле родителей, рукодельничает при лампе. Она вышьет ему туфли, займется хозяйством, наполнит весь дом своей жизнерадостностью и своим обаянием. Наконец, надо будет подумать об устройстве ее судьбы. Они подыщут ей какого-нибудь славного малого, вполне обеспеченного, она будет с ним счастлива — и уже навек.

Эмма не спала, она только притворялась спящей, и в то время, как Шарль, лежа рядом с ней, засыпал, она бодрствовала в мечтах об ином.

Вот уже неделя, как четверка лошадей мчит ее в неведомую страну, откуда ни она, ни Родольф никогда не вернутся.

Они едут, едут молча, обнявшись. С высоты их взору внезапно открывается чудный город с куполами, мостами, кораблями, лимонными рощами и беломраморными соборами, увенчанными островерхими колокольнями, где аисты вьют себе гнезда. Они едут шагом по неровной мостовой, и женщины в красных корсажах предлагают им цветы. Гудят колокола, кричат мулы, звенят гитары, лепечут фонтаны, и водяная пыль, разлетаясь от них во все стороны, освежает груды плодов, сложенных пирамидами у пьедесталов белых статуй, улыбающихся сквозь водометы. А вечером они с Родольфом приезжают в рыбачий поселок, где вдоль прибрежных скал, под окнами лачуг, сушатся на ветру бурые сети. Здесь они и будут жить; они поселятся у моря, на самом краю залива, в низеньком домике с плоскою кровлей, возле которого растет пальма. Будут кататься на лодке, качаться в гамаке, и для них начнется жизнь легкая и свободная, как их шелковые одежды, теплая и светлая, как тихие звездные ночи, что зачаруют их взор. В том безбрежном будущем, которое она вызывала в своем воображении, ничто рельефно не выделялось; все дни, одинаково упоительные, были похожи один на другой, как волны, и этот бескрайний голубой,

залитый солнцем, согласно звучащий простор мерно колыхался на горизонте. Но в это время кашляла в колыбельке девочка или же Бовари особенно громко всхрапывал — и Эмма засыпала лишь под утро, когда стекла окон белели от света зари и Жюстен открывал в аптеке ставни.

Однажды она вызвала г-на Лере и сказала:

— Мне нужен плащ, длинный плащ на подкладке, с большим воротником.

— Вы отправляетесь в путешествие? — осведомился он.

— Нет, но... В общем, я рассчитываю на вас. Хорошо? Но только поскорее!

Он поклонился.

— Еще мне нужен чемодан... — продолжала она. — Не очень тяжелый... удобный.

— Так, так, понимаю. Приблизительно девяносто два на пятьдесят, — сейчас делают такие.

— И спальный мешок.

«Должно быть, рассорились», — подумал Лере.

— Вот, — вынимая из-за пояса часики, сказала г-жа Бовари, — возьмите в уплату.

Но купец заявил, что это напрасно: они же знают друг друга, неужели он ей не поверит? Какая чепуха! Эмма, однако, настояла на том, чтобы он взял хотя бы цепочку. Когда же Лере,

сунув ее в карман, направился к выходу, она окликнула его:

— Все это вы оставьте у себя. А плащ, — она призадумалась, — плащ тоже не приносите. Вы только дайте мне адрес портного и предупредите его, что плащ мне скоро может понадобиться.

Бежать они должны были в следующем месяце. Она поедет в Руан будто бы за покупками. Родольф возьмет билеты, выправит паспорта и напишет в Париж, чтобы ему заказали карету до Марселя, а в Марселе они купят коляску и уже без пересадок поедут по Генуэзской дороге. Она заранее отошлет свой багаж к Лере, оттуда его доставят прямо в «Ласточку», и таким образом ни у кого не возникнет подозрений. Во всех этих планах отсутствовала Берта. Родольф не решался заговорить о ней; Эмма, может быть, даже о ней и не думала.

Родольфу нужно было еще две недели, чтобы покончить с делами. Через восемь дней он попросил отсрочки еще на две недели, потом сказался больным, потом куда-то уехал. Так прошел август, и наконец, после всех этих оттяжек, был назначен окончательный срок — понедельник четвертого сентября.

Наступила суббота, канун кануна.

Вечером Родольф пришел раньше, чем обычно.

— Все готово? — спросила она.

— Да.

Они обошли клумбу и сели на закраину стены, над обрывом.

— Тебе грустно, — сказала Эмма.

— Нет, почему же?

А смотрел он на нее в эту минуту как-то особенно нежно.

— Это оттого, что ты уезжаешь, расстаешься со всем, к чему привык, со всей своей прежней жизнью? — допытывалась Эмма. — Да, да, я тебя понимаю... А вот у меня нет никаких привязанностей! Ты для меня все. И я тоже буду для тебя всем — я заменю тебе семью, родину, буду заботиться, буду любить тебя.

— Какая же ты прелесть! — сжимая ее в объятиях, воскликнул он.

— Правда? — смеясь расслабленным смехом, спросила она. — Ты меня любишь? Поклянись!

— Люблю ли я тебя! Люблю ли я тебя! Я тебя обожаю, любовь моя!

На горизонте, за лугами, показалась круглая багровая луна. Она всходила быстро; кое-где, точно рваный черный занавес, ее прикрывали ветви тополей. Затем она, уже ослепительно-бе-

лая, озарила пустынный небосвод и, замедлив свое течение, обронила в реку огромный блик, тотчас же засиявший в воде мириадами звезд. Этот серебристый отблеск, точно безголовая змея, вся в сверкающих чешуйках, извивался в зыбях вплоть до самого дна. Еще это было похоже на гигантский канделябр, по которому стекали капли расплавленного алмаза. Кругом простиралась тихая ночь. Листья деревьев были окутаны покрывалами тени. Дул ветер, и Эмма, полузакрыв глаза, жадно вбирала в себя его свежесть. Они были так поглощены своими думами, что не могли говорить. К сердцу подступала былая нежность, многоводная и безмолвная, как река, что струилась там, за оградой, томящая, как благоухание росшего в саду жасмина, и отбрасывала в их памяти еще более длинные и еще более печальные тени, нежели те, что ложились от неподвижных ив на траву. Порой шуршал листьями, выходя на охоту, какой-нибудь ночной зверек: еж или ласка, а то вдруг в полной тишине падал созревший персик.

— Какая дивная ночь! — проговорил Родольф.

— У нас еще много будет таких! — подхватила Эмма и заговорила как бы сама с собой: — Да, ехать нам будет хорошо... Но отчего же все-таки

у меня щемит сердце? Что это, боязнь неизвестности? Или оттого, что я покидаю привычный уклад?.. Или... Нет, это от избытка счастья! Какая я малодушная, правда? Прости меня!

— У тебя еще есть время! — воскликнул Родольф. — Обдумай! А то как бы потом не раскаяться.

— Никогда! — горячо отозвалась Эмма и прильнула к нему. — Ничего дурного со мной не может случиться. Раз я с тобой, то ни пустыни, ни пропасти, ни океаны мне уже не страшны. Я так рисую себе нашу совместную жизнь: это — объятие, которое день ото дня будет все теснее и крепче! Нас ничто не смутит — ни препятствия, ни заботы! Мы будем одни, совершенно одни, навсегда... Ну скажи мне что-нибудь, говори же!

Он отвечал ей время от времени: «Да... да...» Она теребила его волосы, по щекам у нее катились крупные слезы, и она все повторяла с какой-то детской интонацией:

— Родольф! Родольф!.. Ах, Родольф, милый, дорогой Родольф!

Пробило полночь.

— Полночь! — сказала Эмма. — Наступило завтра! Значит, еще один день!

Он встал, и, словно это его движение было сиг-

налом к их бегству, Эмма вдруг повеселела:

— Паспорта у тебя?

— Да.

— Ты ничего не забыл?

— Ничего.

— Наверное?

— Ну конечно!

— Итак, ты меня ждешь в отеле «Прованс»?.. В полдень?

Он кивнул головой.

— Ну, до завтра! — в последний раз поцеловав его, сказала Эмма и потом еще долго смотрела ему вслед.

Родольф не оборачивался. Эмма побежала за ним и, раздвинув кусты, наклонилась над водой.

— До завтра! — крикнула она.

Он был уже за рекой и быстро шагал по лугу.

Через несколько минут Родольф остановился. И когда он увидел, как она, в белом платье, медленно, словно призрак, скрывается во мраке, у него сильно забилось сердце, и, чтобы не упасть, он прислонился к дереву.

— Какой же я дурак! — сказал он и скверно выругался. — Ну ничего, любовница она была очаровательная!

И тут он представил себе всю красоту Эммы, все

радости этой любви. Сперва это его смягчило, но потом он взбунтовался.

— Чтобы я совсем уехал за границу! — размахивая руками, громко заговорил он. — Да еще с младенцем, с этакой обузой!

Так он хотел окончательно укрепиться в своем решении.

— И потом возня, расходы... Нет, нет, ни за что на свете! Это было бы глупее глупого!

XIII

Как только Родольф пришел домой, он, не теряя ни секунды, сел за свой письменный стол, под оленьей головой, висевшей на стене в виде трофея. Но стоило ему взять в руку перо, как все слова вылетели у него из головы, и, облокотившись на стол, он задумался. Эмма уже была для него как бы далеким прошлым; принятое им решение мгновенно образовало между ними громадное расстояние.

Чтобы не совсем утратить память о ней, Родольф, подойдя к шкафу, стоявшему у изголовья кровати, вынул старую коробку из-под реймских бисквитов, куда он имел обыкновение прятать женские письма, — от нее пахло влажною пылью и увядшими розами. Первое, что он увидел, — это носовой платок, весь в выцветших пятнышках. То был платок Эммы, которым она вытиралась, когда у нее как-то раз на прогулке пошла носом кровь. Родольф этого уже не помнил. Рядом лежал миниатюрный портрет Эммы; все четыре уголочка его обтрепались. Ее туалет показался Родольфу претенциозным, в ее взгляде — она делала глазки — было, по его мнению, что-то в выс-

шей степени жалкое. Глядя на портрет, Родольф пытался вызвать в памяти оригинал, и черты Эммы постепенно расплывались, точно живое и нарисованное ее лицо терлись одно о другое и смазывались. Потом он стал читать ее письма. Они целиком относились к отъезду и были кратки, деловиты и настойчивы, как служебные записки. Ему захотелось почитать длинные ее письма — более ранней поры. Они хранились на самом дне коробки, и, чтобы извлечь их, он вывалил все остальные и машинально начал рыться в груде бумаг и вещиц, обнаруживая то букетик, то подвязку, то черную маску, то булавки, то волосы — темные, светлые... Иные волоски цеплялись за металлическую отделку коробки и рвались, когда она открывалась.

Скитаясь в воспоминаниях, он изучал почерк и слог писем, разнообразных, как их орфография. Были среди них нежные и веселые, шутливые и грустные: в одних просили любви, в других просили денег. Какое-нибудь одно слово воскрешало в его памяти лицо, движения, звук голоса; в иных случаях, однако, он ничего не в силах был припомнить.

Заполонив его мысль, женщины мешали друг другу, мельчали, общий уровень любви обез-

личивал их. Захватив в горсть перепутанные письма, Родольф некоторое время с увлечением пересыпал их из руки в руку. Потом это ему надоело, навело на него дремоту, он убрал коробку в шкаф и сказал себе:

— Все это ерунда!..

Он и правда так думал; чувственные наслаждения вытоптали его сердце, точно ученики — школьный двор: зелени там не было вовсе, а то, что в нем происходило, отличалось еще большим легкомыслием, чем детвора, и в противоположность ей не оставляло даже вырезанных на стене имен.

— Ну-с, приступим! — сказал он себе и начал писать:

«Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу быть несчастьем Вашей жизни...»

«В сущности это так и есть, — подумал Родольф, — я действую в ее же интересах, я поступаю честно».

«Тщательно ли Вы обдумали свое решение? Представляете ли Вы себе, мой ангел, в какую пропасть я увлек бы Вас за собой? О нет! Вы шли вперед доверчиво и безрассудно, в чаянии близкого счастья... О, как же мы все несчастны! Какие мы все безумцы!»

Родольф остановился, — надо было найти какую-нибудь важную причину.

«Не написать ли ей, что я потерял состояние?.. Нет, нет! Да ведь это ничего не изменит. Немного погодя все начнется сызнова. Разве таких женщин, как она, можно в чем-нибудь убедить?»

Подумав, он снова взялся за перо:

«Я никогда Вас не забуду, поверьте, моя преданность Вам останется неизменной, но рано или поздно наш пыл (такова участь всех человеческих чувств) все равно бы охладел! На смену пришла бы душевная усталость, и кто знает? Быть может, мне бы еще пришлось терзаться при виде того, как Вы раскаиваетесь, и меня бы тоже охватило раскаяние от сознания, что страдаете Вы из-за меня! Одна мысль о том, как Вам будет тяжело, приводит меня в отчаяние, Эмма! Забудьте обо мне! Зачем я Вас встретил? Зачем Вы так прекрасны? В чем же мое преступление? О, боже мой! Нет, нет, всему виною рок!»

«Это слово всегда производит соответствующее впечатление», — подумал Родольф.

«О, будь Вы одною из тех легкомысленных женщин, что встречаются на каждом шагу, я, конечно, мог бы на это пойти из чистого эгоизма, и тогда моя попытка была бы для Вас безопас-

на. Но Ваша очаровательная восторженность, составляющая тайну Вашего обаяния и вместе с тем служащая источником Ваших мучений, она-то и помешала Вам, о волшебница, понять всю ложность нашего будущего положения! Я тоже сперва ни о чем не думал и, не предвидя последствий, отдыхал, словно под сенью манцениллы, под сенью безоблачного счастья».

«Еще, чего доброго, подумает, что я отказываюсь от нее из скупости... А, все равно! Пора кончать!»

«Свет жесток, Эмма. Он стал бы преследовать нас неотступно. Вам пришлось бы терпеть все: и нескромные вопросы, и клевету, и презрение, а может быть, даже и оскорбления. Оскорбление, нанесенное Вам! О!.. А ведь я уже мысленно возвел Вас на недосягаемый пьедестал! Память о Вас я буду носить с собой, как некий талисман! И вот, за все зло, которое я Вам причинил, я обрекаю себя на изгнание. Я уезжаю. Куда? Не знаю. Я схожу с ума. Прощайте! Не поминайте лихом. Не забывайте несчастного, утратившего Вас. Научите Вашу дочь молиться за меня».

Пламя свечей колебалось. Родольф встал, затворил окно и опять сел за стол.

«Как будто все. Да, вот что еще надо прибавить,

а то как бы она за мной не увязалась...»

«Когда Вы станете читать эти печальные строки, я буду уже далеко. Чтобы не поддаться искушению снова увидеть Вас, я решил бежать немедленно. Прочь, слабость! Я еще вернусь, и тогда — кто знает? — быть может, мы с Вами уже совершенно спокойно вспомним наше былое увлечение. Прощайте!»

После слова «прощайте» он поставил восклицательный знак и многоточие — в этом он видел признак высшего шика.

«А как подписаться? — спросил он себя. — „Преданный Вам“? Нет. „Ваш друг“?.. Да, вот это хорошо».

«Ваш друг».

Он перечитал письмо и остался доволен.

«Бедняжка! — расчувствовавшись, подумал он. — Она решит, что я — твердокаменный. Надо бы тут слезу пролить, да вот беда: не умею я плакать. Чем же я виноват?»

Родольф налил в стакан воды и, обмакнув палец, капнул на бумагу — на ней тотчас же образовалось большое бледное чернильное пятно. Он поискал, чем запечатать письмо, и ему попалась печатка с «Amor nel cor».

«Не очень это сюда подходит... А, ничего, сой-

дет!..»

Затем он выкурил три трубки и лег спать.

На другой день Родольф, как только встал (это было уже около двух часов — он заспался), велел набрать корзинку абрикосов. На самое дно он положил письмо, прикрыл его виноградными листьями и тут же отдал распоряжение своему работнику Жирару бережно отнести корзинку г-же Бовари. Родольф часто переписывался с ней таким образом — посылал ей, смотря по времени года, то фрукты, то дичь.

— Если она спросит обо мне, то скажи, что я уехал, — предупредил он. — Корзинку отдай прямо ей в руки... Понял? Ну, смотри!

Жирар надел новую блузу, завязал корзинку с абрикосами в платок и, тяжело ступая в своих грубых, с подковками, сапогах, преспокойно зашагал в Ионвиль.

Когда он вошел в кухню к Бовари, Эмма и Фелисите раскладывали на столе белье.

— Вот, — сказал посыльный, — это вам от моего хозяина.

У Эммы дрогнуло сердце. Ища в карманах мелочь, она растерянно смотрела на крестьянина, а тот с недоумением глядел на нее — он никак не мог понять, чем может взволновать челове-

ка такой подарок. Наконец он ушел. Фелисите оставалась на кухне. Эмма не выдержала — она бросилась в залу якобы затем, чтобы унести абрикосы, опрокинула корзинку, разворошила листья, нашла письмо, вскрыла его и, точно за спиной у нее полыхал страшнейший пожар, не помня себя, побежала в свою комнату.

Там был Шарль — Эмма увидела его сразу. Он заговорил с ней, но она его не слышала — ошеломленная, обезумевшая, тяжело дыша, она уже взбегала по ступенькам лестницы, а в руке у нее все еще гремел, точно лист жести, этот ужасный листок бумаги. На третьем этаже она остановилась перед затворенной дверью на чердак.

Тут она перевела дух и вспомнила про письмо; надо было дочитать его, но она не решалась. Да и где? Как? Ее могли увидеть.

«Ах нет, вот сюда! — подумала Эмма. — Здесь меня не найдут».

Она толкнула дверь и вошла.

Шиферная кровля накалилась, и на чердаке было до того душно, что у Эммы сразу застучало в висках, она задыхалась. Она еле дошла до запертой мансарды, отодвинула засов, и в глаза ей хлынул ослепительно яркий свет.

Прямо перед ней, за крышами, куда ни посмот-

ришь, расстилались поля. Внизу была видна безлюдная площадь: сверкал на солнце булыжник, флюгера не вертелись, из углового дома, из нижнего этажа доносился скрежет. Это Бине что-то вытачивал на токарном станке.

Эмма прислонилась к стене в амбразуре мансарды и, усмехаясь недоброй усмешкой, стала перечитывать письмо. Но чем внимательнее она в него вчитывалась, тем больше путались у нее мысли. Она видела Родольфа, слышала его, обнимала. Сердце билось у нее в груди, как таран, билось неровно и учащенно. Она смотрела вокруг, и ей хотелось, чтобы под ней разверзлась земля. Почему она не покончит с жизнью все счеты? Что ее удерживает? Ведь она свободна! Эмма шагнула и, бросив взгляд на мостовую, сказала себе:

— Ну! Ну!

Свет, исходивший снизу, тянул в пропасть ее тело, ставшее вдруг невесомым. Ей казалось, что мостовая ходит ходуном, взбирается по стенам домов, что пол накреняется, будто палуба корабля во время качки. Эмма стояла на самом краю, почти перевесившись, лицом к лицу с бесконечным пространством. Синева неба обволакивала ее, в опустевшей голове шумел ветер, — Эмме

надо было только уступить, сдаться. А токарный станок все скрежетал, — казалось, будто кто-то звал ее злобным голосом.

— Жена! Жена! — крикнул Шарль.

Эмма подалась назад.

— Где же ты? Иди сюда!

При мысли о том, что она была на волосок от смерти, Эмма едва не лишилась чувств. Она закрыла глаза и невольно вздрогнула: кто-то тронул ее за рукав. Это была Фелисите.

— Сударыня, вас барин ждет. Суп на столе.

И пришлось ей сойти вниз! Пришлось сесть за стол!

Она пыталась есть, но кусок застревал у нее в горле. Наконец она развернула салфетку будто бы для того, чтобы посмотреть штопку, и в самом деле начала пересчитывать нитки. Вдруг она вспомнила про письмо. Неужели она его потеряла? Надо найти! Но душевная усталость взяла верх, и Эмма так и не придумала, под каким бы предлогом ей встать из-за стола. Потом на нее напал страх — она боялась Шарля: он знает все, это несомненно! В самом деле, он как-то особенно многозначительно произнес:

— Должно быть, мы теперь не скоро увидим Родольфа.

— Кто тебе сказал? — встрепенувшись, спросила Эмма.

— Кто мне сказал? — переспросил Шарль, слегка озадаченный ее резким тоном. — Жирар — я его сейчас встретил около кафе «Франция». Родольф то ли уже уехал, то ли собирается уехать.

Эмма всхлипнула.

— А почему это тебя удивляет? Он часто уезжает развлечься, и я его понимаю. Человек состоятельный, холостой, что ему!.. А повеселиться наш друг умеет — он ведь у нас проказник!.. Мне рассказывал Ланглуа...

Тут вошла служанка, и Шарль из приличия замолчал.

Фелисите собрала в корзинку разбросанные на этажерке абрикосы. Шарль, не заметив, как покраснела жена, велел подать их на стол, взял один абрикос и надкусил.

— Хороши! — воскликнул он. — Возьми, попробуй!

Он протянул ей корзинку — Эмма слабым движением оттолкнула ее.

— Ты только понюхай! Какой аромат! — говорил Шарль, подставляя корзинку к самому ее лицу.

— Мне душно! — вскочив, крикнула Эмма. Все

же ей удалось превозмочь себя. — Ничего, ничего! Это нервы! Сиди и ешь!

Она боялась, что Шарль примется расспрашивать ее, ухаживать за ней, не оставит ее в покое.

Шарль послушно сел. Косточки от абрикосов он сначала выплевывал себе на ладонь, а потом клал на тарелку.

Вдруг по площади крупной рысью пронеслось синее тильбюри. Эмма вскрикнула и упала навзничь.

После долгих размышлений Родольф решил съездить в Руан. Но из Ла Юшет в Бюши можно попасть только через Ионвиль — другой дороги нет, и Эмма мгновенно узнала экипаж Родольфа по свету фонарей, точно две молнии прорезавших сумрак.

На шум в доме Бовари прибежал фармацевт. Стол со всей посудой был опрокинут: соусник, жаркое, ножи, солонка, судок с прованским маслом — все это валялось на полу. Шарль звал на помощь, перепуганная Берта кричала. Фелисите дрожащими руками расшнуровывала барыню. У Эммы по всему телу пробегала судорога.

— Я сейчас принесу из моей лаборатории ароматического уксусу, — сказал аптекарь.

Когда же Эмме дали понюхать уксуса и она

открыла глаза, г-н Оме воскликнул:

— Я был уверен! От этого и мертвый воскреснет.

— Скажи что-нибудь! Скажи что-нибудь! — молил Шарль. — Пересиль себя! Это я, твой Шарль, я так тебя люблю! Ты меня узнаешь? А вот твоя дочка! Ну поцелуй ее!

Девочка тянулась к матери, пыталась обвить ручонками ее шею. Но Эмма отвернулась, прерывающимся голосом произнесла:

— Нет, нет... Никого!

И снова впала в беспамятство. Ее перенесли на кровать.

Она лежала вытянувшись, приоткрыв рот, смежив веки, раскинув руки, безжизненная, желтая, как восковая кукла. Из глаз у нее струились слезы и медленно стекали на подушку.

У ее кровати стояли Шарль и аптекарь; г-н Оме, как полагается в таких печальных обстоятельствах, с глубокомысленным видом молчал.

— Успокойтесь! — взяв Шарля под локоть, сказал он наконец. — По-моему, пароксизм кончился.

— Да, пусть она теперь отдохнет! — глядя, как Эмма спит, молвил Шарль. — Бедняжка!.. Бедняжка!.. Опять захворала!..

Оме спросил, как это с ней случилось. Шарль ответил, что припадок начался внезапно, когда она ела абрикосы.

— Странно!.. — заметил фармацевт. — Но, может быть, именно абрикосы и вызвали обморок! Есть такие натуры, на которые очень сильно действуют определенные запахи. Интересно было бы рассмотреть это явление и с точки зрения патологической, и с точки зрения физиологической. Попы давно уже обратили на него внимание — недаром при совершении обрядов они пользуются ароматическими веществами. Так они одурманивают молящихся и вызывают экстаз, причем особенно легко этому поддаются представительницы прекрасного пола — ведь они же слабее мужчин. Нам известно, что некоторые женщины теряют сознание от запаха жженого рога, от запаха свежеиспеченного хлеба...

— Не разбудите ее! — прошептал Бовари.

— И эта аномалия наблюдается не только у людей, но и у животных, — продолжал аптекарь. — Вы, конечно, знаете, что у породы кошачьих возбуждает похоть nepeta cataria, в просторечии именуемая котовиком. А вот вам другой пример, — ручаюсь, что это сущая правда: у моего старого товарища Бриду (он сейчас живет

в Руане на улице Мальпалю) есть собака, — так вот, поднесите вы ей к носу табакерку, и она сейчас же забьется в судорогах. Бриду частенько показывает этот опыт друзьям в своей беседке, в Буа-Гильом. Ну кто бы мог подумать, что простое чихательное средство способно производить такие потрясения в организме четвероногого? Чрезвычайно любопытно, не правда ли?

— Да, — не слушая, отозвался Шарль.

— Это доказывает, — с добродушно-самодовольной улыбкой снова заговорил фармацевт, — что нервные явления многообразны. А что касается вашей супруги, то, признаюсь, я всегда считал, что у нее повышенная чувствительность. И я бы на вашем месте, дорогой друг, не стал применять к ней ни одного из новых хваленых средств, — болезнь они не убивают, а на темпераменте сказываются губительно. Нет, нет, долой бесполезные медикаменты! Режим — это все! Побольше болеутоляющих, мягчительных, успокоительных! А вы не находите, что, может быть, следует поразить ее воображение?

— Чем? Как? — спросил Бовари.

— Вот в этом-то и весь вопрос! Вопрос действи-

тельно сложный! *That is the question*[8], как было написано в последнем номере газеты.

Но тут Эмма очнулась.

— Письмо! Письмо! — закричала она.

Шарль и Оме решили, что это бред. В полночь Эмма и правда начала бредить. Стало ясно, что у нее воспаление мозга.

Сорок три дня Шарль не отходил от Эммы. Он забросил своих пациентов, не ложился спать, он только и делал, что щупал ей пульс, ставил горчичники и холодные компрессы. Он гонял Жюстена за льдом в Невшатель; лед по дороге таял; Шарль посылал Жюстена обратно. Он пригласил на консультацию г-на Каниве, вызвал из Руана своего учителя, доктора Ларивьера. Он был в полном отчаянии. В состоянии Эммы его особенно пугал упадок сил. Она не произносила ни слова, она ничего не слышала. Казалось, она совсем не страдает; она словно отдыхала и душой и телом после всех треволнений.

И вот в середине октября она уже могла сидеть в постели, опершись на подушки. Когда она съела первый ломтик хлеба с вареньем, Шарль разрыдался. Силы возвращались к ней. Днем она

---

[8] Примечания: 8

Вот в чем вопрос (англ.) — слова шекспировского Гамлета.

на несколько часов вставала, а как-то раз, когда дело явно пошло на поправку, Шарль попробовал погулять с ней по саду. Песок на дорожках был сплошь усыпан палым листом. Эмма шла медленно, шаркая туфлями, всей тяжестью опираясь на Шарля, шла и улыбалась.

Так они добрели до конца сада — дальше начинался обрыв. Эмма с трудом подняла голову и из-под ладони посмотрела вокруг. Ей было видно далеко-далеко, но на всем этом пустынном просторе глаз различал лишь дымившиеся костры — это жгли траву на холмах.

— Ты устанешь, моя родная, — сказал Шарль.

Он осторожно подвел ее к беседке.

— Сядь на скамейку — здесь тебе будет хорошо.

— Нет, нет! Не хочу туда, не хочу! — упавшим голосом проговорила Эмма.

У нее закружилась голова. А вечером Эмма снова слегла в постель. Но только теперь болезнь ее с трудом поддавалась определению — слишком разнообразны были симптомы. У Эммы болело то сердце, то грудь, то голова, то руки и ноги. Появилась рвота, и Шарль счел это первым признаком рака.

В довершение всего у бедного Шарля стало туго с деньгами.

XIV

Во-первых, Шарль не знал, чем он будет расплачиваться с г-ном Оме за лекарства. Как врач, он имел право не платить вовсе, и, однако, он краснел при одной мысли об этом долге. Кроме того, бразды правления у них в доме перешли к кухарке, и хозяйственные расходы достигли ужасающих размеров; счета так и сыпались; поставщики ворчали; особенно донимал Шарля г-н Лере. В самый разгар болезни Эммы он, воспользовавшись этим обстоятельством, чтобы увеличить счет, поспешил принести плащ, спальный мешок, два чемодана вместо одного и еще много разных вещей. Как ни убеждал его Шарль, что все это ему не нужно, купец нагло отвечал, что вещи были ему заказаны и что обратно он их не возьмет. Г-жу Бовари беспокоить нельзя — ей это вредно. Как г-н Бовари хочет, а только он, Лере, товар не унесет и в случае чего докажет свои права в суде. Шарль распорядился немедленно отослать ему вещи в магазин. Фелисите позабыла. Шарля одолевали другие заботы. Словом, вещи так тут и остались. Тогда г-н Лере предпринял еще одну попытку и мольбами и

угрозами в конце концов вырвал у Бовари вексель сроком на полгода. Но едва Шарль поставил свою подпись, как у него явилась смелая мысль — занять у г-на Лере тысячу франков. С нерешительным видом он задал торгашу вопрос, где бы ему раздобыть такую сумму сроком на один год и под любые проценты. Лере сбегал к себе в лавку, принес деньги и продиктовал еще один вексель, согласно которому Бовари брал на себя обязательство уплатить к 1 сентября будущего года тысячу семьдесят франков, что составляло вместе с проставленными в первом векселе ста восемьюдесятью тысячу двести пятьдесят франков. Таким образом, дав деньги в рост из шести процентов, взяв четвертую часть всей суммы за комиссию и не менее трети всей суммы заработав на самих товарах, г-н Лере рассчитывал получить за год сто тридцать франков чистой прибыли. И он еще надеялся, что этим дело не кончится: Бовари не сможет уплатить деньги в срок, он вынужден будет переписать векселя, и денежки г-на Лере, подкормившись у доктора, как на курорте, в один прекрасный день вернулся к хозяину такой солидной, такой кругленькой суммой, что их некуда будет девать.

Господин Лере вообще последнее время шел

в гору. Он получил с торгов поставку сидра для невшательской больницы, г-н Гильомен обещал ему акции грюменильских торфяных разработок, а сам он мечтал пустить между Аргейлем и Руаном дилижанс, который, конечно, очень скоро вытеснит колымагу «Золотого льва»: он будет ходить быстрее, стоить дешевле, багажа брать больше, и немного погодя все нити ионвильской торговли окажутся в руках у г-на Лере.

Шарль долго ломал себе голову, где ему на будущий год достать столько денег. Он перебирал в уме всевозможные способы — обратиться к отцу, продать что-нибудь. Но отец ни за что не даст, а продать нечего. Положение было безвыходное, и он стал гнать от себя мрачные мысли. Он упрекал себя, что материальные заботы отвлекают его от Эммы, а между тем всеми помыслами он должен быть с ней; подумать о чем-нибудь постороннем — значит что-то отнять у нее.

Зима стояла суровая. Г-жа Бовари поправлялась медленно. В ясные дни ее подвозили в кресле к окну, выходившему на площадь, — окно в сад было теперь всегда завешено, г-жа Бовари не могла вспомнить о саде. Лошадь она велела продать, — все, что она прежде любила, разонравилось ей теперь. Мысли ее вращались вокруг нее самой.

Лежа в постели, она принимала легкую пищу, звонила прислуге, спрашивала, не готов ли декокт, болтала с ней. От снега, лежавшего на рыночном навесе, в комнате с утра до вечера стоял матовый свет. Потом зарядили дожди. Каждый день Эмма не без волнения следила за ходом городских событий, хотя события происходили все неважные, притом всегда одни и те же и не имели отношения к Эмме. Самым большим событием было возвращение «Ласточки», приезжавшей в Ионвиль вечером. Кричала трактирщица, ей отвечали другие голоса, а фонарь Ипполита, доставававшего с брезентового верха баулы, мерцал звездою во мраке. В полдень приходил домой Шарль, затем уходил, потом Эмма ела бульон, а под вечер, часов около пяти, возвращавшиеся из школы мальчишки топали деревянными башмаками и один за другим ударяли своими линейками по задвижкам ставен.

В этот час Эмму обычно навещал аббат Бурнизьен. Он спрашивал, как ее здоровье, сообщал новости, заводил непринужденный, неволнующий и вместе с тем довольно интересный для нее разговор и незаметно обращал ее мысли к религии. Один вид его сутаны действовал на нее успокаивающе.

В тот день, когда ей было особенно плохо, она подумала, что умирает, и захотела причаститься. Во время приготовлений к таинству, пока ее заставленный лекарствами комод превращали в престол, пока Фелисите разбрасывала по полу георгины, у Эммы было такое ощущение, будто на нее нисходит непостижимая сила и избавляет от всех скорбей, будто она уже ничего не воспринимает и ничего не чувствует. Освобожденная плоть ни о чем больше не помышляла — для Эммы как бы начиналась иная жизнь. И мнилось Эмме, что душа се, возносясь к небу, растворяется в божественной любви, подобно тому как дым от ладана расходится в воздухе. Постель окропили святой водой, священник вынул из дароносицы белую облатку, и, изнемогая от неземного блаженства, Эмма протянула губы, чтобы принять тело Христово. Вокруг нее, словно облака, мягко круглились занавески алькова, две горевшие на комоде свечи показались ей сияющими венцами нетления. Эмма уронила голову на подушки, и ей почудилось, будто где-то вдали зазвучали арфы серафимов, будто над нею раскинулось голубое небо, а в небе, на золотом престоле, окруженный святыми с зелеными пальмовыми ветвями в руках, ей привиделся Бог Отец во всей ого славе,

и будто по его мановению огнекрылые ангелы спускаются на землю и вот сейчас унесут в своих объятиях ее душу.

Это чудное видение запечатлелось в ее памяти как нечто неизъяснимо прекрасное. Она старалась вызвать в себе чувство, которое она испытала тогда и которое с тех пор не переставало жить в ней, — чувство, лишенное прежней силы, но зато сохранившее всю свою пленительную глубину. Душа ее, сломленная гордыней, находила успокоение в христианской кротости. Наслаждаясь собственной слабостью, Эмма смотрела на свое безволие, как на широкие врата, через которые в нее войдет благодать. Значит, есть же на земле неизреченные блаженства, и перед ними земное счастье — прах, есть любовь превыше всякой другой, любовь непрерывная, бесконечная, неуклонно растущая! Лелея обманчивые надежды, Эмма представляла себе, что душа человеческая, достигнув совершенства, способна воспарить над землею и слиться с небесами. И она мечтала об этом. Ей хотелось стать святой. Она купила себе четки, стала носить ладанки; она думала о том, как хорошо было бы повесить у себя в комнате над изголовьем усыпанный изумрудами ковчежец и каждый вечер

прикладываться к нему.

Священника радовало такое ее умонастроение, но он опасался, что Эмма из-за своей чрезмерной набожности может впасть в ересь и даже свихнуться. Богобоязненность Эммы не укладывалась в известные рамки, и это было уже вне его компетенции, поэтому он счел за благо написать торговцу книгами духовно-нравственного содержания г-ну Булару и попросить его прислать «что-нибудь достойное внимания для одной очень умной особы женского пола». Книгопродавец отнесся к его просьбе столь же равнодушно, как если бы ему дали заказ на поставку скобяного товара неграм, и упаковал подряд все душеспасительные книги, которые были тогда в ходу. Он прислал и учебники в вопросах и ответах, и злобные памфлеты в духе г-на де Местра, и нечто приторное, романообразное в розовых переплетах, состряпанное сладкопевцами-семинаристами или же раскаявшимися синими чулками. Чего-чего тут только не было: и «Предмет для неустанных размышлений», и «Светский человек у ног Девы Марии, сочинение г-на де ***, разных орденов кавалера», и «Книга для юношества о заблуждениях Вольтера», и т. п.

Госпожа Бовари была еще не в силах на чем-

либо сосредоточиться — для этого у нее была недостаточно ясная голова, а на присланные книги она набросилась с излишней жадностью. К церковной догматике она сразу же почувствовала отвращение; в сочинениях полемических ожесточенные нападки на лиц, о которых она не имела понятия, прискучили ей; наконец, в светских повестушках религиозного направления она обнаружила полнейшее незнание жизни; она надеялась, что душеполезные книги докажут ей непреложность некоторых истин, но они произвели как раз обратное действие: самые истины мало-помалу утратили для Эммы свое обаяние. Впрочем, она пока еще упорствовала, и, когда книга выпадала у нее из рук, ей казалось, что такую красивую печаль способна чувствовать лишь настроенная на самый высокий лад католичка.

Между тем память о Родольфе ушла на самое дно ее души, и там она и покоилась, еще более величественная и неподвижная, нежели мумия земного владыки в какой-нибудь усыпальнице. Ее набальзамированная любовь источала некое благоухание и, пропитывая собою решительно все, насыщала нежностью ту безгрешную атмосферу, в которой стремилась жить Эмма.

Преклонив колени на своей готической скамеечке, Эмма обращала к Богу те же ласковые слова, которые она когда-то со всем пылом неверной жены шептала своему любовнику. Ей казалось, что так она укрепляет в себе веру, и все же она не находила отрады в молитве — вся разбитая, она вставала со скамейки, и внутренний голос шептал ей, что она — жертва какого-то грандиозного обмана. Но она утешала себя тем, что Господь посылает ей испытание. В своей богомольной гордыне Эмма сравнивала себя с теми знатными дамами былых времен, славе которых она завидовала, глядя на изображение де Лавальер: необыкновенно величественно выглядевшие в длинных платьях с расшитым шлейфом, они уединялись для того, чтобы у ног Христа выплакать слезы своей наболевшей души.

Эмма увлеклась благотворительностью. Шила платья для бедных, посылала дров роженицам. Однажды Шарль, придя домой, застал на кухне трех проходимцев — они сидели за столом и ели суп. На время болезни Эммы Шарль отправил дочку к кормилице — теперь Эмма взяла ее домой. Она начала учить ее читать, и слезы Берты уже не выводили Эмму из терпения. Это была внушенная самой себе кротость, это было полное

всепрощение. О чем бы она ни говорила, речь ее становилась выспренной. Она спрашивала Берту:

— У тебя больше не болит животик, мой ангел?

Госпоже Бовари-старшей теперь уже не к чему было придраться; ей только не нравилось, что невестка помешалась на вязании фуфаек для сирот — лучше бы свое тряпье чинила. Но нелады с мужем извели почтенную даму, и она блаженствовала в тихом доме у сына; чтобы не видеть, как ее супруг, ярый безбожник, ест в Великую пятницу колбасу, она прожила здесь и Страстную и Пасху.

Свекровь, ободряюще действовавшая на Эмму своей прямолинейностью и всей своей горделивой осанкой, была далеко не единственной ее собеседницей — почти каждый день она с кем-нибудь да встречалась. Ее навещали г-жа Ланглуа, г-жа Карон, г-жа Дюбрейль, г-жа Тюваш и, ежедневно с двух до пяти, милейшая г-жа Оме, единственная из всех не верившая ни одной сплетне про свою соседку. Бывали у Эммы и дети Оме; их сопровождал Жюстен. Он поднимался с ними на второй этаж и до самого ухода молча, не шевелясь, стоял у порога. Иной раз г-жа Бовари, не смущаясь его присутствием, принималась

за свой туалет. Первым делом она вытаскивала из волос гребень и встряхивала головой. Когда бедный мальчик увидел впервые, как кольца ее волос раскрутились и вся копна спустилась ниже колен, то это было для него нечаянным вступлением в особый, неведомый мир, пугающий своим великолепием.

Эмма, конечно, не замечала его душевных движений, его робких взглядов. Она и не подозревала, что вот тут, около нее, под рубашкой из домотканого полотна, в юном сердце, открытом для лучей ее красоты, трепещет исчезнувшая из ее жизни любовь. Впрочем, Эмма была теперь до такой степени равнодушна ко всему на свете, так ласково со всеми говорила, а взгляд ее в это же самое время выражал такое презрение, такие резкие бывали у нее переходы, что вряд ли кто-нибудь мог понять, где кончается ее эгоизм и начинается отзывчивость, где кончается порок и начинается добродетель. Так, однажды вечером, служанка тщетно пыталась найти благовидный предлог, чтобы уйти со двора, и Эмма на нее рассердилась, а потом вдруг спросила в упор:

— Ты что, любишь его?

И, не дожидаясь ответа от зардевшейся Фелисите, с грустным видом сказала:

— Ну поди погуляй!

В начале весны Эмма, не посчитавшись с мужем, велела перекопать весь сад. Муж, впрочем, был счастлив, что она хоть в чем-то проявляет настойчивость. А она заметно окрепла, и проявления настойчивости наблюдались у нее все чаще. Прежде всего ей удалось отделаться от кормилицы, тетушки Роле, которая, пока Эмма выздоравливала, с двумя своими питомцами и прожорливым, точно акула, пенсионером, зачастила к ней на кухню. Потом она сократила визиты семейства Оме, постепенно отвадила других гостей и стала реже ходить в церковь, заслужив этим полное одобрение аптекаря, который на правах друга однажды заметил ей:

— Вы уж было совсем замолились!

Аббат Бурнизьен по-прежнему приходил каждый день после урока катехизиса. Он любил посидеть на воздухе, в беседке, «в рощице», как называл он сад. К этому времени возвращался Шарль. Оба страдали от жары; им приносили сладкого сидру, и они пили за окончательное выздоровление г-жи Бовари.

Тут же, то есть внизу, как раз напротив беседки, ловил раков Бине. Бовари звал его выпить холодненького — тот уж очень ловко откупоривал

бутылки.

— Бутылку не нужно наклонять, — самодовольным взглядом озирая окрестности, говорил Бине. — Сначала мы перережем проволочку, а потом осторожно, потихоньку-полегоньку, вытолкнем пробку — так открывают в ресторанах бутылки с сельтерской.

Но во время опыта сидр нередко обдавал всю компанию, и в таких случаях священник, смеясь утробным смехом, всегда одинаково острил:

— Его доброкачественность бросается в глаза!

Аббат Бурнизьен был в самом деле человек незлобивый: когда однажды фармацевт посоветовал Шарлю развлечь супругу — повезти ее в руанский театр, где гастролировал знаменитый тенор Лагарди, он ничем не обнаружил своего неудовольствия. Озадаченный его невозмутимостью, г-н Оме прямо обратился к нему и спросил, как он на это смотрит; священник же ему ответил, что музыка не так вредна, как литература.

Фармацевт вступился за словесность. Он считал, что театр в увлекательной форме преподносит зрителям нравоучение и этим способствует искоренению предрассудков.

— Castigat ridendo mores[9], господин Бурнизьен! Возьмите, например, почти все трагедии Вольтера: они полны философских мыслей — для народа это настоящая школа морали и дипломатии.

— Я когда-то видел пьесу под названием «Парижский мальчишка», — вмешался Бине. — Там выведен интересный тип старого генерала — ну прямо выхвачен из жизни! Какого звону задает этот генерал одному барчуку! Барчук соблазнил работницу, а та в конце концов...

— Бесспорно, есть плохая литература, как есть плохая фармацевтика, — продолжал Оме. — Но отвергать огулом все лучшее, что есть в искусстве, — это, по-моему, нелепость; в этом есть что-то средневековое, достойное тех ужасных времен, когда Галилей томился в заточении.

— Я не отрицаю, что есть хорошие произведения, хорошие писатели, — возразил священник. — Но уже одно то, что особы обоего пола собираются в дивном здании, обставленном по последнему слову светского искусства... И потом этот чисто языческий маскарад, румяна, яркий свет, томные голоса — все это в конце концов ведет к ослаблению нравов, вызывает нескромные

---

[9] Примечания: 9
Он смехом бичует нравы (лат.).

мысли, нечистые желания. Так, по крайней мере, смотрели на это отцы церкви. А уж раз, — добавил священник, внезапно приняв таинственный вид, что не мешало ему разминать на большом пальце понюшку табаку, — церковь осудила зрелища, значит, у нее были для этого причины. Наше дело — исполнять ее веления.

— А знаете, почему церковь отлучает актеров? — спросил аптекарь. — Потому что в давнопрошедшие времена их представления конкурировали с церковными. Да, да! Прежде играли, прежде разыгрывали на хорах так называемые мистерии; в сущности же, это были не мистерии, а что-то вроде фарсов, да еще фарсов-то в большинстве случаев непристойных.

Священник вместо ответа шумно вздохнул, а фармацевт все не унимался.

— Это как в Библии. Там есть такие... я бы сказал... пикантные подробности, уверяю вас!.. Там все вещи называются своими именами!

Тут Бурнизьена всего передернуло, но аптекарь не дал ему рта раскрыть:

— Вы же не станете отрицать, что эта книга не для молодых девушек. Я бы, например, был не в восторге, если б моя Аталия...

— Да ведь Библию рекомендуют протестанты, а

не мы! — выйдя из терпения, воскликнул аббат.

— Не все ли равно? — возразил Оме. — Я не могу примириться с мыслью, что в наш просвещенный век находятся люди, которые все еще восстают против такого вида умственного отдыха, хотя это отдых безвредный, более того — здоровый и в нравственном и даже в физическом смысле. Не правда ли, доктор?

— Да, конечно, — как-то неопределенно ответил лекарь; то ли он, думая так же, как и Оме, не хотел обижать Бурнизьена, то ли он вообще никогда об этом не думал.

Разговор, собственно, был кончен, но фармацевт не удержался и нанес противнику последний удар:

— Я знал священников, которые переодевались в светское платье и ходили смотреть, как дрыгают ногами танцовщицы.

— А, будет вам! — возмутился аббат.

— Нет, я знал! — повторил Оме и еще раз произнес с расстановкой: — Нет — я — знал!

— Что ж, это с их стороны нехорошо, — заключил Бурнизьен: по-видимому, он твердо решил снести все.

— Да за ними, черт их побери, еще и не такие грешки водятся! — воскликнул аптекарь.

— Милостивый государь!..

Священник метнул при этом на фармацевта такой злобный взгляд, что тот струсил.

— Я хотел сказать, — совсем другим тоном заговорил Оме, — что нет более надежного средства привлечь сердца к религии, чем терпимость.

— А, вот это верно, вот это верно! — согласился добродушный аббат и опять сел на свое место.

Но он не просидел и трех минут. Когда он ушел, г-н Оме сказал лекарю:

— Это называется — жаркая схватка! Что, здорово я его поддел?.. Одним словом, послушайтесь вы моего совета, повезите госпожу Бовари на спектакль, хоть раз в жизни позлите вы этих ворон, черт бы их подрал! Если б меня кто-нибудь заменил, я бы поехал с вами. Но торопитесь! Лагарди дает только одно представление. У него ангажемент в Англию — ему там будут платить большие деньги. Говорят, это такой хапуга! Золото лопатой загребает! Всюду возит с собой трех любовниц и повара! Все великие артисты жгут свечу с обоих концов. Они должны вести беспутный образ жизни — это подхлестывает их фантазию. А умирают они в богадельне — в молодости им не приходит на ум, что надо копить про черный день. Ну-с, приятного аппетита! До завтра!

Мысль о спектакле засела в голове у Шарля. Он сейчас же заговорил об этом с женой, но она сперва отказалась, сославшись на то, что это утомительно, хлопотно, дорого. Шарль, против обыкновения, уперся, — он был уверен, что театр принесет ей пользу. Он полагал, что у нее нет серьезных причин для того, чтобы не ехать: мать недавно прислала им триста франков, на что он никак не рассчитывал, текущие долги составляли не очень значительную сумму, а до уплаты по векселям г-ну Лере было еще так далеко, что не стоило об этом и думать. Решив, что Эмма не хочет ехать из деликатности, Шарль донял ее своими приставаниями, и в конце концов она согласилась. На другой день в восемь утра они отбыли в «Ласточке».

Аптекаря ничто не удерживало в Ионвиле, но он считал своим долгом не покидать поста; выйдя проводить супругов Бовари, он тяжело вздохнул.

— Ну, добрый путь, счастливые смертные! — воскликнул Оме и, обратив внимание на платье Эммы — голубое, шелковое, с четырьмя воланами, — заметил: — Вы сегодня обворожительны. Вы будете иметь бешеный успех в Руане!

Дилижанс остановился на площади Бовуазин, у заезжего двора «Красный крест». На окраине лю-

бого провинциального города вы можете видеть такую же точно гостиницу: конюшни в таком добром старом трактире бывают просторные, номера — тесные, на дворе под забрызганными грязью колясками коммивояжеров подбирают овес куры, в деревянной подгнившей галерее зимними ночами потрескивают от мороза бревна; здесь всегда людно, шумно, стены ломятся от снеди, черные столы залиты кофе с коньяком, влажные скатерти — все в пятнах от дешевого красного вина, толстые оконные стекла засижены мухами; здесь со стороны улицы — кофейная, а на задворках — огород, и здесь всегда пахнет деревней, как от вырядившихся по-городски батраков. Шарль сейчас же помчался за билетами. Он долго путал литерные ложи с галеркой, кресла партера с креслами ложи, подробно расспрашивал, ничего не понимал, когда ему объясняли, обегал всех, начиная с контролера и кончая директором, вернулся на постоялый двор, опять пошел в кассу — и так несколько раз он измерил расстояние от театра до гостиницы.

Госпожа Бовари купила себе шляпу, перчатки, бутоньерку. Г-н Бовари очень боялся опоздать к началу, и, не доев бульона, они подошли к театру, когда двери были еще заперты.

XV

Толпа, разделенная балюстрадами на равные части, жалась к стене. На громадных афишах, развешанных по углам ближайших улиц, затейливо выведенные буквы слагались в одни и те же слова: «Лючия де Ламермур»... Лагарди... Опера...» День стоял погожий; было жарко; волосы слипались от пота; в воздухе мелькали носовые платки и вытирали красные лбы. Порою теплый ветер с реки чуть колыхал края тиковых навесов над дверями кабачков. А немного дальше было уже легче дышать — освежала ледяная струя воздуха, насыщенная запахом сала, кожи и растительного масла. То было дыхание улицы Шарет, застроенной большими темными складами, из которых выкатывали бочки.

Эмма, боясь оказаться в смешном положении, решила пройтись по набережной: всё лучше, чем стоять перед запертыми дверями театра. Шарль из предосторожности зажал билеты в кулак, а руку опустил в карман брюк и потом все время держал ее на животе.

Уже в вестибюле у Эммы сильно забилось сердце. Толпа устремилась по другому фойе направо,

а Эмма поднималась по лестнице в ложу первого яруса, и это невольно вызвало на ее лице тщеславную улыбку. Ей, как ребенку, доставляло удовольствие дотрагиваться до широких, обитых материей дверей, она жадно дышала театральною пылью. Наконец она села на свое место в ложе и выпрямилась с непринужденностью герцогини.

Зал постепенно наполнялся. Зрители вынимали из футляров бинокли. Завзятые театралы еще издали узнавали друг друга и раскланивались. Эти люди смотрели на искусство как на отдых от тревог коммерции, но и здесь они не забывали про свои «дела» и вели разговор о хлопке, спирте, индиго. Виднелись невыразительные, малоподвижные головы стариков; бледность и седины придавали старикам сходство с серебряными медалями, которые покрылись тусклым свинцовым налетом. Г-жа Бовари любовалась сверху молодыми хлыщами, красовавшимися в первых рядах партера, — они выставляли напоказ в низком вырезе жилета розовые или же бледно-зеленые галстуки и затянутыми в желтые перчатки руками опирались на позолоченный набалдашник трости.

Между тем в оркестре зажглись свечи. С потол-

ка спустилась люстра, засверкали ее граненые подвески, и в зале сразу стало веселее. Потом один за другим появились музыканты, и началась дикая какофония: гудели контрабасы, визжали скрипки, хрипели корнет-а-пистоны, пищали флейты и флажолеты. Но вот на сцене раздались три удара, загремели литавры, зазвучали трубы, занавес взвился, а за ним открылся ландшафт.

Сцена представляла опушку леса; слева протекал осененный ветвями дуба ручей. Поселяне и помещики с пледами через плечо спели хором песню охотников. Затем появился ловчий и, воздев руки к небу, стал вызывать духа зла. К нему присоединился другой, потом они ушли, и тогда снова запели охотники.

Эмма перенеслась в круг чтения своей юности, в царство Вальтера Скотта. Ей чудилось, будто из-за вересковых зарослей до нее сквозь туман долетает плач шотландской волынки, многократно повторяемый эхом. Она хорошо помнила роман, это облегчало ей понимание оперы, и она пыталась следить за развитием действия, но буря звуков рассеивала обрывки ее мыслей. Эмма была захвачена музыкой, все ее существо звучало в лад волнующим мелодиям, у нее было такое чувство, точно смычки ударяют по нервам.

Глаза разбегались, и она не могла налюбоваться костюмами, декорациями, действующими лицами, нарисованными деревьями, дрожавшими всякий раз, когда кто-нибудь проходил мимо, бархатными беретами, плащами, шпагами, — всеми созданиями фантазии, колыхавшимися на волнах гармонии, словно на воздушных волнах горнего мира. Но вот на авансцену вышла молодая женщина и бросила кошелек одетому в зеленое конюшему. Затем она осталась одна, и тут, подобно журчанью ручья или птичьему щебету, зазвучала флейта. Глядя перед собой сосредоточенным взглядом, Лючия начала каватину соль-мажор. Она пела о том, как жестока любовь, молила Бога даровать ей крылья. Эмма ведь тоже стремилась покинуть земную юдоль, унестись в объятиях ангела. И вдруг на сцену вышел Эдгар — Лагарди.

Он был бледен той очаровательной бледностью, которая придает лицам пылких южан строгость, чем-то напоминающую строгость мрамора. Его мощный стан облегала коричневая куртка. На левом боку у него болтался маленький кинжал с насечкой. Лагарди томно закатывал глаза и скалил белые зубы. Про него говорили, что когда-то давно он занимался починкой лодок

на биаррицком пляже и что однажды вечером, послушав, как он поет песни, в него влюбилась польская панна. Она потратила на него все свое состояние. А он бросил ее ради других женщин, и слава сердцееда упрочила его артистическую репутацию. Хитрый комедиант непременно вставлял в рекламы какую-нибудь красивую фразу о своем обаянии и о своем чувствительном сердце. Дивный голос, несокрушимая самоуверенность, темперамент при отсутствии тонкого ума, напыщенность, прикрывавшая отсутствие истинного чувства, — вот чем брал этот незаурядный шарлатан, в котором было одновременно что-то от парикмахера и что-то от тореадора.

С первой же сцены он обворожил зрителей. Он душил в объятиях Лючию, уходил от нее, возвращался, разыгрывал отчаяние, вспышки гнева сменялись у него жалобными стонами, исполненными глубокой нежности, из его обнаженного горла излетали ноты, в которых слышались рыдания и звуки поцелуя. Эмма, перегнувшись через барьер и впившись ногтями в бархатную обивку ложи, глядела на него не отрываясь. Сердце ее полнилось этими благозвучными жалобами, а они все лились и лились под аккомпанемент контрабасов, подобно стонам утопающих, которые не

может заглушить вой урагана. Ей было знакомо это упоение, эта душевная мука — она сама чуть было не умерла от них. Голос певицы казался ей отзвуком ее собственных дум, во всем этом пленительном вымысле отражалась какая-то сторона ее жизни. Но в действительности никто ее так не любил. Родольф не плакал, как Эдгар, когда они в последний вечер при лунном свете говорили друг другу: «До завтра! До завтра!..» Зал гремел от рукоплесканий; пришлось повторить всю стретту: влюбленные пели о цветах на своей могиле, о клятвах, о разлуке, о воле судеб, о надеждах. Когда же раздалось финальное «Прощай!», у Эммы вырвался пронзительный крик, и этот ее вопль слился с дрожью последних аккордов.

— За что вон тот синьор преследует ее? — спросил Бовари.

— Да нет же, это ее возлюбленный, — ответила Эмма.

— Но ведь он клянется отомстить ее семье, а тот, который только что пришел, сказал: «Лючию я люблю, и, кажется, взаимно». Да он и ушел под руку с ее отцом. Ведь уродец в шляпе с петушиным пером — это же ее отец?

Объяснения Эммы не помогли — во время речитативного дуэта, когда Гильберт сообщает

своему господину, Эштону, какие адские козни он замышляет, Шарль увидел обручальное кольцо, которое должно было ввести в заблуждение Лючию, и решил, что это подарок Эдгара. Впрочем, он откровенно сознался: ему непонятно, что, собственно, происходит на сцене, из-за музыки он не улавливает слов.

— Не все ли тебе равно? — сказала Эмма. — Молчи!

— Ты же знаешь, я люблю, чтобы мне все было ясно, — наклонившись к ней, начал было Шарль.

— Молчи! Молчи! — сердито прошептала Эмма.

Лючию вели под руки служанки; в волосах у нее была ветка флёрдоранжа; она казалась бледнее своего белого атласного платья. Эмма вызвала в памяти день своей свадьбы. Она перенеслась воображением туда, в море хлебов, на тропинку, по которой все шли в церковь. Зачем она не сопротивлялась, не умоляла, как Лючия? Напротив, она ликовала, она не знала, что впереди — пропасть... О, если б в ту пору, когда ее красота еще не утратила своей первоначальной свежести, когда к ней еще не пристала грязь супружеской жизни, когда она еще не разочаровалась в любви

запретной, кто-нибудь отдал ей свое большое, верное сердце, то добродетель, нежность, желания и чувство долга слились бы в ней воедино, и с высоты такого счастья она бы уже не пала! Но нет, это блаженство — обман, придуманный для того, чтобы разбитому сердцу было потом еще тяжелее. Искусство приукрашает страсти, но она-то изведала все их убожество! Эмма старалась об этом не думать; в воссоздании ее собственных горестей ей хотелось видеть лишь ласкающую взор фантазию, разыгрываемую в лицах, и когда в глубине сцены из-за бархатного занавеса появился мужчина в черном плаще, она внутренне даже улыбнулась снисходительной улыбкой.

От резкого движения его широкополая испанская шляпа упала на пол. Оркестр и певцы сейчас же начали секстет. Звонкий голос пылавшего гневом Эдгара покрывал все остальные. Баритон Эштона грозил Эдгару смертью, Лючия изливала свои жалобы на самых высоких нотах, Артур вел свою партию, модулируя в среднем регистре, первый бас священника гудел, точно орган, и слова его подхватывал чудесный хор женских голосов. Выстроившись в ряд, актеры повышенно жестикулировали. Из их уст излетали одновременно гнев, жажда мести, ревность,

страх, сострадание и изумление. Оскорбленный любовник размахивал шпагой. От прерывистого дыхания вздымался кружевной воротник на его груди; звеня золочеными шпорами на мягких сапожках с раструбами у щиколоток, он большими шагами ходил по сцене. Глядя на певца, Эмма думала, что в душе у него, наверно, неиссякаемый источник любви, иначе она не била бы из него такой широкой струей. Все ее усилия принизить его были сломлены — ее покорил поэтический образ. Черты героя она переносила на самого актера; она старалась представить себе его жизнь, жизнь шумную, необыкновенную, блистательную, и невольно думала о том, что таков был бы и ее удел, когда бы случай свел ее с ним. Они бы познакомились — и полюбили друг друга! Она путешествовала бы по всем европейским государствам, переезжая из столицы в столицу, деля с ним его тяготы и его славу, подбирая цветы, которые бросают ему, своими руками вышивая ему костюмы. Каждый вечер она пряталась бы в ложе, отделенной от зала позолоченною решеткою, и, замерев, слушала излияния его души, а душа его пела бы для нее одной; со сцены, играя, он смотрел бы на нее. Но Лагарди действительно на нее смотрел — это было какое-то наваждение!

Она готова была броситься к нему, ей хотелось укрыться в объятиях этого сильного человека, этой воплощенной любви, хотелось сказать ему, крикнуть: «Увези меня! Умчи меня! Скорей! Весь жар души моей — тебе, все мечты мои — о тебе!»

Занавес опустился.

Запах газа смешивался с человеческим дыханием, вееры только усиливали духоту. Эмма вышла в фойе, но там негде было яблоку упасть, и она с мучительным сердцебиением, ловя ртом воздух, вернулась в ложу и тяжело опустилась в кресло. Боясь, как бы у нее не было обморока, Шарль побежал в буфет за оршадом.

Немного погодя он с великим трудом протиснулся на свое место. Он держал обеими руками стакан, и его все время толкали под локти; кончилось тем, что он вылил почти весь оршад на плечи какой-то декольтированной руанки, а та, почувствовав, что по спине у нее течет жидкость, завопила так, словно ее резали. Ее супруг, владелец прядильной фабрики, напустился на косолапого медведя. Жена вытирала платком свое нарядное вишневого цвета платье из тафты, а он долго еще бурчал что-то насчет вознаграждения и возмещения убытков. Наконец Шарль снова очутился около своей жены.

— Честное слово, я уж думал, что не протолкаюсь! Народу!.. Народу!.. — отдуваясь, еле выговорил он и обратился к Эмме с вопросом: — Угадай, кого я там встретил? Леона!

— Леона?

— Ну да! Он сейчас придет с тобой повидаться.

Не успел Шарль договорить, как в ложу вошел бывший помощник ионвильского нотариуса.

Он протянул Эмме руку с бесцеремонностью светского человека. Г-жа Бовари, как бы подчинившись более сильной воле, машинально подала ему свою. Она не касалась его руки с того весеннего вечера, когда они, стоя у окна, прощались под шум дождя в зеленой листве. Однако, подумав о приличиях, она мгновенно стряхнула с себя столбняк воспоминаний и заговорила отрывистыми фразами:

— А, здравствуйте!.. Вот неожиданно! Какими судьбами?

— Тише! — крикнул кто-то из партера: третье действие уже началось.

— Так вы в Руане?

— Да.

— И давно?

— Вон! Вон!

На них оглядывались. Они замолчали.

Но Эмма уже не слушала музыку. Хор гостей, сцена Эштона со слугой, большой ре-мажорный дуэт — все это доносилось до нее откуда-то издалека, точно инструменты утратили звучность, а певцы ушли за кулисы. Она вспоминала игру в карты у фармацевта, поход к кормилице, чтение вслух в беседке, сидения у камелька, всю эту бедную событиями любовь, такую тихую и такую продолжительную, такую скромную, такую нежную и, однако, изгладившуюся из ее памяти. Зачем же он вернулся? Благодаря какому стечению обстоятельств он снова вошел в ее жизнь? Он сидел сзади, прижавшись плечом к перегородке. По временам его теплое дыхание шевелило ее волосы, и она вздрагивала.

— Вам это интересно? — спросил он, наклонившись к ней так близко, что кончик его уса коснулся ее щеки.

— О нет! Не очень! — небрежным тоном ответила она. Леон предложил уйти из театра и поесть где-нибудь мороженого.

— Подождем немножко! — сказал Бовари. — Волосы у нее распущены — сейчас, наверно, начнется самая драма.

Но сцена безумия не потрясла Эмму, игра певицы казалась ей неестественной.

Шарль слушал внимательно.

— Уж очень она кричит, — обращаясь к нему, сказала Эмма.

— Да... пожалуй... слегка переигрывает... — согласился Шарль; ему явно нравилась игра певицы, но он привык считаться с мнениями жены.

— Ну и душно же здесь!.. — со вздохом сказал Леон.

— Да, правда, невыносимо душно!

— Тебе нехорошо? — спросил Шарль.

— Я задыхаюсь. Пойдем!

Леон бережно набросил ей на плечи длинную кружевную шаль; все трое вышли на набережную и сели на вольном воздухе, перед кафе.

Сперва заговорили о болезни Эммы, причем она поминутно прерывала Шарля, — она уверяла, что г-ну Леону это скучно слушать. А Леон сказал, что в Нормандии через нотариуса проходят дела совсем иного характера, чем в Париже, и что он приехал на два года в Руан послужить в большой нотариальной конторе и набить себе руку. Затем спросил про Берту, про семейство Оме, про тетушку Лефрансуа. Больше в присутствии мужа говорить им было не о чем, и разговор скоро иссяк.

Мимо них шли по тротуару возвращавшиеся из театра зрители; некоторые из них мурлыкали себе под нос, а другие орали во все горло: «Ангел мой, Лючия!» Леон, желая блеснуть, заговорил о музыке. Он слышал Тамбурини, Рубини, Персиани, Гризи; рядом с ними захваленный Лагарди ничего не стоил.

— А все-таки говорят, что в последнем действии он совершенно изумителен, — посасывая шербет с ромом, прервал его Шарль. — Я жалею, что ушел, не дождавшись конца. Мне он все больше и больше нравился.

— Так ведь скоро будет еще одно представление, — заметил Леон.

На это Шарль возразил, что они завтра же уезжают.

— А может быть, ты побудешь тут без меня, моя кошечка? — обратился он к Эмме.

Эта неожиданно открывшаяся возможность заставила молодого человека изменить тактику, и он стал восторгаться игрой Лагарди в последней сцене: это что-то волшебное, неземное! Тогда Шарль начал настаивать:

— Ты вернешься в воскресенье. Да ну, не упрямься! Раз это тебе хоть сколько-нибудь на пользу, значит, нечего отказываться.

Столики между тем пустели; неподалеку от них стоял официант — Шарль понял намек и полез за кошельком; Леон схватил его за руку, расплатился и оставил официанту на чай две серебряные монетки, нарочно громко звякнув ими о мраморную доску стола.

— Мне, право, неловко, что вы за нас... — пробормотал Шарль.

Леон остановил его радушно-пренебрежительным жестом и взялся за шляпу.

— Итак, решено: завтра в шесть?

Шарль снова начал уверять, что ему-то никак нельзя, а вот Эмма вполне может...

— Дело в том, что... — запинаясь, проговорила она с какой-то странной усмешкой, — я сама еще не знаю...

— Ну, ладно, у тебя есть время подумать, там посмотрим, утро вечера мудренее, — рассудил Шарль и обратился к Леону, который пошел их провожать: — Ну, вы теперь опять в наших краях, — надеюсь, будете приезжать к нам обедать.

Молодой человек охотно согласился, тем более что ему все равно надо было съездить в Ионвиль по делам конторы. Распрощался он с г-ном и г-жой Бовари у пассажа «Сент-Эрблан», как раз когда на соборных часах пробило половину двенадцатого.

Часть третья

I

Леон, изучая право, довольно часто заглядывал в «Хижину» и даже пользовался большим успехом у гризеток, находивших, что он «очень мило себя держит». Самый приличный из всех студентов, он стриг волосы не слишком длинно и не слишком коротко, не проедал первого числа деньги, присланные на три месяца, и был в хороших отношениях с профессорами. Излишеств он себе не позволял по своему малодушию и из осторожности.

Когда Леон занимался днем у себя в комнате или вечером под липами Люксембургского сада, на память ему приходила Эмма, он задумывался и ронял Свод законов. Но мало-помалу его чувство к ней ослабело, на него наслоились иные желания, хотя и не совсем заглушили его. Леон еще не утратил надежду; неясное предчувствие манило его из далей будущего, точно золотой плод, качающийся на ветке сказочного дерева.

Когда же он встретился с Эммой после трехлетней разлуки, страсть его проснулась,. Он решил, что пора сойтись с этой женщиной. К тому же веселые компании, в которых ему приходилось

бывать, придали ему развязности, и теперь, вернувшись в провинцию, он уже смотрел свысока на всех, кто не ступал в лакированных ботинках по асфальту столичных улиц. Разумеется, перед парижанкой в кружевах или же войдя в салон знаменитого ученого, украшенного орденами и с собственным выездом, бедный помощник нотариуса трусил бы, как школьник. Но здесь, на руанской набережной, с женой лекаришки он не стеснялся, он знал заранее, что обольстит ее. Самонадеянность человека зависит от той среды, которая его окружает: на антресолях говорят иначе, нежели на пятом этаже, добродетель богатой женщины ограждена всеми ее кредитными билетами, подобно тому как ее корсет поддерживают косточки, вставленные в подкладку.

Простившись вечером с супругами Бовари, Леон пошел за ними следом. Обнаружив, что они остановились в «Красном кресте», он вернулся домой и всю ночь потом обдумывал план.

На другой день, часов около пяти, чувствуя, как что-то давит ему горло, с помертвевшим лицом, исполненный решимости труса, той решимости, которая уже ни перед чем не останавливается, он вошел на кухню постоялого двора.

— Барина нет, — объявил слуга.

Леон решил, что это добрый знак. Он поднялся по лестнице. Его появление ничуть не смутило Эмму; напротив, она извинилась, что забыла сказать, где они сняли номер.

— А я догадался! — воскликнул Леон.

— То есть как?

Он ответил, что пошел наугад, что сюда его привело чутье. Эмма заулыбалась — тогда Леон, поняв, что сказал глупость, тут же сочинил другую версию: целое утро он искал ее по всем гостиницам.

— Итак, вы решили остаться? — спросил он.

— Да, — ответила она, — и напрасно. Нехорошо привыкать к недоступным удовольствиям, когда голова пухнет от забот...

— О, я вас понимаю!..

— Нет, вы этого понять не можете — вы не женщина!

Но ведь и у мужчин есть свои горести. Так, философствуя, втянулись они в беседу. Эмма долго говорила о том, как мелки земные страсти, и о том, что сердце человека обречено на вечное одиночество.

Чтобы порисоваться, а быть может, наивно подражая своим любимым меланхолическим героям, молодой человек сказал, что его занятия

ему опротивели. Юриспруденцию он ненавидит, его влечет к себе другое поприще, а мать в каждом письме докучает ему своими наставлениями. Они все яснее говорили о том, почему им так тяжело, и это растущее взаимодоверие действовало на них возбуждающе. Но все же быть откровенными до конца они не решались — они старались найти такие слова, которые могли бы только навести на определенную мысль. Эмма так и не сказала, что любила другого; Леон не признался, что позабыл ее.

Быть может, Леон теперь и не помнил об ужинах с масками после бала, а Эмма, конечно, не думала о том, как она утром бежала по траве на свидание в усадьбу своего любовника. Уличный шум почти не долетал до них; в этом номерке, именно потому, что он был такой тесный, они чувствовали себя как-то особенно уединенно. Эмма, в канифасовом пеньюаре, откинулась на спинку старого кресла, желтые обои сзади нее казались золотым фоном, в зеркале отражались ее волосы с белой полоской прямого пробора, из-под прядей выглядывали мочки ушей.

— Ах, простите! — сказала она. — Вам, верно, наскучили мои вечные жалобы!

— Да нет, что вы, что вы!

— Если б вы знали, о чем я всегда мечтала! — воскликнула Эмма, глядя в потолок своими прекрасными глазами, в которых вдруг заблестели слезинки.

— А я? О, я столько выстрадал! Я часто убегал из дому, ходил, бродил по набережной, старался оглушить себя шумом толпы и все никак не мог отделаться от наваждения. На бульваре я видел у одного торговца эстампами итальянскую гравюру с изображением Музы. Муза в тунике, с незабудками в распущенных волосах, глядит на луну. Какая-то сила неудержимо влекла меня к ней. Я часами простаивал перед этой гравюрой. Муза была чуть-чуть похожа на вас, — дрогнувшим голосом добавил Леон.

Эмма, чувствуя, как губы у нее невольно складываются в улыбку, отвернулась.

— Я часто писал вам письма и тут же их рвал, — снова заговорил Леон.

Она молчала.

— Я мечтал: а вдруг вы приедете в Париж! На улицах мне часто казалось, что я вижу вас. Я бегал за всеми фиакрами, в которых мелькал кончик шали, кончик вуалетки, похожей на вашу...

Эмма, видимо, решила не прерывать его. Скрестив руки и опустив голову, она рассматривала

банты своих атласных туфелек, и пальцы ее ног по временам шевелились.

Наконец она вздохнула.

— А все же нет ничего печальнее моей участи: моя жизнь никому не нужна. Если бы от наших страданий кому-нибудь было легче, то мы бы, по крайней мере, утешались мыслью о том, что мы жертвуем собой ради других.

Леон стал превозносить добродетель, долг и безмолвное самоотречение, оказывается, он тоже ощущал неодолимую потребность в самопожертвовании, но не мог удовлетворить ее.

— Мне очень хочется быть сестрой милосердия, — сказала она.

— Увы! — воскликнул Леон. — У мужчин такого святого призвания нет. Я не вижу для себя занятия... пожалуй, кроме медицины...

Едва заметно пожав плечами, Эмма стала рассказывать о своей болезни: ведь она чуть не умерла! Как жаль! Смерть прекратила бы ее страдания. Леон поспешил признаться, что он тоже мечтает только о покое могилы. Однажды вечером ему будто бы даже вздумалось составить завещание, и в этом завещании он просил, чтобы к нему в гроб положили тот прелестный коврик с бархатной каемкой, который ему когда-то

подарила Эмма. Обоим в самом деле хотелось быть такими, какими они себя изображали: оба создали себе идеал и к этому идеалу подтягивали свое прошлое. Слова — это волочильный стан, на котором можно растянуть любое чувство.

Однако выдумка с ковриком показалась ей неправдоподобной.

— Зачем же? — спросила она.

— Зачем? — Леон замялся. — Затем, что я вас так любил! Порадовавшись, что самый трудный барьер взят, Леон искоса взглянул на нее.

С ним произошло то же, что происходит на небе, когда ветер вдруг разгонит облака. Грустные думы, находившие одна на другую и омрачавшие голубые глаза Леона, как будто бы рассеялись; его лицо сияло счастьем.

Он ждал.

— Я и раньше об этом догадывалась... — наконец произнесла Эмма.

И тут они начали пересказывать друг другу мелкие события того невозвратного времени, все радости и горести которого сводились для них теперь к одному-единственному слову. Он вспомнил беседку, увитую ломоносом, платья Эммы, обстановку ее комнаты, весь ее дом.

— А наши милые кактусы целы?

— Померзли зимой.

— Как часто я о них думал, если б вы только знали! Я представлял их себе точно такими, как в те летние утра, когда занавески на окнах были пронизаны солнечным светом... и когда ваши обнаженные руки мелькали в цветах.

— Милый друг! — сказала Эмма и протянула ему руку.

Леон прильнул к ней губами. Потом глубоко вздохнул.

— Внутри вас была тогда какая-то неведомая сила, и она действовала на меня неотразимо... — продолжал Леон. — Однажды я пришел к вам... Но вы, конечно, этого не помните.

— Нет, помню, — возразила Эмма. — Ну, дальше?

— Вы стояли внизу, в передней, на ступеньке, собирались уходить. На вас была шляпка с голубенькими цветочками. Вы мне не предложили проводить вас, а я все-таки, наперекор самому себе, пошел за вами. С каждой минутой мне все яснее становилось, что я допустил бестактность. Я плелся сзади, навязываться в провожатые мне было неловко, а уйти совсем я не мог. Когда вы заходили в лавки, я оставался на улице и смотрел в окно, как вы снимаете перчатки и отсчитываете

деньги. Но вот вы позвонили к госпоже Тюваш, вам открыли, за вами захлопнулась большая тяжелая дверь, а я стою перед ней как дурак.

Госпожа Бовари слушала его и дивилась тому, какая она старая; ей казалось, что все эти восстанавливаемые в памяти подробности удлиняют прожитую жизнь; чувства, которые она сейчас вызывала в себе, росли до бесконечности.

— Да, правда!.. Правда!.. Правда!.. — полузакрыв глаза, время от времени роняла Эмма.

На всех часах квартала Бовуазин, где что ни шаг, то пансион, церковь или заброшенный особняк, пробило восемь. Леон и Эмма молчали, но когда они обменивались взглядами, в ушах у них начинало шуметь, точно из их неподвижных зрачков исходил какой-то звук. Они взялись за руки, и прошлое, будущее, воспоминания и мечты — все для них слилось в одно ощущение тихого восторга. Стены в номере потемнели, но еще сверкали выплывавшие из мрака яркие краски четырех гравюр: на них были изображены сцены из «Нельской башни», а под гравюрами давались пояснения на испанском и французском языках. В окно был виден клочок немного неба между островерхими кровлями.

Эмма встала, зажгла на комоде две свечи и

опять села на свое место.

— Итак?.. — спросил Леон.

— Итак? — в тон ему проговорила Эмма.

Он все еще думал, как вновь начать прерванный разговор, но вдруг она сама обратилась к нему с вопросом:

— Отчего никто до сих пор не выражал мне таких чувств?

Молодой человек на это заметил, что возвышенную натуру не так-то легко понять. Он, однако, полюбил ее с первого взгляда и потом не раз приходил в отчаяние при мысли о том, как бы они могли быть счастливы, если б волею судеб встретились раньше и связали себя неразрывными узами.

— Я тоже иногда об этом думала, — призналась Эмма.

— Какая отрадная мечта! — прошептал Леон и, осторожно перебирая синюю бахрому ее длинного белого пояса, добавил: — Кто же нам мешает все начать сызнова?..

— Нет, мой друг, — сказала Эмма. — Я уже стара... а вы еще молоды... Забудьте обо мне! Вас еще полюбят... полюбите и вы.

— Но не так, как вас! — вырвалось у Леона.

— Какое вы еще дитя! Ну будем же благоразум-

ны! Я так хочу!

Она стала ему доказывать, что любить друг друга им нельзя, что они по-прежнему не должны выходить за пределы дружбы.

Искренне ли говорила Эмма? Этого она, конечно, и сама не знала — радость обольщения и необходимость обороны владели всем ее существом. Нежно глядя на молодого человека, она мягким движением отстраняла его дрожащие руки, робко пытавшиеся приласкать ее.

— Простите! — сказал он, отодвигаясь.

И в душу к Эмме закралась смутная тревога, внушенная этой его робостью, более опасной, нежели смелость Родольфа, который тогда, раскинув руки, двигался прямо к ней. Леон казался ей красивее всех на свете. От него веяло необыкновенной душевной чистотой. Его длинные тонкие загнутые ресницы поминутно опускались. Нежные щеки горели — Эмме казалось: желанием, и ее неудержимо тянуло дотронуться до них губами. Наконец Эмма посмотрела на часы.

— Боже, как поздно! — воскликнула она. — Заболтались мы с вами!

Он понял намек и стал искать шляпу.

— Я даже забыла о спектакле! А бедный Бовари нарочно меня здесь оставил! Я должна была пой-

ти с Лормо и с его женой — они живут на улице Большого моста.

Возможность упущена: завтра она уезжает.

— В самом деле? — спросил Леон.

— Да.

— Мне необходимо увидеться с вами еще раз, — заявил он. — Мне надо вам сказать...

— Что сказать?

— Одну... серьезную, важную вещь. Да нет, вы не уедете, это невозможно! Если б вы знали... Выслушайте меня.. Неужели вы меня не поняли? Неужели вы не догадались?..

— Вы же так прекрасно говорите! — сказала Эмма.

— А, вы шутите! Довольно, довольно! Сжальтесь, позвольте мне снова увидеться с вами... только один раз... один-единственный!

— Ну что ж!.. — Эмма запнулась и, словно спохватившись, воскликнула: — Но только не здесь!

— Где вам угодно.

— Хотите...

Подумав, она произнесла скороговоркой:

— Завтра, в одиннадцать утра, в соборе.

— Приду! — воскликнул он и схватил ее руки, но она отняла.

Оба теперь стояли, он — сзади нее; вдруг Эмма

опустила голову, — Леон сейчас же нагнулся и надолго припал губами к ее затылку.

— Да вы с ума сошли! Вы с ума сошли! — прерывисто и звонко смеясь, повторяла она, меж тем как Леон осыпал ее поцелуями.

Наконец Леон взглянул на нее через плечо — он словно искал в ее глазах одобрения. Но глаза ее выражали неприступное величие.

Леон сделал три шага назад, к выходу. Остановился на пороге. Дрожащим голосом прошептал:

— До завтра!

Она кивнула и, как птица, выпорхнула в соседнюю комнату.

Вечером Эмма написала Леону бесконечно длинное письмо, в котором отменяла свидание: между ними все кончено, для их же благополучия они не должны больше встречаться. Но, запечатав письмо, Эмма вспомнила, что не знает его адреса, и это поставило ее в тупик.

«Он придет на свидание, и я передам ему лично», — решила она.

Наутро Леон отворил окно, вышел на балкон и, напевая, до блеска начистил свои туфли. Он надел белые панталоны, тонкие носки, зеленый фрак, вылил на носовой платок все свои духи, потом завился у парикмахера, но, чтобы придать

своей прическе естественную элегантность, тут же взбил волосы.

«Еще очень рано», — подумал он, посмотрев на висевшие в парикмахерской часы с кукушкой: они показывали девять.

Он прочел старый модный журнал, вышел, закурил сигару, прошел три улицы и, решив, что уже пора, быстрыми шагами направился к собору.

Было чудесное летнее утро. В витринах ювелиров отсвечивало серебро; лучи солнца, косо падавшие на собор, скользили по изломам серых камней; в голубом небе вокруг стрельчатых башен летали стрижи; на шумной площади пахло цветами, окаймлявшими мостовую: розами, жасмином, гвоздикой, нарциссами и туберозами, росшими в беспорядке среди влажной зелени котовика и воробьиного проса; в центре площади журчал фонтан; под широкими зонтами, окруженные пирамидами дынь, простоволосые торговки завертывали в бумагу букеты фиалок.

Молодой человек взял букет. Первый раз в жизни покупал он цветы для женщины; он понюхал фиалки и невольно приосанился, словно это не ей собирался он поднести цветы, а себе самому.

Подумав, однако, что его могут увидеть, он

решительным шагом двинулся к собору.

У левых дверей на середине притвора под «Пляшущей Мариам» стоял в шляпе с султаном, при шпаге и с булавой, величественный, словно кардинал, и весь сверкающий, как дароносица, привратник.

Он шагнул навстречу Леону и с той приторно-ласковой улыбкой, какая появляется у церковнослужителей, когда они обращаются к детям, спросил:

— Вы, сударь, наверно, приезжий? Желаете осмотреть достопримечательности нашего храма?

— Нет, — ответил Леон.

Он обошел боковые приделы. Потом вышел на паперть. Эммы не было видно. Тогда он поднялся на хоры.

В чашах со святой водой отражался неф вместе с нижней частью стрельчатых сводов и кусочками цветных стекол. Отражение росписи разбивалось о мраморные края чаш, а дальше пестрым ковром ложилось на плиты пола. От трех раскрытых дверей тянулись три огромные полосы света. Время от времени в глубине храма проходил ризничий и, как это делают богомольные люди, когда торопятся, как-то боком опускался на ко-

лени напротив престола. Хрустальные люстры висели неподвижно. На хорах горела серебряная лампада. Порой из боковых приделов, откуда-то из темных углов, доносилось как бы дуновение вздоха, и вслед за тем стук опускающейся решетки гулко отдавался под высокими сводами.

Леон чинно прохаживался у самых стен. Никогда еще жизнь так не улыбалась ему, как сейчас. Вот-вот, украдкой ловя провожающие ее взгляды, взволнованная, очаровательная, войдет она, и он увидит ее золотую лорнетку, платье с воланами, прелестные ботинки, она предстанет перед ним во всем своем многообразном, чисто женском изяществе, которое ему еще внове, со всем невыразимым обаянием уступающей добродетели. Вся церковь расположится вокруг нее громадным будуаром; своды наклонятся, чтобы под их сенью она могла исповедаться в своей любви; цветные стекла засверкают еще ярче и осветят ее лицо; кадильницы будут гореть для того, чтобы она появилась, как ангел, в благовонном дыму.

Но она все не шла. Он сел на стул, и взгляд его уперся в синий витраж, на котором были изображены рыбаки с корзинами. Он долго, пристально разглядывал его, считал чешуйки на рыбах, пуговицы на одежде, а мысль его блуждала в поисках

Эммы.

Привратник стоял поодаль и в глубине души злобствовал на этого субъекта за то, что тот смеет без него осматривать собор. Он считал, что Леон ведет себя непозволительно, что это в своем роде воровство, почти святотатство.

Но вот по плитам зашуршал шелк, мелькнули поля шляпки и черная накидка... Она! Леон вскочил и побежал навстречу.

Эмма была бледна. Она шла быстро.

— Прочтите!.. — сказала Эмма, протягивая ему листок бумаги. — Ах нет, не надо!

Она отдернула руку, пошла в придел во имя Божьей Матери и, опустившись на колени подле стула, начала молиться.

Сначала эта ханжеская причуда возмутила молодого человека, затем он нашел своеобразную прелесть в том, что Эмма, точно андалузская маркиза, явившись на свидание, вся ушла в молитву, но это, видимо, затягивалось, и Леон скоро соскучился.

Эмма молилась, или, вернее, старалась молиться; она надеялась, что вот сейчас ее осенит, и она примет решение. Уповая на помощь свыше, она точно впитывала глазами блеск дарохранительницы, вбирала в себя аромат белых ночных

красавиц, распустившихся в больших вазах, и прислушивалась к тишине храма, но эта тишина лишь усиливала ее сердечную тревогу.

Наконец она встала с колен, и оба двинулись к выходу, как вдруг к ним подскочил привратник и спросил:

— Вы, сударыня, наверно, приезжая? Желаете осмотреть достопримечательности нашего храма?

— Нет! Нет! — крикнул Леон.

— Отчего же? — возразила Эмма.

Всей своей шаткой добродетелью она цеплялась за Деву Марию, за скульптуры, за могильные плиты, за малейший предлог.

Вознамерившись показать «все по порядку», привратник вывел их на паперть и показал булавой на выложенный из черных каменных плит большой круг, лишенный каких бы то ни было надписей и украшений.

— Вот это окружность замечательного амбуазского колокола, — торжественно начал привратник. — Он весил тысячу пудов. Равного ему не было во всей Европе. Мастер, который его отлил, умер от радости...

— Идемте! — прервал его Леон.

Привратник пошел дальше. Вступив в придел

Божьей Матери, он сделал широкий, всеохватывающий, приглашающий любоваться жест и с гордостью сельского хозяина, показывающего фруктовый сад, опять начал объяснять:

— Под этой грубой плитой покоятся останки Пьера де Брезе, сеньора де ла Варен и де Брисак, великого маршала Пуату и нормандского губернатора, павшего в бою при Монлери шестнадцатого июля тысяча четыреста шестьдесят пятого года.

Леон кусал губы и переступал с ноги на ногу.

— Направо вы видите закованного в латы рыцаря на вздыбленном коне — это его внук, Луи де Брезе, сеньор де Бреваль и де Моншове, граф де Молеврие, барон де Мони, камергер двора, ордена кавалер и тоже нормандский губернатор, скончавшийся, как удостоверяет надпись, в воскресенье двадцать третьего июля тысяча пятьсот тридцать первого года. Выше человек, готовый сойти в могилу, — это тоже он. Невозможно лучше изобразить небытие, — как ваше мнение?

Госпожа Бовари приставила к глазам лорнет. Леон смотрел на нее неподвижным взглядом; он даже не пытался что-нибудь сказать, сделать какое-нибудь движение — до того он был огорошен этой неудержимой и, в сущности, равнодушной

болтовней.

— Рядом с ним, — продолжал, как заведенная машина, гид, — плачущая женщина на коленях: это его супруга, Диана де Пуатье, графиня де Брезе, герцогиня де Валентинуа, родилась в тысяча четыреста девяносто девятом, умерла в тысяча пятьсот шестьдесят шестом году. Налево Пресвятая Дева с младенцем. Теперь посмотрите сюда — вот могилы Амбуазов. Оба они были руанскими архиепископами и кардиналами. Вот этот был министром при Людовике Двенадцатом. Он много сделал для собора. Завещал на бедных тридцать тысяч экю золотом.

Не умолкая ни на минуту, привратник втолкнул Леона и Эмму в ризницу и, раздвинув балюстрады, которыми она была заставлена, показал каменную глыбу, когда-то давно, по всей вероятности, представлявшую собой скверную статую.

— В былые времена, — с глубоким вздохом сказал привратник, — она украшала могилу Ричарда Львиное Сердце, короля Английского и герцога Нормандского. Это кальвинисты, сударь, привели ее в такое состояние. Они по злобе закопали ее в землю, под епископским креслом. Поглядите: через эту дверь его высокопреосвященство проходит в свои покои. Теперь посмотрите витражи

с изображением дракона, сраженного Георгием Победоносцем.

Но тут Леон вынул второпях из кармана серебряную монету и схватил Эмму за руку.

Привратник остолбенел — такая преждевременная щедрость была ему непонятна: ведь этому приезжему столько еще надо было осмотреть! И он крикнул ему вслед:

— Сударь! А шпиль! Шпиль!

— Нет, благодарю вас, — ответил Леон.

— Напрасно, сударь! Высота его равняется четыремстам сорока футам, он всего на девять футов ниже самой большой египетской пирамиды. Он весь литой, он...

Леон бежал. Ему казалось, что его любовь, за два часа успевшая окаменеть в соборе, теперь, словно дым, улетучивалась в усеченную трубу этой вытянутой в длину клетки, этого ажурного камина — трубу, причудливо высившуюся над собором, как нелепая затея сумасброда-медника.

— Куда же мы? — спросила Эмма.

Вместо ответа Леон прибавил шагу, и г-жа Бовари уже окунула пальцы в святую воду, как вдруг сзади них послышалось громкое пыхтенье, прерываемое мерным постукиваньем палки. Леон обернулся.

— Сударь!

— Что еще?

Привратник нес около двадцати толстых томов, поддерживая их животом, чтобы они не упали. Это были «труды о соборе».

— Болван! — буркнул Леон и выбежал из церкви.

На паперти шалил уличный мальчишка.

— Позови мне извозчика!

Мальчик полетел стрелой по улице Катр-Ван. На несколько минут Леон и Эмма остались вдвоем, с глазу на глаз, и оба были слегка смущены.

— Ах, Леон!.. Я, право, не знаю... Мне нельзя...

Она кокетничала. Потом сказала уже серьезно:

— Понимаете, это очень неприлично!

— Почему? — возразил Леон. — В Париже все так делают!

Это был для нее самый веский довод.

А извозчик все не показывался. Леон боялся, как бы она опять не пошла в церковь. Наконец подъехал извозчик.

— Выйдите хотя бы через северные двери! — крикнул им с порога привратник. — Увидите «Воскресение из мертвых», «Страшный суд», «Рай», «Царя Давида» и «Грешников в геенне огненной».

— Куда ехать? — осведомился кучер.

— Куда хотите! — подсаживая Эмму в карету, ответил Леон.

И громоздкая колымага пустилась в путь.

Она двинулась по улице Большого моста, миновала площадь Искусств, набережную Наполеона, Новый мост, и кучер осадил лошадь прямо перед статуей Пьера Корнеля.

— Пошел! — крикнул голос из кузова.

Лошадь рванула и, подхватив с горы, начинающейся на углу улицы Лафайета, галопом примчалась к вокзалу.

— Нет, прямо! — крикнул все тот же голос.

Выехав за заставу, лошадь затрусила по дороге, обсаженной высокими вязами. Извозчик вытер лоб, зажал между колен свою кожаную фуражку и, свернув к реке, погнал лошадь по берегу, мимо лужайки.

Некоторое время экипаж ехал вдоль реки, по вымощенному булыжником бечевнику, а потом долго кружил за островами, близ Уаселя.

Но вдруг он понесся через Катрмар, Сотвиль, Гранд-Шоссе, улицу Эльбеф и в третий раз остановился у Ботанического сада.

— Да ну, пошел! — уже злобно крикнул все тот же голос.

Снова тронувшись с места, экипаж покатил через Сен-Север, через набережную Кюрандье, через набережную Мёль, еще раз проехал по мосту, потом по Марсову полю и мимо раскинувшегося на зеленой горе больничного сада, где гуляли на солнышке старики в черных куртках. Затем поднялся по бульвару Буврёйль, пролетел бульвар Кошуаз и всю Мон-Рибуде до самого Городского спуска.

Потом карета повернула обратно и после долго еще колесила, но уже наугад, без всякой цели и направления. Ее видели в кварталах Сен-Поль и Лекюр, на горе Гарган, в Руж-Мар, на площади Гайярбуа, на улице Маладрери, на улице Динандери, у церквей Св. Романа, Св. Вивиана, Св. Маклу, Св. Никеза, возле таможни, возле нижней Старой башни, в Труа-Пип и у Главного кладбища. Извозчик бросал по временам со своих козел безнадежные взгляды на кабачки. Он не мог понять, что это за страсть — двигаться без передышки. Он несколько раз пробовал остановиться, но сейчас же слышал за собой грозный окрик. Тогда он снова принимался нахлестывать своих двух взмыленных кляч и уже не остерегался толчков, не разбирал дороги и все время на что-то наезжал; он впал в глубокое уныние и чуть не плакал

от жажды, от усталости и от тоски.

А на набережной, загроможденной бочками и телегами, на всех улицах, на всех перекрестках взоры обывателей были прикованы к невиданному в провинции зрелищу — к беспрерывно кружившей карете с опущенными шторами, непроницаемой, точно гроб, качавшейся из стороны в сторону, словно корабль на волнах.

Только однажды, за городом, в середине дня, когда солнце зажигало особенно яркие отблески на старых посеребренных фонарях, из-под желтой полотняной занавески высунулась голая рука и выбросила мелкие клочки бумаги; ветер подхватил их, они разлетелись и потом белыми мотыльками опустились на красное поле цветущего клевера.

Было уже около шести часов, когда карета остановилась в одном из переулков квартала Бовуазин; из нее вышла женщина под вуалью и, не оглядываясь, пошла вперед.

II

Придя в гостиницу, г-жа Бовари, к своему удивлению, не обнаружила на дворе дилижанса. Ивер, прождав ее пятьдесят три минуты, уехал.

Спешить ей было, собственно, некуда, но она дала Шарлю слово вернуться домой в этот день к вечеру. Шарль ее ждал, и она уже ощущала в душе ту малодушную покорность, которая для большинства женщин является наказанием за измену и в то же время ее искуплением.

Она быстро уложила вещи, расплатилась, наняла тут же, во дворе, кабриолет и, торопя кучера, подбадривая его, поминутно спрашивая, который час и сколько они уже проехали, в конце концов нагнала «Ласточку» на окраине Кенкампуа.

Прикорнув в уголке, Эмма тотчас закрыла глаза — и открыла их, когда дилижанс уже спустился с горы; тут она еще издали увидела Фелисите, стоявшую на часах подле кузницы. Ивер придержал лошадей, и кухарка, став на цыпочки, таинственно прошептала в окошко:

— Барыня, поезжайте прямо к господину Оме. Очень важное дело.

В городке, по обыкновению, все было тихо. На

тротуарах дымились тазы, в которых розовела пена; был сезон варки варенья, и весь Ионвиль запасался им на год. Но перед аптекой стояла жаровня с самым большим тазом; он превосходил своими размерами все прочие — так же точно лаборатория при аптеке должна быть больше кухни в обывательских домах, так же точно общественная потребность должна господствовать над индивидуальными прихотями.

Эмма вошла в дом. Большое кресло было опрокинуто; даже «Руанский светоч» валялся на полу между двумя пестиками. Эмма толкнула кухонную дверь и среди глиняных банок со смородиной, сахарным песком и рафинадом, среди весов на столах и тазов, поставленных на огонь, увидела всех Оме, от мала до велика, в передниках, доходивших им до подбородка, и с ложками в руках. Жюстен стоял, понурив голову, а фармацевт на него кричал:

— Кто тебя посылал в склад?

— Что такое? В чем дело?

— В чем дело? — подхватил аптекарь. — Мы варим варенье. Варенье кипит. В нем слишком много жидкости, того и гляди убежит, и я велю принести еще один таз. И вот он, лентяй, разгильдяй, снимает с гвоздя в моей лаборатории ключ

от склада!

Так г-н Оме называл каморку под крышей, заваленную аптекарскими приборами и снадобьями. Нередко он пребывал там в одиночестве и целыми часами наклеивал этикетки, переливал, перевязывал склянки. И смотрел он на эту каморку не как на кладовую, а как на истинное святилище, ибо оттуда исходили собственноручно им приготовленные крупные и мелкие пилюли, декокты, примочки и присыпки, распространявшие славу о нем далеко окрест. Никто, кроме него, не имел права переступать порог святилища. Г-н Оме относился к нему с таким благоговением, что даже сам подметал его. Словом, если в аптеке, открытой для всех, он тешил свое тщеславие, то склад служил ему убежищем, где он с сосредоточенностью эгоиста предавался своим любимым занятиям. Вот почему легкомысленный поступок Жюстена он расценивал как неслыханную дерзость. Он был краснее смородины и все кричал:

— Да, от склада! Ключ от кислот и едких щелочей! Схватил запасной таз! Таз с крышкой! Теперь я, может быть, никогда больше им не воспользуюсь! Наше искусство до того тонкое, что здесь имеет значение каждая мелочь! Надо же,

черт возьми, разбираться в таких вещах, нельзя для домашних, в сущности, надобностей употреблять то, что предназначено для надобностей фармацевтики! Это все равно что резать пулярку скальпелем, это все равно, как если бы судья...

— Да успокойся! — говорила г-жа Оме. Аталия тянула его за полы сюртука:

— Папа! Папа!

— А, черт! Оставьте вы меня, оставьте! — не унимался аптекарь. — Ты бы лучше лавочником заделался, честное слово! Ну что ж, круши все подряд! Ломай! Бей! Выпусти пиявок! Сожги алтею! Маринуй огурцы в склянках! Разорви бинты!

— Вы меня... — начала было Эмма.

— Сейчас!.. Знаешь, чем ты рисковал?.. Ты ничего не заметил в левом углу, на третьей полке? Говори, отвечай, изреки что-нибудь!

— Нне... не знаю, — пролепетал подросток.

— Ах, ты не знаешь! Ну, а я знаю! Ты видел банку синего стекла, залитую желтым воском, банку с белым порошком, на которой я своей рукой написал «Опасно!»? Ты знаешь, что в ней? Мышьяк! А ты до него дотронулся! Ты взял таз, который стоял рядом!

— Мышьяк? Рядом? — всплеснув руками, воскликнула г-жа Оме. — Да ты всех нас мог

отравить!

Тут все дети заревели в голос, как будто они уже почувствовали дикую боль в животе.

— Или отравить больного! — продолжал аптекарь. — Ты что же, хотел, чтобы я попал на скамью подсудимых? Чтобы меня повлекли на эшафот? Разве тебе не известно, какую осторожность я соблюдаю в хранении товаров, несмотря на свой колоссальный опыт? Мне становится страшно при одной мысли о том, какая на мне лежит ответственность! Правительство нас преследует, а действующее у нас нелепое законодательство висит у нас над головой, как дамоклов меч!

Эмма уже не спрашивала, зачем ее звали, а фармацевт, задыхаясь от волнения, все вопил:

— Вот как ты нам платишь за нашу доброту! Вот как ты благодаришь меня за мою истинно отеческую заботу! Если б не я, где бы ты был? Что бы ты собой представлял? Кто тебя кормит, воспитывает, одевает, кто делает все для того, чтобы со временем ты мог занять почетное место в обществе? Но для этого надо трудиться до кровавого пота, как говорят — не покладая рук. *Fabricando fit bafer, age quod agis*[10].

---

[10] Примечания: 10

Трудом создается мастер, — так делай, что делаешь (лат.).

От злости он перешел на латынь. Он бы заговорил и по-китайски и по-гренландски, если б только знал эти языки. Он находился в таком состоянии, когда душа бессознательно раскрывается до самого дна — так в бурю океан взметает и прибрежные водоросли, и песок своих пучин.

— Я страшно жалею, что взял тебя на воспитание! — бушевал фармацевт. — Вырос в грязи да в бедности — там бы и коптел! Из тебя только пастух и выйдет. К наукам ты не способен! Ты этикетку-то путем не наклеишь! А живешь у меня на всем готовеньком, как сыр в масле катаешься!

Наконец Эмма обратилась к г-же Оме:

— Вы меня звали...

— Ах, боже мой! — с печальным видом прервала ее добрая женщина. — Уж и не знаю, как вам сказать... Такое несчастье!

Она не договорила. Аптекарь все еще метал громы и молнии:

— Вычисти! Вымой! Унеси! Да ну, скорей же!

С этими словами он так тряхнул Жюстена, что у того выпала из кармана книжка.

Мальчик нагнулся. Фармацевт опередил его, поднял книгу и, взглянув, выпучил глаза и разинул рот.

– *Супружеская... любовь!*— нарочито медленно

произнес он. — Хорошо! Очень хорошо! Прекрасно! И еще с картинками!.. Нет, это уже слишком!

Госпожа Оме подошла поближе.

— Не прикасайся!

Детям захотелось посмотреть картинки.

— Уйдите! — властно сказал отец. И дети ушли.

Некоторое время фармацевт с раскрытой книжкой в руке, тяжело дыша, весь налившись кровью, вращая глазами, шагал из угла в угол. Затем подошел вплотную к своему ученику и скрестил руки:

— Значит, ты еще вдобавок испорчен, молокосос несчастный? Смотри, ты на скользкой дорожке! А ты не подумал, что эта мерзкая книга может попасть в руки моим детям, заронить в них искру порока, загрязнить чистую душу Аталии, развратить Наполеона: ведь он уже не ребенок! Ты уверен, что они ее не читали? Можешь ты мне поручиться...

— Послушайте, господин Оме, — взмолилась Эмма, — ведь вы хотели мне что-то сказать...

— Совершенно верно, сударыня... Ваш свекор умер!

В самом деле, третьего дня старик Бовари, вставая из-за стола, скоропостижно скончался

от апоплексического удара. Переусердствовав в своих заботах о впечатлительной натуре Эммы, Шарль поручил г-ну Оме как можно осторожнее сообщить ей эту страшную весть.

Фармацевт заранее обдумал, округлил, отшлифовал, ритмизовал каждую фразу, и у него получилось настоящее произведение искусства в смысле бережности, деликатности, постепенности переходов, изящества оборотов речи, но в последнюю минуту гнев разметал всю его риторику.

Подробности Эмму не интересовали, и она ушла, а фармацевт вновь принялся обличать Жюстена. Однако он понемногу успокаивался и, обмахиваясь феской, уже отеческим тоном читал нотацию:

— Я не говорю, что эта книга вредна во всех отношениях. Ее написал врач. Его труд содержит ряд научных положений, и мужчине их не худо знать. Я бы даже сказал, что мужчина должен их знать. Но всему свое время, всему свое время! Станешь мужчиной, выработается у тебя темперамент — тогда сделай одолжение!

* * *

Шарль поджидал Эмму. Как только она постучала в дверь, он, раскрыв объятия, бросился к ней навстречу, со слезами в голосе проговорил:

— Ах, моя дорогая!..

И осторожно наклонился поцеловать ее. Но прикосновение его губ напомнило ей поцелуи другого человека, и она, вздрогнув всем телом, закрыла лицо рукой.

Все же она нашла в себе силы ответить:

— Да, я знаю... я знаю...

Шарль показал ей письмо от матери, в котором та без всяких сантиментов извещала о случившемся. Она только жалела, что ее муж не причастился перед смертью: он умер в Дудвиле, на улице, на пороге кофейной, после кутежа со своими однокашниками — отставными офицерами.

Эмма отдала письмо Шарлю. За обедом она из приличия разыграла отвращение к пище. Шарль стал уговаривать ее — тогда она уже без всякого стеснения принялась за еду, а он с убитым видом, не шевелясь, сидел против нее.

По временам он поднимал голову и смотрел на нее долгим и скорбным взглядом.

— Хоть бы раз еще увидеть его! — со вздохом произнес Шарль.

Она молчала. Наконец, поняв, что надо же что-то сказать, спросила:

— Сколько лет было твоему отцу?

— Пятьдесят восемь!

— А!

На этом разговор кончился.

Через четверть часа Шарль проговорил:

— Бедная мама!.. Что-то с ней теперь будет!

Эмма пожала плечами.

Ее молчаливость Шарль объяснял тем, что ей очень тяжело; он был тронут ее мнимым горем и, чтобы не бередить ей рану, делал над собой усилие и тоже молчал. Наконец взял себя в руки и спросил:

— Тебе понравилось вчера?

— Да.

Когда убрали скатерть, ни Шарль, ни Эмма не встали из-за стола. Она вглядывалась в мужа, и это однообразное зрелище изгоняло из ее сердца последние остатки жалости к нему. Шарль казался ей невзрачным, слабым, никчемным человеком, короче говоря — полнейшим ничтожеством. Куда от него бежать? Как долго тянется вечер! Что-то сковывало все ее движения, точно

она приняла опиуму.

В передней раздался сухой стук костыля. Это Ипполит тащил барынины вещи. Перед тем как сложить их на пол, он с величайшим трудом описал четверть круга своей деревяшкой.

«А он уже забыл!» — глядя, как с рыжих косм несчастного калеки стекают на лоб крупные капли пота, подумала про мужа Эмма.

Бовари рылся в кошельке, отыскивая мелочь. Он, видимо, не отдавал себе отчета, сколь унизителен был для него один вид этого человека, стоявшего олицетворенным укором его непоправимой бездарности.

— Какой хорошенький букетик! — увидев на камине фиалки Леона, заметил лекарь.

— Да, — равнодушно отозвалась Эмма. — Я сегодня купила его у... у нищенки.

Шарль взял букет и стал осторожно нюхать фиалки; прикосновение к ним освежало его покрасневшие от слез глаза. Эмма сейчас же выхватила у него цветы и поставила в воду.

На другой день приехала г-жа Бовари-мать. Они с сыном долго плакали. Эмма, сославшись на домашние дела, удалилась.

Еще через день пришлось заняться трауром. Обе женщины уселись с рабочими шкатулками в

беседке, над рекой.

Шарль думал об отце и сам удивлялся, что так горюет о нем: прежде ему всегда казалось, что он не очень к нему привязан. Г-жа Бовари-мать думала о своем муже. Теперь она охотно бы вернула даже самые мрачные дни своей супружеской жизни. Бессознательное сожаление о том, к чему она давно привыкла, скрашивало все. Иголка беспрестанно мелькала у нее в руке, а по лицу старухи время от времени скатывались слезы и повисали на кончике носа. Эмма думала о том, что только двое суток назад они с Леоном, уединясь от всего света, полные любовью, не могли наглядеться друг на друга. Она пыталась припомнить мельчайшие подробности минувшего дня. Но ей мешало присутствие свекрови и мужа. Ей хотелось ничего не слышать, ничего не видеть; она боялась нарушить цельность своего чувства, и тем не менее вопреки ей самой чувство ее под напором внешних впечатлений постепенно распылялось.

Эмма распарывала подкладку платья, и вокруг нее сыпались лоскутки. Старуха, не поднимая головы, лязгала ножницами, а Шарль в веревочных туфлях и старом коричневом сюртуке, который теперь заменял ему халат, сидел, держа руки в

карманах, и тоже не говорил ни слова. Берта, в белом переднике, скребла лопаткой усыпанную песком дорожку.

Внезапно отворилась калитка, и вошел торговец тканями г-н Лере.

Он пришел предложить свои услуги «в связи с печальными обстоятельствами». Эмма ответила, что она как будто ни в чем не нуждается. Однако на купца это не произвело впечатления.

— Простите великодушно, — сказал он Шарлю, — но мне надо поговорить с вами наедине. — И, понизив голос, добавил: — Относительно того дела... Помните?

Шарль покраснел до ушей.

— Ах да!.. Верно, верно! — пробормотал он и с растерянным видом обратился к жене: — А ты бы... ты бы не могла, дорогая?..

Эмма, видимо, поняла, о чем он ее просит. Она сейчас же встала, а Шарль сказал матери:

— Это так, пустяки! Какая-нибудь житейская мелочь. Опасаясь выговора, он решил скрыть от нее всю историю с векселем.

Как только Эмма оказалась с г-ном Лере вдвоем, тот без особых подходов поздравил ее с получением наследства, а потом заговорил о вещах посторонних: о фруктовых деревьях, об урожае, о

своем здоровье, а здоровье его было «так себе, ни два, ни полтора». Да и с чего бы ему быть здоровым? Хлопот у него всегда полон рот, и все-таки он еле сводит концы с концами.

Эмма не прерывала его. Она так соскучилась по людям за эти два дня!

— А вы уже совсем поправились? — продолжал Лере. — Что тогда ваш супруг из-за вас пережил! Я своими глазами видел! Славный он человек! Хотя неприятности у нас с ним были.

Эмма спросила, какие именно; надо заметить, что Шарль не сказал ей, как он был удивлен, узнав про ее покупки.

— Да вы же знаете! — воскликнул Лере. — Все из-за вашего каприза, из-за чемоданов.

Надвинув шляпу на глаза, заложив руки за спину, улыбаясь и посвистывая, он нагло смотрел ей в лицо. Она ломала себе голову: неужели он что-то подозревает?

— В конце концов мы с ним столковались, — снова заговорил он. — Я и сейчас пришел предложить ему полюбовную сделку.

Он имел в виду переписку векселя. А там, как господину Бовари будет угодно. Ему самому не стоит беспокоиться, у него и так голова кругом идет.

— Всего лучше, если б он поручил это кому-нибудь другому — ну хоть вам, например. Пусть он только напишет доверенность, а уж мы с вами сумеем обделать делишки...

Эмма не понимала. Лере замолчал. Потом он заговорил о своей торговле и вдруг заявил, что Эмма непременно должна что-нибудь у него взять. Он пришлет ей двенадцать метров черного барежа на платье.

— То, что на вас, хорошо для дома. А вам нужно платье для визитов. Я это понял с первого взгляда. Глаз у меня наметанный.

Материю он не прислал, а принес сам. Некоторое время спустя пришел еще раз, чтобы получше отмерить. А потом стал заглядывать под разными предлогами, и каждый раз был обходителен, предупредителен, раболепствовал, как сказал бы Оме, и не упускал случая шепнуть Эмме несколько слов насчет доверенности. Про вексель он молчал. Эмма тоже о нем не вспоминала. Еще когда она только начала выздоравливать, Шарль как-то ей на это намекнул, но Эмму одолевали в ту пору мрачные думы, и намеки Шарля мгновенно вылетели у нее из головы. Вообще она предпочитала пока не заводить разговора о деньгах. Свекровь была этим удивлена и приписывала

такую перемену тем религиозным настроениям, которые появились у Эммы во время болезни.

Но как только свекровь уехала, Эмма поразила Бовари своей практичностью. Она предлагала ему то навести справки, то проверить закладные, то прикинуть, что выгоднее: продать именно с публичного торга или же не продавать, но взять на себя долги. Она кстати и некстати употребляла специальные выражения, произносила громкие фразы о том, что в денежных делах надо быть особенно аккуратным, что надо все предвидеть, что надо думать о будущем, находила все новые и новые трудности, связанные со вступлением в права наследия, и в конце концов показала Шарлю образец общей доверенности на «распоряжение и управление всеми делами, производство займов, выдачу и передачу векселей, уплату любых сумм и т. д.». Уроки г-на Лере пошли ей на пользу.

Шарль с наивным видом спросил, кто ей дал эту бумагу.

— Гильомен, — ответила Эмма и, глазом не моргнув, добавила: — Я ему не доверяю. Вообще нотариусов не хвалят. Надо бы посоветоваться... Но мы знакомы только... Нет, не с кем!

— Разве что с Леоном... — подумав, проговорил

Шарль. Можно было бы написать ему, да уж очень это сложно.

Эмма сказала, что она сама съездит в Руан. Шарль поблагодарил, но не согласился. Она стояла на своем. После взаимных учтивостей Эмма сделала вид, что сердится не на шутку.

— Оставь, пожалуйста, я все равно поеду! — заявила она.

— Какая ты милая! — сказал Шарль и поцеловал ее в лоб.

На другой же день Эмма, воспользовавшись услугами «Ласточки», отправилась в Руан советоваться с Леоном. Пробыла она там три дня.

III

Это были наполненные, упоительные, чудные дни — настоящий медовый месяц.

Эмма и Леон жили в гостинице «Булонь», на набережной: закрытые ставни, запертые двери, цветы на полу, сироп со льдом по утрам...

Перед вечером они брали крытую лодку и уезжали обедать на остров.

То был час, когда в доках по корпусам судов стучали молотки конопатчиков. Меж деревьев клубился дым от вара, а по воде плыли похожие на листы флорентийской бронзы большие жирные пятна, неравномерно колыхавшиеся в багряном свете заката.

Лодка двигалась вниз по течению, задевая верхом длинные, наклонно спускавшиеся канаты причаленных баркасов.

Городской шум, в котором можно было различить скрип телег, голоса, тявканье собак на палубах, постепенно удалялся. Эмма развязывала ленты шляпки, и вскоре лодка приставала к острову.

На дверях ресторанчика сохли рыбачьи сети, почерневшие от воды. Эмма и Леон усаживались

в одной из комнат нижнего этажа, заказывали жареную корюшку, сливки, вишни. Потом валялись на траве, целовались под тополями. Здесь они, кажется, могли бы жить вечно, как два Робинзона, — им было так хорошо вдвоем, что они в целом мире не могли себе представить ничего прекраснее этого островка. Не в первый раз видели они деревья, голубое небо, траву, слышали, как плещут волны и как шелестят листья от ветра, но прежде они ничего этого по замечали; до сих пор природа для них как бы не существовала; вернее, они стали ценить ее красоту лишь после того, как были утолены их желания.

С наступлением темноты они возвращались в город. Лодка долго плыла мимо острова. Окутанные сумраком, они сидели в глубине и молчали. В железных уключинах, усиливая ощущение тишины, мерно, будто ход метронома, постукивали четырехугольные весла, а сзади, под неподвижным рулем, все время журчала вода.

Как-то раз показалась луна. Эмма и Леон не преминули сказать несколько подходящих к случаю фраз о том, какое это печальное и поэтичное светило. Эмма даже запела:

Ты помнишь, плыли мы ночной порой...

Ее слабый, но приятный голос тонул в шуме волн. Переливы его, точно бьющие крыльями птицы, пролетали мимо Леона, и ветер относил их вдаль.

Озаренная луной, светившей в раскрытое оконце, Эмма сидела напротив Леона, прислонившись к перегородке. Черное платье, расходившееся книзу веером, делало ее тоньше и выше. Голову она запрокинула, руки сложила, глаза обратила к небу. Порою тень прибрежных ракит закрывала ее всю, а затем, вновь облитая лунным светом, она, точно призрак, выступала из мрака.

На дне лодки около Эммы Леон подобрал пунцовую шелковую ленту.

Лодочник долго рассматривал ее и наконец сказал:

— Я на днях катал целую компанию — наверно, кто-нибудь из них и обронил. Такие всё озорники подобрались — что господа, что дамы, приехали с пирожными, с шампанским, с музыкой, и пошла потеха! Особенно один, высокий, красивый, с усиками — такой шутник! Они всё к нему: «Расскажи да расскажи нам что-нибудь!..» Как же это они его называли?.. Не то Адольф, не то Додольф...

Эмма вздрогнула.

— Ты не простудилась? — придвигаясь ближе,

спросил Леон.

— Не беспокойся! Ночь прохладная, — наверно, от этого.

— И, по всему видать, женскому полу он спуску не дает, — должно быть, полагая, что невежливо обрывать разговор, тихо добавил старый моряк.

Затем он поплевал себе на руки и опять налег на весла.

И все же настал час разлуки! Расставаться им было нелегко. Условились, что Леон будет писать на имя тетушки Роле. Эмма дала ему совет относительно двойных конвертов и обнаружила при этом такое знание дела, что Леон не мог не подивиться ее хитроумию в сердечных делах.

— Так ты говоришь, там все в порядке? — поцеловав его в последний раз, спросила она.

— Да, конечно!

«Что ей далась эта доверенность?» — немного погодя, шагая по улице один, подумал Леон.

IV

Скоро Леон стал подчеркивать перед товарищами свое превосходство; он избегал теперь их общества и запустил дела. Он ждал писем от Эммы, читал и перечитывал их. Писал ей. Воскрешал ее образ всеми силами страсти и воспоминаний. Разлука не уменьшила жажды видеть ее — напротив, только усилила, и вот однажды, в субботу утром, он удрал из конторы.

Увидев с горы долину, колокольню и вертящийся на ней жестяной флажок флюгера, он ощутил в себе то смешанное чувство удовлетворения, утоленного честолюбия и эгоистического умиления, которое, вероятно, испытывает миллионер, когда возвращается в родную деревню.

Он обошел ее дом. В кухне горел огонь. Он стал на часах: не мелькнет ли за занавесками ее тень? Но тень так и не показалась.

Тетушка Лефрансуа при виде его начала ахать и охать, нашла, что он «еще подрос и похудел»; Артемиза между тем нашла, что он «поздоровел и загорел».

По старой памяти он пообедал в маленькой зале, но на этот раз один, без податного инспектора:

г-ну Бине «стало невмоготу» дожидаться «Ласточки», и обедал он теперь на целый час раньше, то есть ровно в пять, и все же постоянно ворчал, что «старая калоша запаздывает».

Наконец Леон набрался храбрости — он подошел к докторскому дому и постучал в дверь. Г-жа Бовари сидела у себя в комнате и вышла только через четверть часа. Г-н Бовари был, кажется, очень рад его видеть, но ни в тот вечер, ни на другой день не отлучился из дому.

Леон увиделся с Эммой наедине лишь поздно вечером, в проулке за садом, в том самом проулке, где она встречалась с другим! Они разговаривали под грозой, при блеске молний, прикрываясь зонтом.

Расставаться им было нестерпимо больно.

— Лучше смерть! — ломая руки и горько плача, говорила Эмма. — Прощай!.. Прощай!.. Когда-то мы еще увидимся?..

Они разошлись было в разные стороны и снова бросились друг другу в объятия. И тут она ему обещала придумать какой-нибудь способ, какой-нибудь постоянный предлог встречаться без помех, по крайней мере, раз в неделю. Эмма не сомневалась в успехе. Да и вообще она бодро смотрела вперед. Скоро у нее должны были по-

явиться деньги.

Имея это в виду, она купила для своей комнаты две желтые занавески с широкой каймой, — как уверял г-н Лере, «по баснословно дешевой цене». Она мечтала о ковре — г-н Лере сказал, что это «совсем не так дорого», и с присущей ему любезностью взялся раздобыть его. Теперь она уже никак не могла обойтись без его услуг. Она посылала за ним по двадцать раз на день, и он, ни слова не говоря, бросал ради нее все дела. Загадочно было еще одно обстоятельство: тетушка Роле ежедневно завтракала у г-жи Бовари, а иногда забегала к ней просто так.

В эту самую пору, то есть в начале зимы, Эмма начала увлекаться музыкой.

Однажды вечером ее игру слушал Шарль; она четыре раза подряд начинала одну и ту же вещь и всякий раз бросала в сердцах, а Шарль, не видя разницы, кричал:

— Браво!.. Превосходно!.. Что ж ты? Играй, играй!

— Нет, я играю отвратительно! Пальцы совсем не слушаются.

На другой день он попросил ее «сыграть что-нибудь».

— Если тебе это доставляет удовольствие, то

пожалуйста!

Шарль вынужден был признать, что она несколько отстала. Эмма сбивалась в счете, фальшивила, потом вдруг прекратила игру.

— Нет, ничего но выходит! Мне бы надо брать уроки, да... — Эмма закусила губу. — Двадцать франков в месяц — это дорого! — добавила она.

— Да, правда, дороговато... — глупо ухмыляясь, проговорил Шарль. — А все-таки, по-моему, можно найти и дешевле. Иные малоизвестные музыканты не уступят знаменитостям.

— Попробуй, найди. — отозвалась Эмма.

На другой день, придя домой, Шарль с хитрым видом посмотрел на нее и наконец не выдержал.

— Экая же ты упрямая! — воскликнул он. — Сегодня я был в Барфешере. И что ж ты думаешь? Госпожа Льежар мне сказала, что все три ее дочки — они учатся в монастыре Милосердия — берут уроки музыки по пятьдесят су, да еще у прекрасной учительницы!

Эмма только пожала плечами и больше уже не открывала инструмента.

Но, проходя мимо, она, если Бовари был тут, всякий раз вздыхала:

— Бедное мое фортепьяно!

При гостях Эмма непременно заводила разго-

вор о том, что она вынуждена была забросить музыку. Ей выражали сочувствие. Как обидно! А ведь у нее такой талант! Заговаривали об этом с Бовари. Все его стыдили, особенно — фармацевт:

— Это ваша ошибка! Врожденные способности надо развивать. А кроме того, дорогой друг, примите во внимание, что если вы уговорите свою супругу заниматься музыкой, то тем самым вы сэкономите на музыкальном образовании вашей дочери! Я лично считаю, что матери должны сами обучать детей. Это идея Руссо; она все еще кажется слишком смелой, но я уверен, что когда-нибудь она восторжествует, как восторжествовало кормление материнским молоком и оспопрививание. После этого Шарль опять вернулся к вопросу о музыке. Эмма с горечью заметила, что лучше всего продать инструмент, хотя расстаться с милым фортепьяно, благодаря которому она столько раз тешила свое тщеславие, было для нее равносильно медленному самоубийству, умерщвлению какой-то части ее души.

— Ну так ты... время от времени бери уроки — это уж не бог весть как разорительно, — сказал Шарль.

— Толк бывает от постоянных занятий, — возразила она. Так в конце концов она добилась от

мужа позволения раз в неделю ездить в город на свиданье к любовнику. Уже через месяц ей говорили, что она делает большие успехи.

V

Это бывало по четвергам. Она вставала и одевалась неслышно, боясь разбудить Шарля, который мог выразить ей неудовольствие из-за того, что она слишком рано начинает собираться. Затем ходила по комнате, смотрела в окно на площадь. Бледный свет зари сквозил меж столбов, на которых держался рыночный навес; над закрытыми ставнями аптеки едва-едва проступали крупные буквы на вывеске.

Ровно в четверть восьмого Эмма шла к «Золотому льву», и Артемиза, зевая, отворяла ей дверь. Ради барыни она разгребала в печке подернувшийся пеплом жар. Потом г-жа Бовари оставалась на кухне одна. Время от времени она выходила во двор. Ивер не спеша запрягал лошадей и одновременно слушал, что говорит тетушка Лефрансуа, а та, высунув в окошко голову в ночном чепце, давала кучеру всевозможные поручения и так подробно все объясняла, что всякий другой запутался бы неминуемо. Стуча деревянными подошвами, Эмма прохаживалась по мощеному двору.

Наконец Ивер, похлебав супу, накинув пыль-

ник, закурив трубку и зажав в руке кнут, с невозмутимым видом усаживался на козлы.

Лошади полегоньку трусили. Первые три четверти лье «Ласточка» то и дело останавливалась — кучер брал пассажиров, поджидавших «Ласточку» у обочины дороги или же у калиток. Те, что заказывали места накануне, заставляли себя ждать. Иных никак нельзя было добудиться. Ивер звал, кричал, бранился, потом слезал с козел и изо всех сил стучал в ворота. Ветер дул в разбитые окна дилижанса.

Но вот все четыре скамейки заняты, дилижанс катит без остановки, яблони, одна за другой, убегают назад. Дорога, постепенно суживаясь, тянется между двумя канавами, полными желтой воды.

Эмма знала дорогу как свои пять пальцев, знала, что за выгоном будет столб, потом вяз, гумно и домик дорожного мастера. По временам, чтобы сделать себе сюрприз, она даже закрывала глаза. Но чувство расстояния не изменяло ей никогда.

Наконец приближались кирпичные дома, дорога начинала греметь под колесами, «Ласточка» катилась среди садов, и в просветах оград мелькали статуи, трельяжи, подстриженные тисы, качели. И вдруг глазам открывался весь город.

Уступами спускаясь с холмов, еще окутанный предрассветной мглой, он широко и беспорядочно раскинулся за мостами. Сейчас же за городом полого поднимались к горизонту поля и касались вдали неясно обозначавшегося края бледных небес. Отсюда, сверху, весь ландшафт представлялся неподвижным, как на картине. В одном углу теснились стоявшие на якоре корабли, у подошвы зеленых холмов извивалась река, продолговатые островки казались большими черными рыбами, замершими на воде. Фабричные трубы выбрасывали громадные бурые, обтрепанные по краям султаны. Шумно дышали сталелитейные заводы, а с колоколен церквей, выступавших из тумана, несся радостный звон. Безлистые деревья бульваров лиловым кустарником темнели между домами; крыши, мокрые от дождя, отливали где ярким, где тусклым блеском, в зависимости от того, на какой высоте стояли дома. По временам ветер относил облака к холму Святой Катерины, и они воздушными волнами беззвучно разбивались об откос.

При взгляде на эти скученные жилища у Эммы кружилась голова, сердцу становилось тесно в груди: Эмма видела в каждой из этих ста двадцати тысяч жизней, биение которых она угадывала

издалека, особый мир страстей, и все эти страсти, казалось, обдавали ее своим дыханием. Ее любовь росла от ощущения простора, полнилась смутным гулом. Эмма изливала ее вовне: на площади, на бульвары, на улицы. Она вступала в этот древний нормандский город, точно в некую необозримую столицу, точно в некий Вавилон. Держась обеими руками за раму, она высовывалась в окно и дышала ветром. Тройка неслась вскачь, под копытами скрежетали торчавшие из грязи камни, дилижанс качало, Ивер издали окликал ехавших впереди кучеров, руанские буржуа, проведя ночь в Буа-Гильом, чинно спускались в семейных экипажах с горы.

У заставы «Ласточка» делала остановку. Эмма снимала деревянные подошвы, меняла перчатки, оправляла шаль и, проехав еще шагов двадцать, выходила из «Ласточки».

Город между тем просыпался. Приказчики в фесках протирали витрины, торговки, стоя с корзинками у бедер на перекрестках, зычными голосами расхваливали свой товар.

Опустив черную вуаль, глядя под ноги, Эмма пробиралась у самых стен и улыбалась от счастья.

Боясь, как бы ее не узнали, она шла обычно не

кратчайшим путем. Она устремлялась в глубь темных переулков, и когда она выходила туда, где кончается улица Насьональ, к фонтану, все тело у нее покрывалось потом. Это был квартал театра, квартал кабачков и девиц легкого поведения. Мимо Эммы часто проезжали телеги с трясущимися декорациями. Дворники в фартуках посыпали песком тротуары, обсаженные зелеными деревцами. Пахло абсентом, сигарами, устрицами.

Эмма поворачивала за угол и по кудрям, выбивавшимся из-под шляпы, сразу узнавала Леона.

Молодой человек шагал, не останавливаясь. Она шла за ним к гостинице; он поднимался по лестнице, отворял дверь, входил... Что это было за объятие!

Вслед за поцелуями сыпались слова. Оба рассказывали о горестях прошедшей недели, о своих предчувствиях, о беспокойстве из-за писем. Немного погодя все это забывалось, и они обменивались долгим взглядом, смеясь от возбуждения и призывая друг друга к ласкам.

Кровать была большая, красного дерева, в виде челнока. Полог из красного левантина, спускавшийся с потолка, выгибался дугой у расширявшейся книзу спинки. И ничто не могло сравниться по красоте с темными волосами Эм-

мы и ее белой кожей на пурпуровом фоне, когда она стыдливым движением прикрывала голыми руками грудь и опускала на ладони лицо.

Теплая комната, ковер, скрадывающий шаги, на стенах игривые картинки, мягкий свет — в этом уюте страсть чувствовала себя свободно. Палки для занавесок, имевшие форму стрел, медные кольца на этих палках и шишечки на каминной решетке сейчас же начинали отсвечивать, стоило солнцу заронить сюда луч. На камине между канделябрами лежали две большие розовые раковины, в которых, если приложить к ним ухо, слышался шум моря.

Как любили они эту милую и веселую комнату, несмотря на то, что блеск ее слегка потускнел! Каждый раз они убеждались, что все здесь на прежнем месте, и если Эмма забывала под часами шпильку, то она так до следующего четверга тут и лежала. Завтракали у камина, на маленьком палисандровом столике с инкрустацией. Эмма резала мясо и, ластясь к Леону, подкладывала ему куски на тарелку. А когда шампанское пенилось и выплескивалось через край тонкого бокала прямо ей на пальцы, унизанные кольцами, она смеялась звонким, чувственным смехом. Они так полно владели друг другом, что им казалось,

будто это их собственный дом, где они вечно молодыми супругами будут жить до конца своих дней. Они говорили: «Наша комната, наш ковер, наше кресло»; Эмма даже говорила: «Мои домашние туфли». Это был ее каприз, подарок Леона — домашние туфли из розового атласа, отороченные лебяжьим пухом. Когда она садилась на колени к Леону, ее ноги не доставали до полу, они повисали в воздухе, и изящные туфельки без задников держались только на голых пальцах.

Леон впервые наслаждался неизъяснимой прелестью женского обаяния. Изящные обороты речи, строгий вкус в туалетах, позы спящей голубки — все это было ему внове. Ему нравились и восторженность ее натуры, и кружевная отделка ее платья. И при всем том Эмма была «женщина из хорошего общества», да еще замужняя! Одним словом, настоящая любовница!

То самоуглубленная, то жизнерадостная, то словоохотливая, то неразговорчивая, то порывистая, то безучастная, Эмма этой сменой настроений рождала в нем вихрь желаний, будила инстинкты и воспоминания. Кто была для него Эмма? Главный женский образ всех романов, героиня всех драм, загадочная *она* всех сборников стихов. Он находил, что плечи ее своим янтарным отли-

вом напоминают плечи «Купающейся одалиски», что талия у нее длинная, как у владетельниц феодальных замков. Еще она походила на «бледную барселонку», но прежде всего она была ангел!

Когда он смотрел на нее, ему часто казалось, что душа его устремляется к ней и, разлившись волной вокруг ее головы, низвергается на белую грудь.

Он садился на пол и, уперевшись локтями в ее колени, улыбался и подставлял лоб.

Эмма наклонялась к нему и голосом, прерывающимся от восторга, шептала:

— Не шевелись! Молчи! Смотри на меня! Твои глаза глядят так ласково! Мне так хорошо с тобой!

Она называла Леона «дитя»;

— Дитя, ты любишь меня?

Ответа она не слышала — его губы впивались в нее. На часах маленький бронзовый купидон жеманно расставлял руки под позолоченной гирляндой. Эмма и Леон часто над ним смеялись. Но при расставании все рисовалось им в мрачном свете.

Стоя друг против друга как вкопанные, они твердили:

— До четверга!.. До четверга!..

Потом она вдруг брала Леона обеими руками за голову, на миг припадала губами к его лбу и, крикнув: «Прощай!» — выбегала на лестницу.

Она шла на Театральную улицу к парикмахеру приводить в порядок свою прическу. Темнело. В парикмахерской зажигали газ.

Эмма слышала звонок, созывавший актеров на представление. Мимо окна по той стороне двигались бледные мужчины, женщины в поношенных платьях и проходили за кулисы.

В низеньком и тесном помещении, где среди париков и помадных банок гудела железная печка, было жарко. Запах горячих щипцов и жирных рук, перебиравших локоны Эммы, действовал на нее одуряюще, и, закутавшись в халат, она скоро начинала дремать. Во время завивки мастер часто предлагал ей билет на бал-маскарад.

А потом она уезжала! Она шла обратно по тем же самым улицам, доходила до «Красного креста», опять привязывала деревянные подошвы, которые она прятала утром в дилижансе под скамейку, и пробиралась среди нетерпеливых пассажиров на свое место. Перед подъемом на гору все вылезали. Она оставалась одна в дилижансе.

С каждым поворотом все шире и шире откры-

вался вид на огни уличных фонарей, образовывавших над хаосом зданий большое лучезарное облако. Эмма становилась коленями на подушки, и взор ее терялся в этом свечении. Она плакала навзрыд, звала Леона, шептала нежные слова, посылала ему поцелуи, и ветер развеивал их.

По горе между встречными дилижансами шагал нищий с клюкой. Его тело едва прикрывали лохмотья, старая касторовая шляпа без донышка, круглая, как таз, съезжала ему на глаза. Но когда он ее снимал, было видно, что на месте век у него зияют кровавые впадины. Живое мясо висело красными клоками; из глазниц до самого носа текла жидкость, образуя зеленую корку; черные ноздри судорожно подергивались. Когда он с кем-нибудь говорил, то запрокидывал голову и смеялся бессмысленным смехом, а его непрестанно вращавшиеся синеватые бельма закатывались под лоб и касались открытых ран.

Нищий бежал за экипажами и пел песенку:

Девчонке в жаркий летний день
Мечтать о миленьком не лень.

А дальше все в этой песне было полно птичьего гама, солнечного света и зеленой листвы.

Иногда нищий с непокрытой головой внезапно

вырастал перед Эммой. Она вскрикивала и отшатывалась в глубь дилижанса. Ивер издевался над слепцом. Он советовал ему снять ярмарочный балаган или, заливаясь хохотом, спрашивал, как поживает его милашка.

Часто в окна дилижанса на полном ходу просовывалась шляпа слепца; свободной рукой нищий держался за складную лестницу; из-под колес на него летели комья грязи. Голос его, вначале слабый, как у новорожденного, постепенно становился пронзительным. В ночной темноте он звучал тягучим нечленораздельным воплем какого-то непонятного отчаяния. Что-то бесконечно одинокое было в этом щемящем звуке, как бы издалека доходившем до слуха Эммы сквозь шум деревьев, звон бубенцов и тарахтенье пустого кузова. Он врывался к ней в душу, как вихрь врывается в глубокую теснину, и уносил ее на бескрайние просторы тоски. Но в это время Ивер, заметив, что дилижанс накренился, несколько раз вытягивал слепого кнутом. Узелок на конце кнута бил его по ранам, и нищий с воем летел в грязь.

Затем пассажиры «Ласточки» мало-помалу погружались в сон: кто — с открытым ртом, кто — уронив голову на грудь, кто — привалившись

к плечу соседа, кто, наконец, держась рукой за ремень, и все при этом мерно покачивались вместе с дилижансом, а мерцающий свет фонаря, скользя по крупу коренника, проникал внутрь дилижанса сквозь коленкоровые занавески шоколадного цвета и бросал на неподвижные лица спящих кровавый отсвет. Эмма, смертельно тоскуя, дрожала от холода; ноги у нее мучительно зябли; в душе царил беспросветный мрак.

Дома Шарль ждал ее с нетерпением — по четвергам «Ласточка» всегда запаздывала. Наконец-то «барыня» дома! Эмма рассеянно целует девочку. Обед еще не готов — не беда! Эмма не сердится на кухарку. В этот день служанке прощалось все.

Заметив, что Эмма бледна, муж спрашивал, как ее здоровье.

— Хорошо, — отвечала Эмма.

— А почему у тебя нынче какой-то странный вид?

— А, пустое, пустое!

Иногда она даже, вернувшись домой, проходила прямо к себе в комнату. Там она заставала Жюстена — он двигался неслышно и прислуживал ей лучше вышколенной горничной: подавал спички, свечу, книгу, раскладывал ночную со-

рочку, стелил постель.

После этого, видя, что Жюстен стоит неподвижно и руки у него повисли, как плети, а глаза широко раскрыты, точно его опутала бесчисленным множеством нитей какая-то внезапно налетевшая дума, Эмма обычно говорила:

— Ну, хорошо, а теперь ступай.

На другой день Эмма чувствовала себя ужасно, а затем с каждым днем муки ее становились все невыносимее: она жаждала вновь испытать уже изведанное блаженство, и этот пламень страсти, распаляемый воспоминаниями, разгорался неукротимо лишь на седьмой день под ласками Леона. А его сердечный пыл выражался в проявлениях восторга и признательности. Эмма упивалась любовью Леона, любовью сдержанной, глубокой, и, уже заранее боясь потерять ее, прибегала ко всем ухищрениям, на какие только способна женская нежность.

Часто она говорила ему с тихой грустью в голосе:

— Нет, ты бросишь меня!.. Ты женишься!.. Ты поступишь, как все.

— Кто все? — спрашивал он.

— Ну, мужчины вообще!..

С этими словами она, томно глядя на Леона,

отталкивала его.

— Все вы обманщики!

Однажды, когда у них шел философский разговор о тщете всего земного, она, чтобы вызвать в нем ревность или, быть может, удовлетворяя назревшую потребность излить душу, призналась, что когда-то, еще до него, любила одного человека... «но не так, как тебя!» — поспешила она добавить и поклялась здоровьем дочери, что «не была с ним близка».

Леон поверил ей, но все же стал расспрашивать, чем тот занимался.

— Он был капитаном корабля, друг мой.

Не хотела ли она одной этой фразой пресечь дальнейшие расспросы и в то же время еще выше поднять себя в глазах Леона тем, что ее чары будто бы подействовали на человека воинственного и привыкшего к почестям?

Вот когда молодой человек понял всю невыгодность своего положения! Он стал завидовать эполетам, крестам, чинам. Расточительность Эммы доказывала, что все это должно ей нравиться.

Между тем Эмма еще умалчивала о многих своих прихотях: так, например, она мечтала завести для поездок в Руан синее тильбюри, английскую

лошадку и грума в ботфортах с отворотами. На эту мысль навел ее Жюстен: он умолял взять его к себе в лакеи. И если отсутствие всего этого не умаляло радости поездки на свидание, зато оно, разумеется, усиливало горечь обратного пути.

Когда они говорили о Париже, Эмма часто шептала:

— Ах, как бы нам с тобой там было хорошо!

— А разве здесь мы не счастливы? — проводя рукой по ее волосам, мягко возражал молодой человек.

— Конечно, счастливы! — говорила она. — Это я глупость сказала. Поцелуй меня.

С мужем она была особенно предупредительна, делала ему фисташковые кремы, играла после обеда вальсы. Он считал себя счастливейшим из смертных, и Эмма была спокойна до тех пор, пока однажды вечером он не спросил ее:

— Ведь ты берешь уроки у мадемуазель Лампрер?

— Да.

— Ну так вот, — продолжал Шарль, — я только что встретился с ней у госпожи Льежар. Заговорил о тебе, а она тебя не знает.

Это было как удар грома среди ясного неба. И все же Эмма самым естественным тоном ответила:

— Она просто забыла мою фамилию!

— А может быть, в Руане есть несколько Лампрер — учительниц музыки? — высказал предположение лекарь.

— Возможно, — согласилась Эмма и тут же добавила: — Да ведь у меня есть ее расписки. Сейчас я тебе покажу.

Она бросилась к своему секретеру, перерыла все ящики, свалила в одну кучу все бумаги и в конце концов так растерялась, что Шарль стал умолять ее не огорчаться из-за каких-то несчастных расписок.

— Нет, я найду их! — твердила она.

И точно: в следующую пятницу Шарль, натягивая сапоги в темной конурке, где было свалено все его платье, нащупал ногой листок бумаги и, вытащив его из сапога, прочел:

«Получено за три месяца обучения и за всякого рода покупки шестьдесят пять франков.

Преподавательница музыки

Фелиси Лампрер».

— Что за чертовщина! Как это могло попасть ко мне в сапог?

— Наверно, расписка выпала из старой папки со счетами — той, что лежит на полке с краю, — ответила Эмма.

С этого дня вся ее жизнь превратилась в сцепление выдумок, которыми она, точно пеленами, укрывала свою любовь.

Это стало для нее потребностью, манией, наслаждением, и если она утверждала, что шла вчера по правой стороне, значит, на самом деле по левой, а не по правой.

Однажды утром она отправилась в Руан, по обыкновению довольно легко одетая, а тут неожиданно выпал снег. Выглянув в окно, Шарль увидел аббата Бурнизьена — тот в экипаже Тювааша ехал по направлению к Руану. Шарль сбежал по лестнице и попросил священника разыскать жену в «Красном кресте» и передать ей теплый платок. Заехав на постоялый двор, священник сейчас же спросил, где можно найти жену ионвильского доктора. Хозяйка ему на это ответила, что г-жа Бовари останавливается у нее крайне редко. Вечером, столкнувшись с Эммой в дилижансе, Бурнизьен рассказал ей, в каком он был затруднительном положении, но, по-видимому, не придал этому случаю особого значения, так как тут же принялся расхваливать соборного священника, который славился своими проповедями настолько, что все дамы сбегались послушать его.

Итак, Бурнизьен ни о чем ее не спросил, но ведь не все такие деликатные, как он. Поэтому она сочла за благо впредь останавливаться только в «Красном кресте», чтобы почтенные сограждане, встретившись с ней на лестнице, уже ни в чем не могли ее заподозрить.

Но в один прекрасный день, выйдя под руку с Леоном из «Булони», Эмма наткнулась на г-на Лере. Эта встреча напугала ее: она была уверена, что он начнет болтать. Но г-н Лере оказался умнее.

Он пришел к ней через три дня, затворил за собой дверь и сказал:

— Мне нужны деньги.

Эмма заявила, что у нее ничего нет. Тогда Лере стал канючить и перечислил все свои услуги.

Он имел основания быть недовольным: из двух выданных Шарлем векселей Эмма пока что уплатила по одному. Что касается второго, то купец по просьбе Эммы согласился заменить его двумя новыми, да и те уже были переписаны и платеж по ним перенесен на весьма далекий срок. Затем г-н Лере достал из кармана неоплаченный счет, где значились следующие предметы: занавески, ковер, обивка для кресел, отрезы на платья, принадлежности туалета — всего приблизительно тысячи на две франков.

Эмма опустила голову.

— Положим, наличных у вас нет, но ведь зато есть *имение*, — напомнил Лере.

Он имел в виду ветхую лачугу в Барневиле, близ Омаля, приносившую мизерный доход. В былые времена она составляла часть небольшой усадьбы, но Бовари-отец усадьбу продал. Г-ну Лере было известно все, вплоть до того, сколько там гектаров земли и как зовут соседей.

— Я бы на вашем месте с этим имением развязался, — заметил г-н Лере. — После расплаты с долгами у вас еще останутся деньги.

Эмма сказала, что на этот дом трудно найти покупателя. Г-н Лере взялся за это дело сам. Тогда г-жа Бовари спросила, как ей получить право на продажу.

— Да разве у вас нет доверенности? — спросил Лере.

На Эмму словно повеяло свежим воздухом.

— Оставьте мне счет, — сказала она.

— Ну что вы! Зачем? — проговорил Лере.

Через неделю он пришел опять и похвалился, что после долгих поисков напал на некоего Ланглуа, который давно уже подбирается к этой недвижимости, но цену пока не говорит.

— Да я за ценой и не гонюсь! — воскликнула

Эмма.

Лере, однако, советовал выждать, сначала прощупать этого молодчика. По его мнению, стоило даже побывать там, а так как Эмма не могла поехать сама, то он обещал туда съездить и переговорить с Ланглуа. Вернувшись, он сообщил, что покупатель дает четыре тысячи франков.

Эмма вся так и расцвела.

— Цена, по правде сказать, хорошая, — заметил Лере.

Половину всей суммы она получила наличными. Когда же она заговорила о счете, торговец прервал ее:

— Мне неприятно отхватывать у вас этакий куш, честное слово!

При этих словах Эмма бросила взгляд на ассигнации и невольно подумала о том, какое великое множество свиданий заключено в этих двух тысячах франков.

— Что вы! Что вы! — пролепетала она.

— Со счетом можно сделать все что хотите, уверяю вас! — добродушно посмеиваясь, продолжал Лере. — Я знаю, что такое хозяйственные расходы.

Пропуская между пальцами два длинных листа бумаги, он пристально смотрел на нее. Затем

вынул из бумажника и разложил на столе четыре векселя на сумму в четыре тысячи франков каждый.

— Подпишите, а деньги возьмите себе, — сказал он.

У нее вырвался крик возмущения.

— Но ведь я же у вас не беру остатка, — нагло заявил г-н Лере. — Вы не находите, что это большая любезность с моей стороны?

Он взял перо и написал под счетом:

«Получено от г-жи Бовари четыре тысячи франков».

— Я не понимаю, что вас тут смущает. Через полгода вы получите все деньги за свою хибарку, а я проставил на последнем векселе более чем полугодовой срок.

Все эти сложные вычисления сбили г-жу Бовари с толку. В ушах у нее звенело, ей казалось, будто золото сыплется вокруг нее на пол. В конце концов Лере объяснил ей, что в Руане у него есть приятель — банкир, некто Венсар, который учтет эти четыре векселя, а то, что останется после уплаты реального долга, он, Лере, вернет г-же Бовари.

Однако вместо двух тысяч франков он принес тысячу восемьсот: дело в том, что его друг Венсар

удержал «законно следуемые» двести франков за комиссию и за учет.

Затем г-н Лере с небрежным видом попросил расписку:

— Сами понимаете... коммерция — это такое дело... все может случиться. И дату, пожалуйста, дату!

Перед Эммой сразу открылась широкая перспектива осуществления своих прихотей. У нее, впрочем, хватило благоразумия отложить тысячу экю, и эти деньги она уплатила в срок по первым трем векселям, но четвертый якобы случайно свалился на голову Шарля как раз в четверг, и Шарль в полном недоумении стал терпеливо ждать, когда вернется жена и все ему растолкует.

Да, правда, она ничего ему не сказала про этот вексель, но ей просто не хотелось путать его в домашние дрязги. Она села к нему на колени, ласкалась, ворковала, долго перечисляла необходимые вещи, которые ей пришлось взять в долг.

— Если принять во внимание, сколько я всего накупила, то выйдет совсем не так дорого.

Шарль с горя обратился все к тому же Лере, и торгаш обещал все уладить, если только господин доктор выдаст ему два векселя, в том числе один на сумму в семьсот франков сроком на три

месяца. В поисках выхода из положения Шарль написал матери отчаянное письмо. Г-жа Бовари-мать, не долго думая, приехала сама. На вопрос Эммы, удалось ли Шарлю уломать ее, Шарль ответил:

— Да, но только она требует, чтобы ей показали счет.

На другое утро Эмма чуть свет побежала к г-ну Лере и попросила его выписать другой счет — не больше чем на тысячу франков. Показать счет на четыре тысячи было равносильно признанию в том, что две трети этой суммы уже выплачены, следовательно — открыть продажу дома, а между тем торговец хранил эту сделку в такой строгой тайне, что про нее узнали много позднее.

Хотя на все товары были проставлены очень низкие цены, г-жа Бовари-мать нашла, что расходы непомерно велики.

— Неужели нельзя было обойтись без ковра? Для чего менять обивку на креслах? В мои времена полагалось только одно кресло — для пожилых людей. По крайней мере, так было заведено у моей матери, а она была, смею вас уверить, женщина порядочная. За богачами все равно не угонишься! Будете транжирить, так вам никаких денег не хватит! Я бы постыдилась так себя ба-

ловать, как вы, а ведь я старуха, за мной нужен уход... Вам только бы рядиться, только бы пыль в глаза пускать! Ведь это что ж такое: шелк на подкладку по два франка... когда есть отличный жаконет по десяти, даже по восьми су!

— Довольно, сударыня, довольно!.. — раскинувшись на козетке, изо всех сил сдерживаясь, говорила Эмма.

Но свекровь продолжала отчитывать ее; она предсказывала, что Шарль с Эммой кончат свои дни в богадельне. Впрочем, Шарль сам виноват. Хорошо еще, что он обещал уничтожить доверенность...

— То есть как уничтожить?

— Он мне поклялся, — заявила почтенная дама.

Эмма открыла окно и позвала Шарля. Бедняга принужден был сознаться, что мать вырвала у него это обещание.

Эмма убежала, но сейчас же вернулась и с величественным видом протянула свекрови плотный лист бумаги.

— Благодарю вас, — сказала старуха и бросила доверенность в огонь.

Эмма засмеялась резким, громким, неудержимым смехом: у нее начался нервный припадок.

— Ах ты, господи! — воскликнул Шарль. — Ты тоже не права! Зачем ты устраиваешь ей сцены?..

Мать, пожав плечами, заметила, что «все это фокусы».

Но Шарль первый раз в жизни взбунтовался и так горячо стал защищать жену, что мать решила немедленно уехать. На другой день она и точно отправилась восвояси; когда же сын попытался удержать ее на пороге, она сказала:

— Нет, нет! Ее ты любишь больше, чем меня, и так и надо, это в порядке вещей. Тут уж ничего не поделаешь! Поживем — увидим!.. Будь здоров!.. Больше я, как ты выражаешься, не устрою ей сцены.

Шарль все же чувствовал себя виноватым перед Эммой, а та и не думала скрывать, что обижена на него за недоверие. Ему пришлось долго упрашивать ее, прежде чем она согласилась, чтобы на ее имя была составлена новая доверенность; с этой целью он даже пошел вместе с Эммой к г-ну Гильомену.

— Я вас понимаю, — сказал нотариус. — Человека, всецело преданного науке, не должны отвлекать мелочи практической жизни.

Эта лицемерная фраза ободрила Шарля — она

прикрывала его слабость лестной для него видимостью каких-то важных занятий.

Чего только не вытворяла Эмма в следующий четверг, придя вместе с Леоном в их номер! Смеялась, плакала, пела, танцевала, заказывала шербет, пробовала курить, и Леон нашел, что она хоть и взбалмошна, но зато обворожительна, несравненна.

Он не догадывался, что*происходило* теперь у нее в душе, что заставляло ее так жадно ловить каждый миг наслаждения. Она стала раздражительна, плотоядна, сластолюбива. С гордо поднятой головой ходила она с ним по городу и говорила, что не боится себя скомпрометировать. Ее только пугала мысль о возможной встрече с Родольфом. Хотя они расстались навсегда, Эмма все еще чувствовала над собой его власть.

Однажды вечером Эмма не вернулась домой. Шарль совсем потерял голову, а маленькая Берта не хотела ложиться спать без мамы и неутешно рыдала. Жюстен на всякий случай пошел встречать барыню. Г-н Оме бросил аптеку.

Когда пробило одиннадцать, Шарль не выдержал, запряг свой шарабанчик, сел, ударил по лошади — и в два часа ночи подъехал к «Красному кресту». Эммы там не было. Шарлю пришло на

ум: не видел ли ее случайно Леон? Но где его дом? К счастью, Шарль вспомнил адрес его патрона и побежал к нему.

Светало. Разглядев дощечку над дверью, Шарль постучался. Кто-то, не отворяя, прорычал ему, где живет Леон, и обругал на чем свет стоит тех нахалов, которые беспокоят по ночам добрых людей.

В доме, где проживал Леон, не оказалось ни звонка, ни молотка, ни швейцара. Шарль изо всех сил застучал в ставни. Мимо прошел полицейский. Шарль испугался и поспешил удалиться.

«Я сошел с ума, — говорил он сам с собой. — Наверно, она пообедала у Лормо и осталась у них ночевать».

Но он тут же вспомнил, что семейство Лормо выехало из Руана.

«Значит, она ухаживает за госпожой Дюбрейль... Ах да! Госпожа Дюбрейль десять месяцев тому назад умерла!.. Так где же Эмма?»

Тут его осенило. Он спросил в кафе адрес-календарь, быстро нашел мадемуазель Лампрер и выяснил, что она живет в доме номер 74 по улице Ренель-де-Марокинье.

Но, выйдя на эту улицу, он еще издали увидел Эмму — она шла ему навстречу. Шарль даже не обнял ее — он обрушился на нее с криком:

— Почему ты вчера не приехала?

— Я захворала.

— Чем захворала?.. Где?.. Как?..

— У Лампрер, — проведя рукой по лбу, ответила она.

— Я так и думал! Я шел к ней.

— Ну и напрасно, — сказала Эмма. — Она только что ушла. В другой раз, пожалуйста, не беспокойся. Если я буду знать, что ты сам не свой из-за малейшего моего опоздания, то я тоже стану нервничать, понимаешь?

Так она завоевала себе свободу похождений. И этой свободой она пользовалась широко. Соскучившись без Леона, она под любым предлогом уезжала в Руан, а так как Леон в тот день ее не ждал, то она приходила к нему в контору.

Первое время это было для него великим счастьем, но вскоре он ей признался, что патрон недоволен его поведением. — А, не обращай внимания! — говорила она.

И он менял разговор.

Эмме хотелось, чтобы он сшил себе черный костюм и отпустил бородку, — так, мол, он будет похож на Людовика XIII. Она побывала у него и нашла, что комната неважная. Леон покраснел. Она этого не заметила и посоветовала ему купить

такие же занавески, как у нее. Он сказал, что это ему не по карману.

— Экий ты жмот! — сказала она смеясь.

Каждый раз Леон должен был докладывать ей, как он без нее жил. Она требовала, чтобы он писал стихи и посвящал ей, чтобы он сочинил «стихотворение о любви» и воспел бы ее. Но он никак не мог подобрать ни одной рифмы и в конце концов списал сонет из кипсека.

Сделал он это не из самолюбия, а из желания угодить Эмме. Он никогда с ней не спорил, он подделывался под ее вкусы, скорее он был ее любовницей, чем она его. Она знала такие ласковые слова и так умела целовать, что у него захватывало дух. Как же проникла к Эмме эта скрытая порочность — проникла настолько глубоко, что ничего плотского в ней как будто бы не ощущалось?

VI

Когда Леон приезжал в Ионвиль повидаться с Эммой, он часто обедал у фармацевта и как-то из вежливости пригласил его к себе.

— С удовольствием! — сказал г-н Оме. — Мне давно пора встряхнуться, а то я здесь совсем закис. Пойдем в театр, в ресторан, кутнем!

— Что ты, друг мой! — нежно прошептала г-жа Оме — она боялась каких-нибудь непредвиденных опасностей.

— А ты думаешь, это не вредно для моего здоровья — постоянно дышать аптечным запахом? Женщины все таковы: сначала ревнуют к науке, а потом восстают против самых невинных развлечений. Ничего, ничего! Можете быть уверены: как-нибудь я нагряну в Руан, и мы с вами тряхнем мошной.

В прежнее время аптекарь ни за что не употребил бы подобного выражения, но теперь он охотно впадал в игривый парижский тон, что являлось для него признаком высшего шика. Как и его соседка, г-жа Бовари, он с любопытством расспрашивал Леона о столичных нравах и даже, на удивление обывателям, уснащал свою

речь жаргонными словечками, вроде: *шушера, канальство, ферт, хлюст, Бред-гастрит*вместо *Бред-стрит и дернуть*вместо *уйти*.

И вот в один из четвергов Эмма, к своему удивлению, встретила в «Золотом льве», на кухне, г-на Оме, одетого по-дорожному, то есть в старом плаще, в котором он никогда прежде не появлялся, с чемоданом в одной руке и с грелкой из собственной аптеки в другой. Боясь всполошить своим отъездом клиентов, он отбыл тайно.

Всю дорогу он сам с собой рассуждал — видимо, его волновала мысль, что он скоро увидит места, где протекла его юность. Не успел дилижанс остановиться, а г-н Оме уже спрыгнул с подножки и помчался разыскивать Леона. Как тот ни отбивался, фармацевт затащил его в большое кафе «Нормандия» и с величественным видом вошел туда в шляпе, ибо он считал, что снимать шляпу в общественных местах способен лишь глубокий провинциал.

Эмма прождала Леона в гостинице три четверти часа. Наконец не выдержала — сбегала к нему в контору, вернулась обратно и, строя всевозможные предположения, мучаясь мыслью, что он к ней охладел, а себя самое осуждая за бесхарактерность, простояла полдня, прижавшись лбом к

оконному стеклу.

В два часа дня Леон и г-н Оме все еще сидели друг против друга за столиком. Большой зал пустел; дымоход в виде пальмы раскидывал по белому потолку золоченые листья; недалеко от сотрапезников за стеклянной перегородкой маленькая струйка фонтана, искрясь на солнце, булькала в мраморном бассейне, где среди кресс-салата и спаржи три сонных омара, вытянувшись во всю длину, касались хвостами лежавших на боку перепелок, целые столбики которых высились на краю.

Оме блаженствовал. Роскошь опьяняла его еще больше, чем возлияние, но помардское тоже оказало на него свое действие, и когда подали омлет с ромом, он завел циничный разговор о женщинах. Больше всего он ценил в женщинах «шик». Он обожал элегантные туалеты, хорошо обставленные комнаты, а что касается внешности, то он предпочитал «крохотулек».

Леон время от времени устремлял полный отчаяния взгляд на стенные часы. А фармацевт все ел, пил, говорил.

— В Руане у вас, наверно, никого нет, — ни с того ни с сего сказал он. — Впрочем, ваш предмет живет близко.

Леон покраснел.

— Ну, ну, не притворяйтесь! Вы же не станете отрицать, что в Ионвиле...

Молодой человек что-то пробормотал.

— Вы ни за кем не волочитесь у госпожи Бовари?..

— Да за кем же?

— За служанкой!

Оме говорил серьезно, но самолюбие возобладало в Леоне над осторожностью, и он невольно запротестовал: ведь ему же нравятся брюнетки!

— Я с вами согласен, — сказал фармацевт. — У них темперамент сильнее.

Наклонившись к самому уху Леона, он стал перечислять признаки темперамента у женщин. Он даже приплел сюда этнографию: немки истеричны, француженки распутны, итальянки страстны.

— А негритянки? — спросил его собеседник.

— Это дело вкуса, — ответил Оме. — Человек! Две полпорции!

— Пойдем! — теряя терпение, сказал Леон.

— Уез[11].

Но перед уходом он не преминул вызвать хозя-

---

[11] Примечания: 11
Да (англ.).

ина и наговорил ему приятных вещей.

Чтобы отвязаться от Оме, молодой человек сказал, что у него есть дело.

— Ну что ж, я вас провожу! — вызвался Оме.

Дорогой он говорил о своей жене, о детях, об их будущем, о своей аптеке, о том, какое жалкое существование влачила она прежде и как он блестяще ее поставил.

Дойдя до гостиницы «Булонь», Леон неожиданно бросил аптекаря, взбежал по лестнице и застал свою возлюбленную в сильном волнении.

При имени фармацевта она вышла из себя. Но Леон стал приводить один веский довод за другим: чем же он виноват? Разве она не знает г-на Оме? Как она могла подумать, что он предпочел его общество? Она все отворачивалась от него; наконец он привлек ее к себе, опустился на колени и, обхватив ее стан, замер в сладострастной позе, выражавшей вожделение и мольбу.

Эмма стояла не шевелясь; ее большие горящие глаза смотрели на него до ужаса серьезно. Но вот ее взор затуманился слезою, розовые веки дрогнули, она перестала вырывать руки, и Леон уже подносил их к губам, как вдруг постучался слуга и доложил, что его спрашивает какой-то господин.

— Ты скоро вернешься? — спросила Эмма.

— Конечно.

— Когда именно?

— Да сейчас.

— Я схитрил, — сказал Леону фармацевт. — Мне показалось, что этот визит вам не по душе, и я решил вызволить вас. Пойдемте к Бриду, выпьем по стаканчику эликсира Гарюс.

Леон поклялся, что ему давно пора в контору. Тогда аптекарь стал посмеиваться над крючкотворством, над судопроизводством.

— Да пошлите вы к черту своих Куяциев и Бартолов! Чего вы боитесь? Наплевать! Пойдемте к Бриду! Он вам покажет собаку. Это очень любопытно!

Леон не сдавался.

— Ну так я тоже пойду в контору, — заявил фармацевт. — Пока вы освободитесь, я почитаю газету, просмотрю Свод законов.

Устав от гнева Эммы, от болтовни фармацевта, быть может еще и осовев после сытного завтрака, Леон впал в нерешительность, а г-н Оме словно гипнотизировал его:

— Идемте к Бриду! Он живет в двух шагах, на улице Мальпалю.

И по своей мягкотелости, по глупости, подстрекаемый тем не поддающимся определению

чувством, которое толкает нас на самые некрасивые поступки, Леон дал себя отвести к Бриду. Они застали его во дворе — он наблюдал за тремя парнями, которые вертели, пыхтя, тяжелое колесо машины для изготовления сельтерской воды. Оме начал давать им советы, потом стал обниматься с Бриду, потом все трое выпили эликсиру. Леон двадцать раз пытался уйти, но Оме хватал его за руку и говорил:

— Сейчас, сейчас! Я тоже иду. Мы с вами зайдем в «Руанский светоч», посмотрим на журналистов. Я вас познакомлю с Томасеном.

В конце концов Леон все же избавился от него — и бегом в гостиницу: Эммы там уже не было.

Вне себя от ярости, она только что уехала в Ионвиль. Теперь она ненавидела Леона. То, что он не пришел на свиданье, она воспринимала как личное оскорбление и выискивала все новые и новые причины, чтобы порвать с ним: человек он вполне заурядный, бесхарактерный, безвольный, как женщина, неспособный на подвиг, да и к тому же еще скупой и трусливый.

Несколько успокоившись, она поняла, что была к нему несправедлива. Но когда мы черним любимого человека, то это до известной степени отдаляет нас от него. До идолов дотрагиваться

нельзя — позолота пристает к пальцам.

С этого дня Эмма и Леон все чаще стали обращаться к посторонним предметам. В письмах Эмма рассуждала о цветах, о стихах, о луне и звездах, обо всех этих немудреных подспорьях слабеющей страсти, которая требует поддержки извне. От каждого нового свидания она ждала чего-то необыкновенного, а потому всякий раз признавалась себе, что захватывающего блаженства ей испытать не довелось. Но разочарование быстро сменялось надеждой, и Эмма возвращалась к Леону еще более пылкой, еще более жадной, чем прежде. Она срывала с себя платье, выдергивала из корсета тонкий шнурок, и шнурок скользящей змеей свистел вокруг ее бедер. Босиком, на цыпочках она еще раз подходила к порогу, убеждалась, что дверь заперта, мгновенно сбрасывала с себя оставшиеся на ней покровы, внезапно бледнела, молча, не улыбаясь, прижималась к груди Леона, и по всему ее телу пробегал долгий трепет.

Но на этом покрытом холодными каплями лбу, на этих лепечущих губах, в этих блуждающих зрачках, в сцеплении ее рук было что-то неестественное, что-то непонятное и мрачное, и Леону казалось, будто это что-то внезапно проползает

между ними и разделяет их.

Леон не смел задавать ей вопросы, но он считал ее опытной женщиной и был убежден, что ей привелось испытать все муки и все наслаждения. Что когда-то пленяло его, то теперь отчасти пугало. Кроме того, она все больше и больше порабощала его личность, и это вызывало в нем внутренний протест. Леон не мог простить Эмме ее постоянной победы над ним. Он пытался даже разлюбить ее, но, заслышав скрип ее туфелек, терял над собой власть, как пьяница — при виде крепких напитков.

Правда, она по-прежнему оказывала ему всевозможные знаки внимания, начиная с изысканных блюд и кончая модными туалетами и томными взглядами. Везла у себя на груди розы из Ионвиля и потом осыпала ими Леона, следила за его здоровьем, учила его хорошим манерам и, чтобы крепче привязать его к себе, в надежде на помощь свыше, повесила ему на шею образок Богородицы. Как заботливая мать, она расспрашивала его о товарищах.

— Не встречайся с ними, — говорила она, — никуда не ходи, думай только о нашем счастье, люби меня!

Ей хотелось знать каждый его шаг; она даже

подумала, нельзя ли нанять соглядатая, который ходил бы за ним по пятам. Около гостиницы к приезжающим вечно приставал какой-то оборванец — он бы, конечно, не отказался... Но против этого восстала ее гордость.

«А, бог с ним, пусть обманывает! Не очень-то я в нем нуждаюсь!»

Однажды они с Леоном расстались раньше, чем обыкновенно, и когда Эмма шла одна по бульвару, перед ней забелели стены ее монастыря. Она села на скамейку под вязами. Как спокойно жилось ей тогда! Как она жаждала сейчас той несказанно прекрасной любви, которую некогда старалась представить себе по книгам!

Первые месяцы замужества, прогулки верхом в лес, вальсирующий виконт, Лагарди — все прошло перед ее глазами... Внезапно появился и Леон, но тоже вдалеке, как и остальные.

«Нет, я его люблю!» — говорила она себе.

Ну что ж, все равно! Счастья у нее нет и никогда не было прежде. Откуда же у нее это ощущение неполноты жизни, отчего мгновенно истлевало то, на что она пыталась опереться?.. Но если есть на земле существо сильное и прекрасное, благородная натура, пылкая и вместе с тем тонко чувствующая, ангел во плоти и с сердцем поэта,

звонкострунная лира, возносящая к небу тихие гимны, то почему они не могут встретиться? О нет, это невозможно! Да и не стоит искать — все на свете обман! За каждой улыбкой кроется зевок от скуки, за каждой радостью — горе, за наслаждением — пресыщение, и даже после самых жарких поцелуев остается лишь неутоляемая жажда еще более упоительных ласк.

Внезапно в воздухе раздался механический хрип — это на монастырской колокольне ударили четыре раза. Только четыре часа! А ей казалось, что с тех пор, как она села на эту скамейку, прошла целая вечность. Но одно мгновение может вобрать в себя сонм страстей, равно как на небольшом пространстве может поместиться толпа. Эмму ее страсти поглощали всецело, и о деньгах она думала столько же, сколько эрцгерцогиня.

Но однажды к ней явился какой-то лысый, краснолицый плюгавый человечек и сказал, что он из Руана, от г-на Венсара. Вытащив булавки, которыми был заколот боковой карман его длинного зеленого сюртука, он воткнул их в рукав и вежливо протянул Эмме какую-то бумагу.

Это был выданный Эммой вексель на семьсот франков, — Лере нарушил все свои клятвы и

подал его ко взысканию.

Эмма послала за торговцем служанку. Но Лере сказал, что он занят.

Любопытные глазки незнакомца, прятавшиеся под насупленными белесыми бровями, шарили по всей комнате.

— Что передать господину Венсару? — спросил он с наивным видом.

— Так вот... — начала Эмма, — скажите ему... что сейчас у меня денег нет... На той неделе... Пусть подождет... Да, да, на той неделе.

Посланец молча удалился.

Тем не менее на другой день в двенадцать часов Эмма получила протест. Один вид гербовой бумаги, на которой в нескольких местах было выведено крупными буквами: «Судебный пристав города Бюши господин Аран», так ее напугал, что она опрометью бросилась к торговцу тканями.

Господин Лере перевязывал у себя в лавке пакет.

— Честь имею! — сказал он. — К вашим услугам.

Но он все же до конца довел свое дело, в котором ему помогала горбатенькая девочка лет тринадцати, — она была у него и за приказчика и за кухарку.

Потом, стуча деревянными башмаками по ступенькам лестницы, он повел Эмму на второй этаж и впустил ее в тесный кабинет, где на громоздком еловом письменном столе высилась груда конторских книг, придавленная лежавшим поперек железным бруском на висячем замке. У стены за ситцевой занавеской виднелся несгораемый шкаф таких громадных размеров, что в нем, по всей вероятности, хранились вещи более крупные, чем ассигнации и векселя. В самом деле, г-н Лере давал в долг под залог, и как раз в этот шкаф положил он золотую цепочку г-жи Бовари и серьги незадачливого дядюшки Телье, который в конце концов вынужден был продать свое заведение и купить в Кенкампуа бакалейную лавчонку, где он, еще желтее тех свечей, что ему приходилось отпускать покупателям, медленно умирал от чахотки.

Лере сел в большое соломенное кресло.

— Что скажете? — спросил он.

— Вот, полюбуйтесь.

Эмма показала ему бумагу.

— Что же я-то тут могу поделать?

Эмма в сердцах напомнила ему его обещание не опротестовывать ее векселя, но он этого и не оспаривал.

— Иначе я поступить не мог — мне самому позарез нужны были деньги.

— Что же теперь будет? — спросила она.

— Все пойдет своим порядком — сперва суд, потом опись имущества... И капут!

Эмма едва сдерживалась, чтобы не ударить его. Но все же она самым кротким тоном спросила, нельзя ли как-нибудь смягчить Венсара.

— Да, как же! Венсара, пожалуй, смягчишь! Плохо вы его знаете: это тигр лютый.

Но ведь у Эммы вся надежда на г-на Лере!

— Послушайте! По-моему, я до сих пор был достаточно снисходителен.

С этими словами он открыл одну из своих книг:

— Вот пожалуйста!

И стал водить пальцем по странице:

— Сейчас... сейчас... Третьего августа — двести франков... Семнадцатого июня — полтораста... Двадцать пятого марта — сорок шесть... В апреле...

Но тут он, словно боясь попасть впросак, запнулся.

— И это не считая векселей, выданных господином Бовари, одного — на семьсот франков, а другого — на триста! А вашим мелким займам и

процентам я давно счет потерял — тут сам черт ногу сломит. Нет, я — слуга покорный!

Эмма плакала, она даже назвала его один раз «милым господином Лере». Но он все валил на этого «зверюгу Венсара». К тому же он сейчас без гроша, долгов никто ему не платит, а он для всех — дойная корова; он — бедный лавочник, он не в состоянии давать взаймы.

Эмма умолкла; г-н Лере покусывал перо; наконец, встревоженный ее молчанием, он снова заговорил:

— Впрочем, если у меня на днях будут поступления... тогда я смогу...

— Во всяком случае, как только я получу остальную сумму за Барневиль... — сказала Эмма.

— Что такое?..

Узнав, что Ланглуа еще не расплатился, Лере сделал крайне удивленное лицо.

— Так вы говорите, мы с вами поладим?.. — вкрадчивым тоном спросил он.

— О, это зависит только от вас!

Господин Лере закрыл глаза, подумал, написал несколько цифр, а затем, продолжая уверять Эмму, что он не оберется хлопот, что дело это щекотливое и что он «спускает с себя последнюю рубашку», продиктовал Эмме четыре векселя

по двести пятьдесят франков каждый, причем все они должны были быть погашены один за другим, с месячным промежутком в платежах.

— Только бы мне уговорить Венсара! Ну да что там толковать, что сделано, то сделано, я на ветер слов не бросаю, я весь тут!

Затем он с небрежным видом показал ей кое-какие новые товары, ни один из которых, однако, не заслуживал, на его взгляд, внимания г-жи Бовари.

— Подумать только: вот эта материя — по семи су за метр, да еще с ручательством, что не линяет! Берут нарасхват! Сами понимаете, я же им не говорю, в чем тут секрет.

Этим откровенным признанием, что он плутует с другими покупателями, он желал окончательно убедить ее в своей безукоризненной честности по отношению к ней.

После этого он предложил ей взглянуть на гипюр — три метра этой материи он приобрел на аукционе.

— Хорош! — восхищался он. — Теперь его много берут на накидочки для кресел. Модный товар.

Тут он ловкими, как у фокусника, руками завернул гипюр в синюю бумагу и вложил Эмме в руки.

— А сколько же?..

— Сочтемся! — прервал ее Лере и повернулся к ней спиной.

В тот же вечер Эмма заставила Бовари написать матери, чтобы она немедленно выслала им все, что осталось от наследства. Свекровь ответила, что у нее ничего больше нет: ликвидация имущества закончена, и, не считая Барневиля, на их долю приходится шестьсот ливров годового дохода, каковую сумму она обязуется аккуратно выплачивать.

Тогда г-жа Бовари послала кое-кому из пациентов счета и вскоре начала широко применять это оказавшееся действенным средство. В постскриптуме она неукоснительно добавляла: «Не говорите об этом мужу — вы знаете, как он самолюбив... Извините за беспокойство... Готовая к услугам...» Пришло несколько негодующих писем; она их перехватила.

Чтобы наскрести денег, она распродавала старые перчатки, старые шляпки, железный лом; торговалась она отчаянно — в ней заговорила мужицкая кровь. Этого мало: она придумала накупить в Руане всякой всячины — в расчете на то, что сумеет ее перепродать г-ну Лере, а может быть, и другим торговцам. Эмма набрала стра-

усовых перьев, китайского фарфора, шкатулок. Она занимала у Фелисите, у г-жи Лефрансуа, в гостинице «Красный крест», у кого угодно. Получив наконец последние деньги за Барневиль, она уплатила по двум векселям, но тут подоспел срок еще одному — на полторы тысячи. Она опять влезла в долг — и так без конца!

Правда, время от времени она пыталась проверить счета. Но тогда открывались такие страшные вещи, что она вся холодела. Она пересчитывала, быстро запутывалась, бросала и больше уже об этом не думала.

Как уныло выглядел теперь ее дом! Оттуда постоянно выходили обозленные поставщики. На каминных полочках валялись Эммины носовые платочки. Маленькая Берта, к великому ужасу г-жи Оме, ходила в дырявых чулках. Когда Шарль робко пытался сделать жене замечание, она резко отвечала, что это не ее вина.

Что было причиной подобных вспышек? Шарль все объяснял ее давним нервным заболеванием. Он упрекал себя в том, что принимал болезненные явления за свойства характера, обвинял себя в эгоизме, ему хотелось приласкать ее, но он тут же себя останавливал:

«Нет, нет, не надо ей докучать!»

И так и не подходил к ней.

После обеда он гулял в саду один. Иногда брал к себе на колени Берту, открывал медицинский журнал и показывал ей буквы. Но девочка, не привыкшая учиться, смотрела на отца большими грустными глазами и начинала плакать. Отец утешал ее как мог: приносил в лейке воду и пускал ручейки по дорожке, обламывал бирючину и втыкал ветки в клумбы, как будто это деревья, что, однако, не очень портило общий вид сада — до того он был запущен: ведь они так давно не платили садовнику Лестибудуа! Потом девочка зябла и спрашивала, где мама.

— Позови няню, — говорил Шарль. — Ты же знаешь, детка: мама не любит, чтобы ей надоедали.

Уже наступала осень и падал лист — совсем как два года назад, во время болезни Эммы. Когда же все это кончится?.. Заложив руки за спину, Шарль ходил по саду.

Госпожа Бовари сидела у себя в комнате. К ней никто не смел войти. Она проводила здесь целые дни, полуодетая, расслабленная, и лишь время от времени приказывала зажечь курильные свечи, которые она купила в Руане у алжирца. Чтобы ночью рядом с ней не лежал и не спал ее муж, она своими капризами довела его до того, что

он перебрался на третий этаж, а сама читала до утра глупейшие романы с описаниями оргий и с кровавой развязкой. Временами ей становилось страшно; она вскрикивала; прибегал Шарль.

— Уйди! — говорила она.

А когда Эмму особенно сильно жег внутренний огонь — огонь запретной любви, ей становилось нечем дышать, и она, возбужденная, вся охваченная страстью, отворяла окно и с наслаждением втягивала в себя холодный воздух; ветер трепал ее тяжелые волосы, а она, глядя на звезды, жаждала той любви, о которой пишут в романах. Она думала о нем, о Леоне. В такие минуты она отдала бы все за одно утоляющее свидание с ним.

Эти свидания были для нее праздником. Ей хотелось обставить их как можно роскошнее. И если Леон не мог оплатить все расходы, то она швыряла деньги направо и налево, и случалось это почти всякий раз. Он пытался доказать ей, что в другой, более скромной гостинице им было бы не хуже, но она стояла на своем.

Как-то Эмма вынула из ридикюля полдюжины золоченых ложек (это был свадебный подарок папаши Руо) и попросила Леона сейчас же заложить их на ее имя в ломбарде. Леон выполнил это поручение, но неохотно. Он боялся себя ском-

прометировать.

По зрелом размышлении он пришел к выводу, что его любовница начинает как-то странно себя вести и что, в сущности, недурно было бы от нее отделаться.

Помимо всего прочего, кто-то уже написал его матери длинное анонимное письмо, ставившее ее в известность, что Леон «губит свою жизнь связью с замужней женщиной». Почтенная дама, нарисовав себе расплывчатый образ вечного пугала всех семей, некоего зловредного существа, сирены, чуда морского, таящегося в пучинах любви, немедленно написала патрону своего сына Дюбокажу, и Дюбокаж постарался. Он продержал Леона у себя в кабинете около часа и все открывал ему глаза и указывал на бездну. Такого рода связь может испортить карьеру. Он умолял Леона порвать — если не ради себя, то хотя бы ради него, Дюбокажа!

В конце концов Леон обещал больше не встречаться с Эммой. И потом он постоянно упрекал себя, что не держит слова, думал о том, сколько еще будет разговоров и неприятностей из-за этой женщины, а сослуживцы, греясь по утрам у печки, подшучивали над ним. К тому же Леону была обещана должность старшего делопроизводите-

ля — пора было остепениться. Он уже отказался от игры на флейте, от возвышенных чувств, от мечтаний. Нет такого мещанина, который в пору мятежной юности хотя бы один день, хотя бы одно мгновенье не считал себя способным на глубокое чувство, на смелый подвиг. Воображению самого обыкновенного развратника когда-нибудь являлись султанши, в душе у любого нотариуса покоятся останки поэта.

Теперь Леон скучал, когда Эмма на его груди внезапно разражалась слезами. Есть люди, которые выносят музыку только в известных дозах, — так сердце Леона стало глухо к голосам страсти, оно не улавливало оттенков.

Леон и Эмма изучили друг друга настолько, что уже не испытывали той ошеломленности, которая стократ усиливает радость обладания. Она им пресытилась, он от нее устал. Та самая пошлость, которая преследовала Эмму в брачном сожительстве, просочилась и в запретную любовь.

Но как со всем этим покончить? Всю унизительность этого убогого счастья Эмма сознавала отчетливо, и тем не менее она держалась за него то ли в силу привычки, то ли в силу своей порочности. С каждым днем она все отчаяннее цеплялась за него и отравляла себе всякое подобие блаженства

тоскою о каком-то необыкновенном блаженстве. Она считала Леона виновным в том, что надежды ее не сбылись, как если бы он сознательно обманул ее. Ей даже хотелось, чтобы произошла катастрофа и повлекла за собой разлуку — разорвать самой у нее не хватало душевных сил.

Это не мешало ей по-прежнему писать Леону любовные письма: она была убеждена, что женщине полагается писать письма своему возлюбленному.

Но когда она сидела за письменным столом, ей мерещился другой человек, некий призрак, сотканный из самых ярких ее впечатлений, из самых красивых описаний, вычитанных в книгах, из самых сильных ее вожделений. Мало-помалу он становился таким правдоподобным и таким доступным, что она вздрагивала от изумления, хотя представить себе его явственно все-таки не могла: подобно Богу, он был не виден за многоразличием своих свойств. Он жил в лазоревом царстве, где с балконов спускались шелковые лестницы, среди душистых цветов, осиянный луною. Ей казалось, что он где-то совсем близко: сейчас он придет, и в едином лобзании она отдаст ему всю себя. И вдруг она падала как подкошенная: эти бесплодные порывы истощали ее

сильнее самого безудержного разврата.

У нее не проходило ощущение телесной и душевной разбитости. Она получала повестки в суд, разные официальные бумаги, но просматривала их мельком. Ей хотелось или совсем не жить, или спать, не просыпаясь.

В день середины Великого поста она не вернулась в Ионвиль, а пошла вечером на маскарад. На ней были бархатные панталоны, красные чулки, парик с косицей и цилиндр, сдвинутый набекрень. Всю ночь она проплясала под бешеный рев тромбонов; мужчины за ней увивались; под утро она вышла из театра в компании нескольких масок — «грузчиц» и «моряков», товарищей Леона, — они звали ее ужинать.

Ближайшие кафе были переполнены. Наконец они отыскали на набережной захудалый ресторанчик; хозяин провел их в тесный отдельный кабинет на пятом этаже.

Мужчины шептались в уголке, видимо, подсчитывая предстоящие расходы. Тут был один писец, два лекаря и один приказчик. Нечего сказать, в хорошее общество попала она! А женщины! Эмма сразу по звуку голоса определила, что все они самого низкого пошиба. Ей стало страшно, она отсела от них и опустила глаза.

Все принялись за еду. Она ничего не ела. Лоб у нее пылал, веки покалывало, по телу пробегал озноб. Ей казалось, что голова ее превратилась в бальную залу, и пол в ней трясется от мерного топота множества пляшущих ног. Потом ей стало дурно от запаха пунша и от дыма сигар. Она потеряла сознание; ее перенесли к окну.

Светало. По бледному небу, над холмом Святой Катерины, все шире растекалось пурпурное пятно. Посиневшая от холода река дрожала на ветру. Никто не шел по мостам. Фонари гасли.

Эмма между тем очнулась и вспомнила о Берте, которая спала сейчас там, в Ионвиле, в няниной комнате. В эту самую минуту мимо проехала телега с длинными листами железа; стенам домов передавалась мелкая дрожь оглушительно скрежетавшего металла.

Эмма вдруг сорвалась с места, переоделась в другой комнате, сказала Леону, что ей пора домой, и, наконец, осталась одна в гостинице «Булонь». Она испытывала отвращение ко всему, даже к себе самой. Ей хотелось вспорхнуть, как птица, улететь куда-нибудь далеко-далеко, в незагрязненные пространства, и обновиться душой и телом.

Она вышла на улицу и, пройдя бульвар и пло-

щадь Кошуаз, очутилась в предместье, на улице, где было больше садов, чем домов. Она шла быстрой походкой, свежий воздух действовал на нее успокаивающе, и постепенно лица, мелькавшие вчера перед ней, маски, танцы, люстры, ужин, девицы — все это исчезло, как подхваченные ветром хлопья тумана. Дойдя до «Красного креста», она поднялась в свой номерок на третьем этаже, где висели иллюстраций к «Нельской башне», и бросилась на кровать. В четыре часа дня ее разбудил Ивер.

Дома Фелисите показала ей на лист серой бумаги, спрятанный за часами. Эмма прочла:

«Копия постановления суда...»

Какого еще суда? Она не знала, что накануне приносили другую бумагу, и ее ошеломили эти слова:

«Именем короля, закона и правосудия г-жа Бовари...»

Несколько строк она пропустила.

«...в двадцать четыре часа...»

Что в двадцать четыре часа?

«...уплатить сполна восемь тысяч франков».

И дальше:

«В противном случае на законном основании будет наложен арест на все ее движимое и недви-

жимое имущество».

Что же делать?.. Через двадцать четыре часа! Значит — завтра! Она решила, что Лере просто пугает ее. Ей казалось, что она разгадала все его маневры, поняла цель его поблажек. Громадность суммы отчасти успокоила ее.

А между тем, покупая и не платя, занимая, выдавая и переписывая векселя, суммы которых росли с каждой отсрочкой, Эмма накопила г-ну Лере изрядный капитал, который был ему теперь очень нужен для всевозможных махинаций.

Эмма пришла к нему как ни в чем не бывало.

— Вы знаете, что произошло? Это, конечно, шутка?

— Нет.

— То есть как?

Он медленно повернулся к ней всем корпусом и, сложив на груди руки, сказал:

— Неужели вы думаете, милая барыня, что я до скончания века буду служить вам поставщиком и банкиром только ради ваших прекрасных глаз? Войдите в мое положение: надо же мне когда-нибудь вернуть мои деньги!

Эмма попыталась возразить против суммы.

— Ничего не поделаешь! Утверждено судом! Есть постановление! Вам оно объявлено офици-

ально. Да и потом, это же не я, а Венсар.

— А вы не могли бы...

— Ничего я не могу.

— Ну, а все-таки... Давайте подумаем.

И она замолола вздор: она ничего не знала, все это ей как снег на голову...

— А кто виноват? — поклонившись ей с насмешливым видом, спросил торговец. — Я из сил выбиваюсь, а вы веселитесь.

— Нельзя ли без нравоучений?

— Нравоучения всегда полезны, — возразил он.

Эмма унижалась перед ним, умоляла, даже дотронулась до его колена своими красивыми длинными белыми пальцами.

— Нет уж, пожалуйста! Вы что, соблазнить меня хотите?

— Подлец! — крикнула Эмма.

— Ого! Уж очень быстрые у вас переходы! — со смехом заметил Лере.

— Я выведу вас на чистую воду. Я скажу мужу...

— А я вашему мужу кое-что покажу!

С этими словами Лере вынул из несгораемого шкафа расписку на тысячу восемьсот франков, которую она ему выдала, когда Венсар собирался учесть ее векселя.

— Вы думаете, ваш бедный муженек не поймет, что вы сжульничали? — спросил он.

Эмму точно ударили обухом по голове. А Лере шагал от окна к столу и обратно и все твердил:

— Я непременно ему покажу... я непременно ему покажу...

Затем он приблизился к ней вплотную и вдруг перешел на вкрадчивый тон:

— Конечно, это не весело, я понимаю. Но, в конце концов, никто от этого не умирал, и поскольку другого пути вернуть мне деньги у вас нет...

— Где же мне их взять? — ломая руки, проговорила Эмма.

— А, будет вам! У вас же есть друзья!

И при этом он посмотрел на нее таким пронизывающим и таким страшным взглядом, что она содрогнулась.

— Я обещаю вам, я подпишу... — залепетала она.

— Довольно с меня ваших подписей!

— Я еще что-нибудь продам...

— Перестаньте! У вас ничего больше нет! — передернув плечами, прервал ее торговец и крикнул в слуховое окошко, выходившее в лавку: — Аннета! Принеси мне три отреза номер четырнадцать.

Появилась служанка. Эмма все поняла и только спросила, какая нужна сумма, чтобы прекратить дело.

— Поздно!

— А если я вам принесу несколько тысяч франков, четверть суммы, треть, почти все?

— Нет, нет, бесполезно!

Он осторожно подталкивал ее к лестнице.

— Заклинаю вас, господин Лере: еще хоть несколько дней!

Она рыдала.

— Ну, вот еще! Слезы!

— Я в таком отчаянии!

— А мне наплевать! — запирая дверь, сказал г-н Лере.

VII

На другой день, когда судебный пристав г-н Аран явился к ней с двумя понятыми описывать имущество, она держала себя героически.

Начали они с кабинета Бовари, но френологическую голову описывать не стали, так как отнесли ее к «медицинским инструментам». Зато в кухне переписали блюда, горшки, стулья, подсвечники, а в спальне безделушки на этажерке. Осмотрели платья Эммы, белье, туалетную комнату. Вся жизнь Эммы со всеми ее тайниками была выставлена напоказ этим трем мужчинам, точно вскрываемый труп.

Господин Аран в наглухо застегнутом черном фраке, в белом галстуке, в панталонах с туго натянутыми штрипками время от времени обращался к Эмме:

— Разрешите, сударыня! Разрешите! Поминутно раздавались его восклицания:

— Какая хорошенькая вещица!.. Какая прелесть! Потом г-н Аран опять принимался писать, макая перо в роговую чернильницу, которую он держал в левой руке.

Покончив с жилым помещением, поднялись

на чердак.

Там у Эммы стоял пюпитр, где хранились письма Родольфа. Пришлось открыть и пюпитр.

— Ах, тут корреспонденция! — улыбаясь скромной улыбкой, сказал г-н Аран. — А все-таки разрешите мне удостовериться, что в ящике больше ничего нет.

Он стал осторожно наклонять конверты, словно для того, чтобы высыпать золото. При виде того, как эта жирная рука с красными, влажными, точно слизняки, пальцами касается тех страниц, над которыми когда-то сильно билось ее сердце, Эмма чуть было не вышла из себя.

Наконец они удалились. Вошла Фелисите. Эмма посылала ее перехватить Бовари и постараться отвлечь его внимание. Сторожа, оставленного караулить описанное имущество, они спровадили на чердак, взяв с него слово, что он оттуда не выйдет.

Вечером Эмме показалось, что Шарль чем-то озабочен. Она следила за ним встревоженным взглядом и в каждой складке на его лице читала себе обвинительный приговор. Когда же она переводила глаза на камин, заставленный китайским экраном, на широкие портьеры, на кресла, на все эти вещи, скрашивавшие ей жизнь, ее

охватывало раскаяние, вернее — глубочайшее сожаление, от которого боль не только не утихала, а наоборот: становилась все мучительнее. Шарль, поставив ноги на решетку, спокойно помешивал угли в камине.

Сторож, видимо соскучившись в своем укромном уголке, чем-то стукнул.

— Там кто-то ходит? — спросил Шарль.

— Нет! — ответила Эмма. — Забыли затворить слуховое окно, и ветер хлопает рамой.

На другой день, в воскресенье, она поехала в Руан и обегала всех известных ей банкиров. Но они были за городом или в отлучке. Это ее не остановило. Она просила денег у тех немногих, кого ей удалось застать, и все твердила, что у нее сейчас крайность и что она отдаст. Иные смеялись ей в лицо. Отказом ответили все.

В два часа она побежала к Леону, постучалась. Ее не впустили. Наконец появился он сам.

— Зачем ты пришла?

— Тебе это неприятно?

— Нет... но...

Он признался, что хозяин не любит, когда у жильцов «бывают женщины».

— Мне надо с тобой поговорить, — сказала Эмма.

Он хотел было распахнуть перед ней дверь, но она остановила его:

— Нет, нет! Пойдем к нам!

И они пошли в свой номер, в гостиницу «Булонь».

Войдя, Эмма выпила целый стакан воды. Она была очень бледна.

— Леон, окажи мне услугу, — обратилась она к нему.

Она стиснула ему руки и стала трясти их.

— Слушай: мне нужно восемь тысяч франков!

— Ты с ума сошла!

— Пока еще нет!

Она рассказала ему про опись, про свою беду: Шарль ничего не подозревает, свекровь ненавидит ее, отец ничем не в состоянии помочь. Но Леон должен похлопотать и во что бы то ни стало раздобыть требуемую сумму...

— Но как же я...

— Тряпка ты, а не мужчина! — крикнула она.

В ответ на это он сказал явную глупость:

— Ты сгущаешь краски. Наверно, твоему старикашке можно заткнуть рот и одной тысячей экю.

Казалось бы, тем больше у Леона оснований хоть что-нибудь предпринять. Никогда она не поверит, чтобы нельзя было достать три тысячи

франков. Притом Леон может занять не для себя, а для нее.

— Ну иди! Попытайся! Это необходимо! Беги!.. Сделай все! Сделай все! Я так тебя буду любить!

Он ушел и, вернувшись через час, торжественно объявил:

— Я был у троих... Ничего не вышло.

Молча и неподвижно сидели они друг против друга по обе стороны камина. Эмма пожимала плечами, пристукивая от нетерпения каблуком. Вдруг он услышал ее шепот:

— Я бы на твоем месте, конечно, нашла!

— Да где же?

— У себя в конторе!

И она взглянула на него.

Глаза ее горели дикой отвагой, веки сладострастно и ободряюще смежались, и молодой человек чувствовал, что он не в силах противодействовать молчаливой воле этой женщины, толкающей его на преступление. Ему стало страшно, и, чтобы не ставить точек над і, он, хлопнув себя по лбу, воскликнул:

— Да ведь сегодня ночью должен вернуться Морель! Надеюсь, он мне не откажет. (Морель был сын богатого коммерсанта, приятель Леона.) Завтра я привезу тебе деньги, — добавил он.

Эмма, видимо, не очень обрадовалась. Быть может, она подозревала ложь? Леон покраснел.

— Но если до трех часов меня не будет, ты уж меня не жди, дорогая, — предупредил он. — А теперь прости — мне пора. Прощай!

Он пожал ей руку, но ответного пожатия не ощутил. Эмма уже ничего не чувствовала, кроме душевной пустоты.

Пробило четыре часа, и она по привычке, как автомат, встала с места — надо было ехать обратно в Ионвиль.

Погода стояла прекрасная. Был один из тех ясных и свежих мартовских дней, когда солнце сияет на белом-белом небе. Руанцы, нарядные ради воскресного дня, разгуливали и, казалось, наслаждались жизнью. Эмма дошла до соборной площади. Только что кончилась всенощная, и народ расходился. Толпа, словно река из трех пролетов моста, текла из трех церковных дверей, а у главного входа неподвижной скалой высился привратник.

И тут Эмма припомнила день, когда, полная надежд и сомнений, входила она под эти своды, а любовь ее в тот миг была еще глубже громадного храма. Она плохо сознавала, что с ней творится, но все же продолжала идти, хотя ноги у нее под-

кашивались, а из глаз текли под вуалью слезы.

— Берегись! — крикнул голос из распахнувшихся ворот.

Она остановилась и пропустила вороную лошадь, приплясывавшую в оглоблях тильбюри, которым правил какой-то джентльмен в собольей шубе. Кто бы это мог быть? Эмма его где-то видела... Лошадь рванула и укатила.

Да это же виконт! Эмма оглянулась — улица была пуста. Подавленная, измученная, Эмма прислонилась к стене, чтобы не упасть.

Потом она подумала, что, вероятно, ошиблась. Вообще она уже ничего не понимала. Все в ней самой и вокруг нее было ненадежно. Она чувствовала, что погибает, чувствовала, что катится в пропасть. И она даже обрадовалась милому Оме, — держа в руке платок с полдюжиной «тюрбанчиков» для своей супруги, он стоял во дворе «Красного креста» и наблюдал за тем, как в «Ласточку» грузят большой ящик с аптекарскими товарами.

«Тюрбанчики» — тяжелые хлебцы в виде чалмы, которые принято есть постом и непременно — с соленым маслом, — г-жа Оме очень любила. Это единственный уцелевший образец средневековой кулинарии, восходящий, быть может, ко

времени крестовых походов: такими хлебцами, вероятно, наедались досыта могучие нормандцы, которым при желтом свете факелов казалось, будто на столах среди кувшинов с вином и громадных окороков выставлены им на съедение головы сарацинов. Аптекарша, несмотря на скверные зубы, грызла тюрбанчики с героическим упорством, поэтому г-н Оме всякий раз, когда бывал в Руане, покупал их для нее в лучшей булочной на улице Масакр.

— Какая приятная встреча! — сказал он, подсаживая Эмму в «Ласточку».

Затем привязал тюрбанчики к ремню багажной сетки, снял шляпу и, скрестив руки, принял наполеоновскую задумчивую позу. Но когда у подножия горы, по обыкновению, показался слепой, он воскликнул:

— Не понимаю, как это власти до сих пор терпят столь предосудительный промысел! Таких несчастных нужно отделить от общества и приучить к труду! Прогресс двигается черепашьим шагом, честное слово! Мы недалеко ушли от варваров!

Слепой протягивал шляпу, и она тряслась у края занавески, словно отставший клочок обоев.

— Последствие золотухи! — возгласил фарма-

цевт.

Он прекрасно знал этого горемыку, но притворился, будто видит его впервые, и стал сыпать специальными выражениями: роговая оболочка, склера, габитус, фациес, а затем отеческим тоном заговорил с ним:

— И давно ты, мой друг, болеешь этой ужасной болезнью? Вместо того чтобы шататься по кабакам, ты бы лучше придерживался определенного режима.

Он советовал ему пить хорошее вино, хорошее пиво, есть хорошее жаркое. Слепой все тянул свою песенку. Вообще он казался полуидиотом. Наконец г-н Оме открыл кошелек.

— На, вот тебе су, дай мне два лиара сдачи. И не забывай моих советов — они тебе пригодятся.

Ивер не постеснялся выразить по этому поводу сомнение. Но аптекарь, заявив, что берется вылечить слепого с помощью противовоспалительной мази собственного приготовления, дал ему свой адрес:

— Господин Оме, возле рынка, меня все знают.

— Ну, а теперь, за то, что побеспокоил господ, представь нам комедию, — сказал Ивер.

Слепой присел на корточки, запрокинул голову, высунул язык и, вращая глазами, затекшими

зеленоватым гноем, стал тереть обеими руками живот и глухо, как голодная собака, завыл. Почувствовав отвращение, Эмма бросила ему через плечо пятифранковую монету. Это было все ее достояние. Она тут же подумала, что лучше нельзя было его промотать.

Дилижанс поехал дальше, но г-н Оме вдруг высунулся в окошко и крикнул:

— Ни мучного, ни молочного! Носить шерстяное белье и подвергать пораженные участки действию можжевелового дыма!

Знакомые предметы, мелькавшие перед глазами Эммы, отвлекали ее от мрачных дум. Она чувствовала во всем теле страшную усталость; домой она вернулась в каком-то отупении, изнеможении, полусне.

«Будь что будет!» — решила она.

А потом, кто знает? Всегда может произойти что нибудь необычайное. Например, скоропостижно умрет Лере.

В девять часов утра ее разбудил шум на площади. У рынка, около столба, на котором было наклеено большое объявление, собрался народ, а Жюстен, стоя на тумбе, срывал объявление. Но в эту минуту его схватил за шиворот полевой сторож. Из аптеки вышел г-н Оме. В центре толпы

стояла и, по-видимому, о чем-то распространялась тетушка Лефрансуа.

— Барыня! Барыня! — крикнула, вбегая, Фелисите. — Вот безобразие!

С этими словами бедная девушка, вся дрожа от волнения, протянула Эмме лист желтой бумаги, который она сейчас сорвала с двери. Эмма, только взглянув, поняла все: это объявление о распродаже ее имущества.

Барыня и служанка молча переглянулись. У них не было тайн друг от друга. Фелисите вздохнула.

— Я бы на вашем месте, барыня, пошла к Гильомену.

— Ты думаешь?

Этим вопросом она хотела сказать:

«Через слугу тебе известно все. Разве хозяин говорил когда-нибудь обо мне?»

— Да, да, пойдите к нему, это самое лучшее.

Госпожа Бовари надела черное платье и шляпку с отделкой из стекляруса. Чтобы ее не увидели (на площади все еще толпился народ), она пошла задворками, берегом реки.

Добежав до калитки нотариуса, она еле перевела дух. Было пасмурно, падал снежок.

На звонок вышел Теодор в красном жилете; он встретил Эмму почти фамильярно, как свою

приятельницу, и провел прямо в столовую.

Под кактусом, который заполонял всю нишу, гудела большая изразцовая печь; на стенах, оклеенных обоями под цвет дуба, висели в черных деревянных рамах «Эсмеральда» Штейбена и «Жена Потифара» Шопена. Накрытый стол, две серебряные грелки, хрустальная дверная ручка, паркет, обстановка — все сверкало безукоризненной, английской чистотой. В уголки окон были вставлены для красоты цветные стекла.

«Мне бы такую столовую», — подумала Эмма.

Вошел нотариус; левой рукой он придерживал расшитый пальмовыми листьями халат, а другой рукой то приподнимал, то опять надевал коричневую бархатную шапочку, кокетливо сдвинутую на правый бок — туда, где свисали три белесые пряди, которые, расходясь на затылке, обвивали его голый череп.

Предложив Эмме кресло, Гильомен извинился за бесцеремонность и сел завтракать.

— У меня к вам просьба, сударь... — заговорила Эмма.

— Какая просьба, сударыня? Я вас слушаю. Она начала излагать суть дела.

Господин Гильомен все уже знал от самого торговца тканями, с которым он не раз под шумок

обделывал дела: когда нотариуса просили устроить ссуду под закладные, г-н Лере охотно давал ему деньги.

Таким образом вся эта длинная история представлялась ему яснее, чем самой Эмме: ее векселя, сначала мелкие, бланкированные разными лицами, надолго отсроченные, без конца переписывались, пока в один прекрасный день купец не собрал все протесты и не поручил своему приятелю подать в суд, но только от своего имени, ибо прослыть у своих сограждан живоглотом он считал для себя невыгодным.

Эмма перебивала свой рассказ упреками по адресу Лере, на которые нотариус время от времени отвечал ничего не значащими словами. Синий галстук, заколотый двумя брильянтовыми булавками, соединенными золотой цепочкой, подпирал ему подбородок; он ел котлету, пил чай и все улыбался какой-то странной улыбкой, слащавой и двусмысленной. Потом вдруг обратил внимание, что у посетительницы промокли ноги:

— Сядьте поближе к печке... А ноги повыше... Поближе к кафелям.

Эмма боялась их запачкать.

— Красивое ничего не может испортить, — га-

лантно заметил нотариус.

Эмма попыталась растрогать его и, постепенно проникаясь жалостью к самой себе, заговорила с ним о своем скудном достатке, о домашних дрязгах, о своих потребностях. Он все это понимал: еще бы, такая элегантная женщина! Не переставая жевать, он повернулся к ней всем корпусом, так что колено его касалось теперь ее ботинка, от приставленной к теплой печке и коробившейся подошвы которого шел пар.

Но когда Эмма попросила у него тысячу экю, он поджал губы и сказал, что напрасно она раньше не уполномочила его распорядиться ее состоянием, так как много есть приемлемых и для женщины способов получать прибыль. Можно было почти без всякого риска отлично заработать на грюменильских торфяных разработках, на гаврских земельных участках. Он называл сногсшибательные цифры ее возможных доходов, и это приводило ее в бешенство.

— Почему же вы не обратились ко мне? — спросил он.

— Сама не знаю, — ответила она.

— Почему же все-таки?.. Неужели вы меня боялись? Значит, это я должен жаловаться на судьбу, а не вы! Мы с вами были едва знакомы! А между

тем я вам всей душой предан. Надеюсь, теперь вы в этом не сомневаетесь?

Он взял ее руку, припал к ней жадными губами, потом положил себе на колено и, бережно играя пальцами Эммы, стал рассыпаться в изъявлениях нежности.

Его монотонный голос журчал, как ручей, сквозь отсвечивавшие очки было видно, как в его зрачках вспыхивают искры, а пальцы все выше забирались к Эмме в рукав. Она чувствовала на своей щеке его прерывистое дыхание. Он был ей мерзок.

— Милостливый государь, я жду! — вскочив с места, сказала она.

— Чего ждете? — спросил нотариус; он был сейчас бледен как смерть.

— Денег.

— Но...

Искушение было слишком велико.

— Ну, хорошо!.. — сказал г-н Гильомен.

Не обращая внимания на халат, он пополз к ней на коленях.

— Останьтесь, умоляю! Я вас люблю!

Он обхватил рукой ее стан.

Вся кровь бросилась Эмме в голову. Она дико посмотрела на него и отпрянула.

— Как вам не стыдно, милостивый государь! — крикнула она. — Воспользоваться моим бедственным положением!.. Меня можно погубить, но меня нельзя купить!

И выбежала из комнаты.

Господин Гильомен тупо уставился на свои прекрасные ковровые туфли — это был дар любящего сердца. Наглядевшись на них, он понемногу утешился. А кроме того, он подумал, что такого рода похождение могло бы слишком далеко его завести.

«Негодяй! Хам!.. Какая низость!» — шептала Эмма, идя нервной походкой под придорожными осинами. К чувству оскорбленной стыдливости примешивалось горестное сознание, что последняя ее надежда рухнула. Ей пришло на ум, что ее преследует само провидение, и мысль эта наполнила ее гордостью — никогда еще не была она такого высокого мнения о себе и никогда еще так не презирала людей. На нее нашло какое-то исступление. Ей хотелось бить всех мужчин, плевать им в лицо, топтать их ногами. Бледная, дрожащая, разъяренная, она быстро шла вперед, глядя сквозь слезы в пустынную даль, испытывая какое-то злобное наслаждение.

Завидев свой дом, она вдруг почувствовала

полный упадок сил. Ноги не слушались ее, а не идти она не могла — куда же ей было деваться?

Фелисите ждала ее у входа.

— Ну что?

— Сорвалось! — сказала Эмма.

Минут пятнадцать перебирали они всех ионвильцев, которые могли бы ей помочь. Но стоило Фелисите назвать кого-нибудь, как у Эммы тотчас находились возражения.

— Ну что ты! Разве они согласятся!

— А ведь сейчас барин придет!

— Я знаю... Оставь меня.

Она испробовала все. Круг замкнут. Когда Шарль придет, она скажет ему начистоту:

— Уходи отсюда. Ковер, по которому ты ступаешь, уже не наш. От всего твоего дома у тебя не осталось ни одной вещи, ни одной булавки, ничего как есть, и это я разорила тебя, несчастный ты человек!

Тут Шарль разрыдается, а когда выплачется, когда первый порыв отчаяния пройдет, он простит ее.

— Да, — шептала она, скрежеща зубами, — он простит меня, а я и за миллион не простила бы Шарлю того, что я досталась ему... Никогда! Никогда!

Эта мысль о моральном превосходстве Шарля выводила ее из себя. Как бы то ни было, сознается она или не сознается, все равно — сейчас немного погодя или завтра, но он узнает о катастрофе. Значит, мучительного разговора не избежать, она неминуемо должна будет принять на себя всю тяжесть его великодушия. Не сходить ли еще раз к Лере? Но какой смысл? Написать отцу? Поздно. Быть может, она уже теперь жалела, что отказала нотариусу, но тут внезапно послышался конский топот. Это подъехал Шарль, он уже отворил калитку; он был белее мела. Эмма пустилась стрелой вниз по лестнице, перебежала площадь. Жена мэра, остановившаяся у церкви с Лестибудуа видела, как она вошла к податному инспектору.

Госпожа Тюваш побежала к г-же Карон поделиться новостью. Обе дамы поднялись на чердак и, спрятавшись за развешанным на жердях бельем, устроились так, чтобы видеть все, что происходит у Бине.

Сидя один в своей мансарде, он вытачивал из дерева копию одного из тех не поддающихся описанию и никому не нужных костяных изделий, которые состоят из полумесяцев, шариков, вставленных один в другой, а вместе образуют

сооружение прямое, точно обелиск. Податному инспектору осталось выточить последнюю деталь, он был почти у цели! В полумраке мастерской из-под резца летела белая пыль, похожая на искровой фонтан, бьющий из-под копыт скакуна. Колеса крутились, скрипели. Склонившись над станком, Бине раздувал ноздри и улыбался; по-видимому, он испытывал чувство полного удовлетворения, того удовлетворения, какое могут дать только примитивные занятия, радующие легкими трудностями и заставляющие успокаиваться на достигнутом, ибо дальше стремиться уже не к чему.

— Ага! Вот она! — сказала г-жа Тюваш.

Но станок так скрежетал, что слов Эммы не было слышно. Наконец обеим дамам показалось, что до них долетели слово «франки».

— Она просит его не брать с нее сейчас налогов, — шепнула г-жа Тюваш.

— Это предлог! — заметила г-жа Карой.

Им было видно, как Эмма ходила по мастерской, рассматривала висевшие на стенах кольца для салфеток, подсвечники, шары для перил и с каким самодовольным выражением лица поглаживал подбородок Бине.

— Может, она хочет что-нибудь ему заказать? —

высказала предположение г-жа Тюваш.

— Да он ничего не продает! — возразила соседка.

Податной инспектор, видимо, слушал, но, как ни таращил глаза, ничего не мог взять в толк. Эмма продолжала говорить, смотря на него нежным, умоляющим взором. Потом она подошла к нему вплотную; грудь ее высоко поднималась; оба не произносили ни слова.

— Неужели она с ним заигрывает? — спросила г-жа Тюваш.

Бине покраснел до ушей. Эмма взяла его за руку.

— Это уж бог знает что такое!

Эмма, бесспорно, делала ему какое-то гнусное предложение, потому что податной инспектор — а он был не из робких: он сражался за родину под Баутценом и Лютценом и был даже «представлен к кресту» — вдруг, точно завидев змею, шарахнулся от Эммы и крикнул:

— Милостивая государыня! Да вы в своем уме?..

— Таких женщин сечь надо! — сказала г-жа Тюваш.

— Да где же она? — спросила г-жа Карой.

А Эммы уже и след простыл. Некоторое вре-

мя спустя они снова увидели ее: она бежала по Большой улице, а потом повернула направо, как будто бы к кладбищу, и это окончательно сбило их с толку.

— Тетушка Роле, мне душно!.. — войдя к кормилице, сказала Эмма. — Распустите мне шнуровку.

Эмма рухнула на кровать. Она рыдала. Тетушка Роле накрыла ее юбкой и стала возле кровати. Но г-жа Бовари не отвечала ни на какие вопросы, и кормилица опять села за прялку.

— Ох! Перестаньте! — вообразив, что это станок Бине, прошептала Эмма.

«Что с ней? — думала кормилица. — Зачем она ко мне пришла?»

Эмму загнал сюда страх — она не в силах была оставаться дома.

Лежа на спине, она неподвижным, остановившимся взглядом смотрела прямо перед собой, и хотя разглядывала предметы с каким-то тупым вниманием, а все же различала их неясно. Она не отрывала глаз от трещин на стене, от двух дымящихся головешек и от продолговатого паука, сновавшего у нее над головой по щели в балке. Наконец ей удалось привести мысли в порядок. Она вспомнила... Однажды она шла с Леоном...

О, как это было давно!.. Река сверкала на солнце, благоухал ломонос... Воспоминания понесли ее, как бурный поток, и она припомнила вчерашний день.

— Который час? — спросила она.

Тетушка Роле вышла во двор, протянула руку к самой светлой части неба и не спеша вернулась домой.

— Скоро три, — объявила она.

— Спасибо! Спасибо!

Сейчас приедет Леон. Наверное приедет! Он достал денег. Но ведь он не знает, что она здесь, — скорее всего он пройдет прямо к ней. Эмма велела кормилице сбегать за ним.

— Только скорей!

— Иду, иду, милая барыня!

Теперь Эмма не могла понять, почему она не подумала о нем с самого начала. Вчера он дал слово, он не подведет. Она живо представила себе, как она войдет к Лере и выложит на стол три кредитных билета. Потом еще надо будет как-нибудь объяснить Бовари. Но что можно придумать?

Кормилица между тем все не шла. Часов в лачуге не было, и Эмма успокоила себя, что это для нее так тянется время. Она решила прогуляться по саду, медленным шагом прошлась мимо

изгороди, а затем, в надежде, что кормилица шла обратно другой дорогой, быстро вернулась. Наконец, истерзанная ожиданием, отбиваясь от роя сомнений, не зная, как долго томится она здесь — целый век или одну минуту, она села в уголок, закрыла глаза, заткнула уши. Скрипнула калитка. Она вскочила. Не успела она задать кормилице вопрос, как та уже выпалила:

— К вам никто не приезжал!

— Как?

— Никто, никто! А барин плачет. Он вас зовет. Вас ищут. Эмма ничего не сказала в ответ. Ей было трудно дышать, она смотрела вокруг блуждающим взглядом. Кормилица, увидев, какое у нее лицо, невольно попятилась: ей показалось, что г-жа Бовари сошла с ума. Вдруг Эмма вскрикнула и ударила себя по лбу: точно яркая молния во мраке ночи, прорезала ей сознание мысль о Родольфе. Он был такой добрый, такой деликатный, такой великодушный! Если даже он начнет колебаться, она заставит его оказать ей эту услугу: довольно одного ее взгляда, чтобы в душе у Родольфа воскресла любовь. И она отправилась в Ла Юшет, не отдавая себе отчета, что теперь она сама идет на то, что еще так недавно до глубины души возмутило ее, — не помышляя о том, какой

это для нее позор.

VIII

«Что ему сказать? С чего начать?» — думала она дорогой. Все ей здесь было знакомо: каждый кустик, каждое дерево, бугор, поросший дроком, усадьба вдали. Она вновь ощущала в себе первоначальную нежность, ее бедное пустовавшее сердце наполнялось влюбленностью. Теплый ветер дул ей в лицо; снег таял и по капле стекал на траву с еще не развернувшихся почек.

Она, как прежде, вошла в парк через калитку, оттуда во двор, окаймленный двумя рядами раскидистых лип. Их длинные ветви качались со свистом. На псарне залаяли дружно собаки. Но как они ни надрывались, на крыльцо не вышел никто.

Эмма поднялась по широкой, без поворотов, лестнице с деревянными перилами; наверху был коридор с грязным плиточным полом: туда, точно в монастыре или в гостинице, выходил длинный ряд комнат. Комната Родольфа была в самом конце, налево. Когда Эмма взялась за ручку двери, силы внезапно оставили ее. Она боялась, что не застанет Родольфа, и вместе с тем как будто бы хотела, чтобы его не оказалось дома, хотя это

была ее единственная надежда, последний якорь спасения. Она сделала над собой усилие и, черпая бодрость в сознании, что это необходимо, вошла.

Он сидел у камина, поставив ноги на решетку, и курил трубку.

— Ах, это вы! — сказал он, вскакивая со стула.

— Да, это я!.. Родольф, я хочу с вами посоветоваться. Но слова застряли у нее в горле.

— А вы не изменились, все такая же очаровательная!

— Значит, не настолько уж сильны мои чары, если вы ими пренебрегли, — с горечью заметила она.

Родольф стал объяснять, почему он так поступил с ней, и, не сумев придумать ничего убедительного, напустил туману.

Эмму подкупали не столько слова Родольфа, сколько его голос и весь его облик. Она притворилась, будто верит, а может быть, и в самом деле поверила, что причиной их разрыва была некая тайна, от которой зависела честь и даже жизнь третьего лица.

— Все равно я очень страдала, — глядя на него грустными глазами, сказала она.

— Такова жизнь! — с видом философа изрек Родольф.

— По крайней мере, жизнь улыбалась вам с тех пор, как мы расстались? — спросила Эмма.

— Ни улыбалась, ни хмурилась...

— Пожалуй, нам лучше было бы не расставаться?..

— Да, пожалуй!

— Ты так думаешь? — придвинувшись к нему, сказала она со вздохом. — О Родольф! Если б ты знал!.. Я тебя так любила!

Только тут решилась она взять его за руку, и на некоторое время их пальцы сплелись — как тогда, в первый раз, на выставке. Он из самолюбия боролся с прихлынувшей к его сердцу нежностью. А Эмма, прижимаясь к его груди, говорила:

— Как я могла жить без тебя! Нельзя отвыкнуть от счастья! Я была в таком отчаянии! Думала, что не переживу! Я потом все тебе расскажу. А ты... ты не хотел меня видеть!..

В самом деле, все эти три года, из трусости, характерной для сильного пола, он старательно избегал ее.

— Ты любил других, признайся! — покачивая головой и ластясь к нему, точно ласковая кошечка, говорила Эмма. — О, я их понимаю, да! Я им прощаю. Ты, верно, соблазнил их так же, как меня. Ты — настоящий мужчина! Ты создан для

того, чтобы тебя любили. Но мы начнем сначала, хорошо? Мы опять полюбим друг друга! Смотри: я смеюсь, я счастлива... Ну, говори же!

В глазах у нее дрожали слезы: так после грозы в голубой чашечке цветка дрожат дождевые капли, — в эту минуту Эммой нельзя было не залюбоваться.

Он посадил ее к себе на колени и начал осторожно проводить тыльной стороной руки по ее гладко зачесанным волосам, по которым золотою стрелкою пробегал в сумерках последний луч заходящего солнца. Она опустила голову. Тогда Родольф едва прикоснулся губами к ее векам.

— Ты плачешь! — проговорил он. — О чем?

Эмма разрыдалась. Родольф подумал, что это взрыв накопившихся чувств. Когда же она затихла, он принял это за последний приступ стыдливости.

— О, прости меня! — воскликнул он. — Ты — моя единственная. Я был глуп и жесток! Я люблю тебя и буду любить всегда!.. Скажи мне, что с тобой?

Он стал на колени.

— Ну так вот... Я разорилась, Родольф! Дай мне взаймы три тысячи франков!

— Но... но... — уже с серьезным лицом начал он, медленно вставая с колен.

— Понимаешь, — быстро продолжала она, — мой муж поместил все свои деньги у нотариуса, а тот сбежал. Мы наделали долгов, пациенты нам не платили. Впрочем, ликвидация еще не кончена, деньги у нас будут. Но пока что не хватает трех тысяч, нас описали, описали сегодня, сейчас, и я, в надежде на твое дружеское участие, пришла к тебе.

«Ах, так вот зачем она пришла!» — мгновенно побледнев, подумал Родольф.

А вслух совершенно спокойно сказал:

— У меня нет таких денег, сударыня.

Он говорил правду. Будь они у него, он бы, конечно, дал, хотя вообще делать такие широкие жесты не очень приятно: из всех злоключений, претерпеваемых любовью, самое расхолаживающее, самое убийственное — это денежная просьба.

Некоторое время она смотрела на него не отрываясь.

— У тебя таких денег нет!

Она несколько раз повторила:

— У тебя таких денег нет!.. Зачем же мне еще это последнее унижение? Ты никогда не любил меня! Ты ничем не лучше других.

Она выдавала, она губила себя.

Родольф, прервав ее, начал доказывать, что он сам «в стесненных обстоятельствах».

— Мне жаль тебя! — сказала Эмма. — Да, очень жаль!.. На глаза ей попался блестевший на щите карабин с насечкой.

— Но бедный человек не отделывает ружейный приклад серебром! Не покупает часов с перламутровой инкрустацией! — продолжала она, указывая на булевские часы. — Не заводит хлыстов с золочеными рукоятками! — Она потрогала хлысты. — Не вешает брелоков на цепочку от часов! О, у него все есть! Даже погребец! Ты за собой ухаживаешь, живешь в свое удовольствие, у тебя великолепный дом, фермы, лес, псовая охота, ты ездишь в Париж!.. Ну вот хотя бы это! — беря с камина запонки, воскликнула Эмма. — Здесь любой пустяк можно превратить в деньги!.. Нет, мне их не надо! Оставь их себе!

И тут она с такой силой швырнула запонки, что когда они ударились об стену, то порвалась золотая цепочка.

— А я бы отдала тебе все, я бы все продала, я бы работала на тебя, пошла бы милостыню просить за одну твою улыбку, за один взгляд, только за то, чтобы услышать от тебя: «Спасибо!» А ты спокойно сидишь в кресле, как будто еще мало

причинил мне горя! Знаешь, если б не ты, я бы еще могла быть счастливой! Кто тебя просил? Или, чего доброго, ты бился об заклад? Но ведь ты же любил меня, ты сам мне говорил... Только сейчас... Ах, лучше бы ты выгнал меня! У меня еще руки не остыли от твоих поцелуев. Вот здесь, на этом ковре, ты у моих ног клялся мне в вечной любви. И ты меня уверил. Ты целых два года погружал меня в сладкий, волшебный сон!.. А наши планы путешествия ты позабыл? Ах, твое письмо, твое письмо! И как только сердце у меня не разорвалось от горя!..

А теперь, когда я прихожу к нему — к нему, богатому, счастливому, свободному — и молю о помощи, которую оказал бы мне первый встречный, когда я заклинаю его и вновь приношу ему в дар всю свою любовь, он меня отвергает, оттого что это ему обойдется в три тысячи франков!

— У меня таких денег нет! — проговорил Родольф с тем невозмутимым спокойствием, которое словно щитом прикрывает сдержанную ярость.

Эмма вышла. Стены качались, потолок давил ее. Потом она бежала по длинной аллее, натыкаясь на кучи сухих листьев, разлетавшихся от ветра. Вот и канава, вот и калитка. Второпях

отворяя калитку, Эмма обломала себе ногти о засов. Она прошла еще шагов сто, совсем задохнулась, чуть не упала и поневоле остановилась. Ей захотелось оглянуться, и она вновь охватила взглядом равнодушный дом, парк, сады, три двора и окна фасада.

Она вся точно окаменела; она чувствовала, что еще жива, только по сердцебиению, которое казалось ей громкой музыкой, разносившейся далеко окрест. Земля у нее под ногами колыхалась, точно вода, борозды вставали перед ней громадными бушующими бурыми волнами. Все впечатления, все думы, какие только были у нее в голове, вспыхнули разом, точно огни грандиозного фейерверка. Она увидела своего отца, кабинет Лере, номер в гостинице «Булонь», другую местность. Она чувствовала, что сходит с ума; ей стало страшно, и она попыталась переломить себя, но это ей удалось только отчасти: причина ее ужасного состояния, — деньги, — выпала у нее из памяти. Она страдала только от своей любви, при одном воспоминании о ней душа у нее расставалась с телом — так умирающий чувствует, что жизнь выходит из него через кровоточащую рану.

Ложились сумерки, кружились вороны.

Вдруг ей почудилось, будто в воздухе взлетают огненные шарики, похожие на светящиеся пули; потом они сплющивались, вертелись, вертелись, падали в снег, опушивший ветви деревьев, и гасли. На каждом из них возникало лицо Родольфа. Их становилось все больше, они вились вокруг Эммы, пробивали ее навылет. Потом все исчезло. Она узнала мерцавшие в тумане далекие огни города.

И тут правда жизни разверзлась перед ней, как пропасть. Ей было мучительно больно дышать. Затем, в приливе отваги, от которой ей стало почти весело, она сбежала с горы, перешла через речку, миновала тропинку, бульвар, рынок и очутилась перед аптекой.

Там было пусто. Ей хотелось туда проникнуть, но на звонок кто-нибудь мог выйти. Тогда она, затаив дыхание, держась за стены, добралась до кухонной двери — в кухне на плите горела свеча. Жюстен, в одной рубашке, нес в столовую блюдо.

«А, они обедают! Придется подождать».

Жюстен вернулся. Она постучала в окно. Он вышел к ней.

— Ключ! От верха, где...

— Что вы говорите?

Жюстен был поражен бледностью ее лица — на

фоне темного вечера оно вырисовывалось белым пятном. Ему показалось, что она сейчас как-то особенно хороша собой, величественна, точно видение. Он еще не понимал, чего она хочет, но уже предчувствовал что-то ужасное.

А она, не задумываясь, ответила ему тихим, нежным, завораживающим голосом:

— Мне нужно! Дай ключ!

Сквозь тонкую переборку из столовой доносился стук вилок. Она сказала, что ей не дают спать крысы и что ей необходима отрава.

— Надо бы спросить хозяина!

— Нет, нет, не ходи туда! — встрепенулась Эмма и тут же хладнокровно добавила: — Не стоит! Я потом сама ему скажу. Посвети мне!

Она вошла в коридор. Из коридора дверь вела в лабораторию. На стене висел ключ с ярлычком: «От склада».

— Жюстен! — раздраженно крикнул аптекарь.

— Идем!

Жюстен пошел за ней.

Ключ повернулся в замочной скважине, и, руководимая безошибочной памятью, Эмма подошла прямо к третьей полке, схватила синюю банку, вытащила пробку, засунула туда руку и, вынув горсть белого порошка, начала тут же глотать.

— Что вы делаете! — кидаясь к ней, крикнул Жюстен.

— Молчи! А то придут...

Он был в отчаянии, он хотел звать на помощь.

— Не говори никому, иначе за все ответит твой хозяин! И, внезапно умиротворенная, почти успокоенная сознанием исполненного долга, Эмма удалилась.

* * *

Когда Шарль, потрясенный вестью о том, что у него описали имущество, примчался домой, Эмма только что вышла. Он кричал, плакал, он потерял сознание, а она все не приходила. Где же она могла быть? Он посылал Фелисите к Оме, к Тювашу, к Лере, в «Золотой лев», всюду. Как только душевная боль утихала, к нему тотчас же возвращалась мысль о том, что он лишился прежнего положения, потерял состояние, что будущее дочери погублено. Из-за чего? Полная неясность. Он прождал до шести вечера. Наконец, вообразив, что Эмма уехала в Руан, он почувствовал, что не может больше сидеть на месте, вышел на большую дорогу, прошагал с пол-лье, никого не встретил, подождал еще и вернулся. Она была уже дома.

— Как это случилось?.. Почему? Объясни!..

Эмма села за свой секретер, написала письмо и, проставив день и час, медленно запечатала.

— Завтра ты это прочтешь, — торжественно заговорила она. — А пока, будь добр, не задавай мне ни одного вопроса!.. Ни одного!

— Но...

— Оставь меня!

С этими словами она вытянулась на постели.

Ее разбудил терпкий вкус во рту. Она увидела Шарля, потом снова закрыла глаза.

Она с любопытством наблюдала за собой, старалась уловить тот момент, когда начнутся боли. Нет, пока еще нет! Она слышала тиканье часов, потрескиванье огня и дыханье Шарля, стоявшего у ее кровати.

«Ах, умирать совсем не страшно! — подумала она. — Я сейчас засну, и все будет кончено».

Она выпила воды и повернулась лицом к стене.

Отвратительный чернильный привкус все не проходил.

— Хочу пить!.. Ах, как я хочу пить! — со вздохом вымолвила она.

— Что с тобой? — подавая ей стакан воды, спросил Шарль.

— Ничего!.. Открой окно... Мне душно.

И тут ее затошнило — так внезапно, что она едва успела вытащить из-под подушки носовой платок.

— Унеси! Выбрось! — быстро проговорила она.

Шарль стал расспрашивать ее — она не отвечала. Боясь, что от малейшего движения у нее опять может начаться рвота, она лежала пластом. И в то же время чувствовала, как от ног к сердцу идет пронизывающий холод.

— Ага! Началось! — прошептала она.

— Что ты сказала?

Эмма томилась; она медленно вертела головой, все время раскрывая рот, точно на языке у нее лежало что-то очень тяжелое. В восемь часов ее опять затошнило.

Шарль обратил внимание, что к стенкам фарфорового таза пристали какие-то белые крупинки.

— Странно! Непонятно! — несколько раз повторил он. Но она громко произнесла:

— Нет, ты ошибаешься!

Тогда он осторожно, точно гладя, дотронулся до ее живота. Она дико закричала. Он в ужасе отскочил.

Потом она начала стонать, сперва еле слышно. Плечи у нее ходили ходуном, а сама она стала

белее простыни, в которую впивались ее сведенные судорогой пальцы. Ее неровный пульс был теперь почти неуловим.

При взгляде на посиневшее лицо Эммы, все в капельках пота, казалось, что оно покрыто свинцовым налетом. Зубы у нее стучали, расширенные зрачки, должно быть, неясно различали предметы, на все вопросы она отвечала кивками; впрочем, нашла в себе силы несколько раз улыбнуться. Между тем кричать она стала громче. Внезапно из груди у нее вырвался глухой стон. После этого она объявила, что ей хорошо, что она сейчас встанет. Но тут ее схватила судорога.

— Ах, боже мой, как больно! — крикнула она.

Шарль упал перед ней на колени.

— Скажи, что ты ела? Ответь мне, ради всего святого!

Он смотрел на нее с такой любовью, какой она никогда еще не видела в его глазах.

— Ну, там... там!.. — сдавленным голосом проговорила она. Он бросился к секретеру, сорвал печать, прочитал вслух:

«Прошу никого не винить...» — остановился, провел рукой по глазам, затем прочитал еще раз.

— Что такое?.. На помощь! Сюда!

Он без конца повторял только одно слово:

«Отравилась! Отравилась!» Фелисите побежала за фармацевтом — у него невольно вырвалось это же самое слово, в «Золотом льве» его услышала г-жа Лефрансуа, жители вставали и с тем же словом на устах бежали к соседям, — городок не спал всю ночь.

Спотыкаясь, бормоча, Шарль как потерянный метался по комнате. Он натыкался на мебель, рвал на себе волосы — аптекарю впервые пришлось быть свидетелем такой душераздирающей сцены.

Потом Шарль прошел к себе в кабинет и сел писать г-ну Каниве и доктору Ларивьеру. Но мысли у него путались — он переписывал не менее пятнадцати раз. Ипполит поехал в Невшатель, а Жюстен загнал лошадь Бовари по дороге в Руан и бросил ее, околевающую, на горе Буа-Гильом.

Шарль перелистывал медицинский справочник, но ничего не видел: строчки прыгали у него перед глазами.

— Не волнуйтесь! — сказал г-н Оме. — Нужно только ей дать какое-нибудь сильное противоядие. Чем она отравилась?

Шарль показал письмо — мышьяком.

— Ну так надо сделать анализ, — заключил Оме.

Он знал, что при любом случае отравления рекомендуется делать анализ. Шарль машинально подхватил:

— Сделайте, сделайте! Спасите ее...

Он опять подошел к ней, опустился на ковер и, уронив голову на кровать, разрыдался.

— Не плачь! — сказала она. — Скоро я перестану тебя мучить!

— Зачем? Что тебя толкнуло?

— Так надо, друг мой, — возразила она.

— Разве ты не была со мной счастлива? Чем я виноват? Я делал все, что мог!

— Да... правда... ты — добрый!

Она медленно провела рукой по его волосам. От этой ласки ему стало еще тяжелее. Он чувствовал, как весь его внутренний мир рушится от одной нелепой мысли, что он ее теряет — теряет, как раз когда она особенно с ним нежна; он ничего не мог придумать, не знал, как быть, ни на что не отваживался, необходимость принять решительные меры повергала его в крайнее смятение.

А она в это время думала о том, что настал конец всем обманам, всем подлостям, всем бесконечным вожделениям, которые так истомили ее. Теперь она уже ни к кому не питала ненависти, мысль ее окутывал сумрак, из всех звуков

земли она различала лишь прерывистые, тихие, невнятные жалобы своего бедного сердца, замиравшие, точно последние затихающие аккорды.

— Приведите ко мне дочку, — приподнявшись на локте, сказала она.

— Тебе уже не больно? — спросил Шарль.

— Нет, нет!

Няня принесла хмурую со сна девочку в длинной ночной рубашке, из-под которой выглядывали босые ножки. Берта обводила изумленными глазами беспорядок, царивший в комнате, и жмурилась от огня свечей, горевших на столах. Все это, вероятно, напоминало ей Новый год или середину поста, когда ее тоже будили при свечах, раным-рано, и несли в постель к матери, а та ей что-нибудь дарила.

— Где же игрушки, мама? — спросила Берта.

Все молчали.

— Я не вижу моего башмачка!

Фелисите поднесла Берту к кровати, а она продолжала смотреть в сторону камина.

— Его кормилица взяла? — спросила девочка.

Слово «кормилица» привело г-же Бовари на память все ее измены, все ее невзгоды, и с таким видом, точно к горлу ей подступила тошнота от еще более сильного яда, она отвернулась. Берта

сидела теперь на кровати.

— Какие у тебя большие глаза, мама! Какая ты бледная! Ты вся в поту!

Мать смотрела на нее.

— Я боюсь! — сказала девочка и отстранилась.

Эмма взяла ее руку и хотела поцеловать.

Берта начала отбиваться.

— Довольно! Унесите ее! — крикнул Шарль, рыдавший в алькове.

Некоторое время никаких последствий отравления не наблюдалось. Эмма стала спокойнее. Каждое ее слово, хотя бы и ничего не значащее, каждый ее более легкий вздох вселяли в Шарля надежду. Когда приехал Каниве, он со слезами кинулся ему на шею.

— Ах, это вы! Благодарю вас! Какой вы добрый! Но ей уже лучше. Вы сейчас сами увидите...

У коллеги, однако, сложилось иное мнение, и так как он, по его собственному выражению, не любил гадать на кофейной гуще, то, чтобы как следует очистить желудок, велел дать Эмме рвотного.

Эмму стало рвать кровью. Губы ее вытянулись в ниточку. Руки и ноги сводила судорога, по телу пошли бурые пятна, пульс напоминал дрожь туго натянутой нитки, дрожь струны, которая вот-вот

порвется.

Немного погодя она начала дико кричать. Она проклинала яд, бранила его, потом просила, чтобы он действовал быстрее, отталкивала коченеющими руками все, что давал ей выпить Шарль, переживавший не менее мучительную агонию, чем она. Прижимая платок к губам, он стоял у постели больной и захлебывался слезами, все его тело, с головы до ног, сотрясалось от рыданий. Фелисите бегала туда-сюда. Оме стоял как вкопанный и тяжко вздыхал, а г-н Каниве хотя и не терял самоуверенности, однако в глубине души был озадачен.

— Черт возьми!.. Ведь... ведь желудок очищен, а раз устранена причина...

— Ясно, что должно быть устранено и следствие, — подхватил Оме.

— Да спасите же ее! — крикнул Бовари.

Каниве, не слушая аптекаря, который пытался обосновать гипотезу: «Быть может, это спасительный кризис», — только хотел было дать ей териаку, но в это мгновение за окном раздалось щелканье бича, все стекла затряслись, и из-за крытого рынка вымахнула взмыленная тройка, впряженная в почтовый берлин. Приехал доктор Ларивьер.

Если бы в доме Бовари появился Бог, то все же это произвело бы не такое сильное впечатление. Шарль взмахнул руками, Каниве замер на месте, а Оме задолго до прихода доктора снял феску.

Ларивьер принадлежал к хирургической школе великого Биша, к уже вымершему поколению врачей-философов, которые любили свое искусство фанатической любовью и отличались вдохновенной прозорливостью. Когда Ларивьер гневался, вся больница дрожала; ученики боготворили его и, как только устраивались на место, сейчас же начинали во всем ему подражать. Дело доходило до того, что в Руанском округе врачи носили такое же, как у него, стеганое пальто с мериносовым воротником и такой же, как у него, широкий черный фрак с расстегнутыми манжетами, причем у самого Ларивьера всегда были видны его пухлые, очень красивые руки, не знавшие перчаток, как бы в любую минуту готовые погрузиться в глубь человеческих мук. Он презирал чины, кресты, академии, славился щедростью и радушием, для бедных был родным отцом, в добродетель не верил, а сам на каждом шагу делал добрые дела и, конечно, был бы признан святым, если бы не его дьявольская проницательность, из-за которой все его боялись

пуще огни. Взгляд у него был острее ланцета, он проникал прямо в душу; удаляя обиняки и прикрасы, Ларивьер вылущивал ложь. Так шел он по жизни, исполненный того благодушного величия, которое порождают большой талант, благосостояние и сорокалетняя непорочная служба.

Еще у дверей, обратив внимание на мертвенный цвет лица Эммы, лежавшей с раскрытым ртом на спине, он нахмурил брови. Потом, делая вид, что слушает Каниве, и потирая пальцем нос, несколько раз повторил:

— Хорошо, хорошо!

Но при этом медленно повел плечами. Бовари наблюдал за ним. Глаза их встретились, и у Ларивьера, привыкшего видеть страдания, скатилась на воротничок непрошеная слеза.

Он увел Каниве в соседнюю комнату. Шарль пошел за ними.

— Она очень плоха, да? А если поставить горчичники? Я не знаю, что нужно делать. Придумайте что-нибудь! Вы же стольких людей спасли!

Шарль обхватил его обеими руками и, почти повиснув на нем, смотрел на него растерянным, умоляющим взглядом.

— Мужайтесь, мой дорогой! Тут ничего поделать нельзя. И с этими словами доктор Ларивьер отвернулся.

— Вы уходите?

— Я сейчас приду.

Вместе с Каниве, который тоже не сомневался, что Эмма протянет недолго, он вышел якобы для того, чтобы отдать распоряжения кучеру.

На площади их догнал фармацевт. Отлипнуть от знаменитостей — это было выше его сил. И он обратился к г-ну Ларивьеру с покорнейшей просьбой почтить его своим посещением и позавтракать у него.

Супруги Оме нимало не медля послали в «Золотой лев» за голубями, скупили в мясной лавке мясо на котлеты, какое там еще оставалось, у Тювашей — весь запас сливок, у Лестибудуа — весь запас яиц. Аптекарь помогал накрывать на стол, а г-жа Оме, теребя завязки своей кофты, говорила:

— Вы уж нас извините, сударь. В нашем захолустье если накануне не предупредить...

— Рюмки:!!! — шипел Оме.

— В городе мы, на худой конец, всегда могли бы приготовить фаршированные ножки.

— Замолчи!.. Пожалуйте к столу, доктор.

Когда все съели по кусочку, аптекарь счел

уместным сообщить некоторые подробности несчастного случая:

— Сперва появилось ощущение сухости в горле, потом начались нестерпимые боли в надчревной области, рвота, коматозное состояние.

— А как она отравилась?

— Не знаю, доктор. Ума не приложу, где она могла достать мышьяковистой кислоты.

В эту минуту вошел со стопкой тарелок в руках Жюстен и, услыхав это название, весь затрясся.

— Что с тобой? — спросил фармацевт.

Вместо ответа юнец грохнул всю стопку на пол.

— Болван! — крикнул Оме. — Ротозей! Увалень! Осел! Но тут же овладел собой.

— Я, доктор, решил произвести анализ и, *primo*[12], осторожно ввел в трубочку...

— Лучше бы вы ввели ей пальцы в глотку, — заметил хирург.

Его коллега молчал; Ларивьер только что, оставшись с ним один на один, закатил ему изрядную проборку за рвотное, и теперь почтенный Каниве, столь самоуверенный и речистый во время истории с искривлением стопы, сидел

---

[12] Примечания: 12
Прежде всего (лат.).

скромненько, в разговор не встревал и только одобрительно улыбался.

Оме был преисполнен гордости амфитриона, а от грустных мыслей о Бовари он бессознательно приходил в еще лучшее расположение духа, едва лишь, повинуясь чисто эгоистическому чувству, обращал мысленный взор на себя. Присутствие хирурга вдохновляло ого. Он щеголял эрудицией, сыпал всякими специальными названиями, вроде шпанских мушек, анчара, манцениллы, змеиного яда.

— Я даже читал, доктор, что были случаи, когда люди отравлялись и падали, как пораженные громом, от самой обыкновенной колбасы, которая подвергалась слишком сильному копчению. Узнал я об этом из великолепной статьи, написанной одним из наших фармацевтических светил, одним из наших учителей, знаменитым Каде де Гасикуром.

Госпожа Оме принесла шаткую спиртовку — ее супруг требовал, чтобы кофе варилось тут же, за столом; мало того: он сам обжаривал зерна, сам молол, сам смешивал.

– *Saccharum*, доктор! — сказал он, предлагая сахар.

Затем созвал всех своих детей, — ему было ин-

тересно, что скажет хирург об их телосложении.

Господин Ларивьер уже собрался уходить, но тут г-жа Оме обратилась к нему за советом относительно своего мужа. Ему вредно раздражаться, а он, вспылив, прямо с ума сходит.

— Да не с чего ему сходить!

Слегка улыбнувшись этому прошедшему незамеченным каламбуру, доктор отворил дверь. Но в аптеке было полно народу. Хирург еле-еле отделался от г-на Тюваша, который боялся, что у его жены воспаление легких, так как она имеет обыкновение плевать в камин; потом от г-на Бине, который иногда никак не мог наесться; от г-жи Карон, у которой покалывало в боку; от Лере, который страдал головокружениями; от Лестибудуа, у которого был ревматизм; от г-жи Лефрансуа, у которой была кислая отрыжка. Наконец тройка умчалась, и все в один голос сказали, что доктор вел себя неучтиво.

Но тут внимание ионвильцев обратил на себя аббат Бурнизьен — он шел по рынку, неся сосуд с миром.

Оме, верный своим убеждениям, уподобил священников воронам, которых привлекает трупный запах. Он не мог равнодушно смотреть на духовных особ: дело в том, что сутана напо-

минала ему саван, а савана он боялся и отчасти поэтому не выносил сутану.

Однако Оме, неуклонно выполняя то, что он называл своей «миссией», вернулся к Бовари вместе с Каниве, которого очень просил сходить туда г-н Ларивьер. Фармацевт хотел было взять с собой своих сыновей, дабы приучить их к тяжелым впечатлениям, показать им величественную картину, которая послужила бы им уроком, назиданием, навсегда врезалась бы в их память, но мать решительно воспротивилась.

В комнате, где умирала Эмма, на всем лежал отпечаток мрачной торжественности. На рабочем столике, накрытом белой салфеткой, у большого распятия с двумя зажженными свечами по бокам стояло серебряное блюдо с комочками хлопчатой бумаги. Эмма, уронив голову на грудь, смотрела перед собой неестественно широко раскрытыми глазами, а ее ослабевшие руки ползали по одеялу — неприятное, бессильное движение всех умирающих, которые точно заранее натягивают на себя саван! Бледный, как изваяние, с красными, как горящие угли, глазами, Шарль, уже не плача, стоял напротив Эммы, у изножья кровати, а священник, опустившись на одно колено, шептал себе под нос молитвы.

Эмма медленно повернула голову и, увидев лиловую епитрахиль, явно обрадовалась: в нечаянном успокоении она, наверное, вновь обрела утраченную сладость своих первых мистических порывов, это был для нее прообраз вечного блаженства.

Священник встал и взял распятие. Эмма вытянула шею, как будто ей хотелось пить, припала устами к телу богочеловека и со всей уже угасающей силой любви напечатлела на нем самый жаркий из всех своих поцелуев. После этого священник прочел «Misereatur»[13] и «Indulgentiam»[14], обмакнул большой палец правой руки в миро — и приступил к помазанию: умастил ей сперва глаза, еще недавно столь жадные до всяческого земного великолепия; затем — ноздри, с упоением вдыхавшие теплый ветер и ароматы любви; затем — уста, откуда исходила ложь, вопли оскорбленной гордости и сладострастные стоны; затем — руки, получавшие наслаждение от нежных прикосновений, и, наконец, подошвы ног, которые так быстро бежали, когда она жаждала утолить свои желания, и ко-

---

[13] Примечания: 13
«Да смилуется» (лат.).

[14] Примечания: 14
«Отпущение» (лат.).

торые никогда уже больше не пройдут по земле.

Священник вытер пальцы, бросил в огонь замасленные комочки хлопчатой бумаги, опять подсел к умирающей и сказал, что теперь ей надлежит подумать не о своих муках, а о муках Иисуса Христа и поручить себя милосердию божию.

Кончив напутствие, он попытался вложить ей в руки освященную свечу — символ ожидающего ее неземного блаженства, но Эмма от слабости не могла ее держать, и если б не аббат, свеча упала бы на пол.

Эмма между тем слегка порозовела, и лицо ее приняло выражение безмятежного спокойствия, словно таинство исцелило ее.

Священнослужитель не преминул обратить на это внимание Шарля. Он даже заметил, что господь в иных случаях продлевает человеку жизнь, если так нужно для его спасения. Шарль припомнил, что однажды она уже совсем умирала и причастилась.

«Может быть, еще рано отчаиваться», — подумал он.

В самом деле: Эмма, точно проснувшись, медленно обвела глазами комнату, затем вполне внятно попросила подать ей зеркало и, нагнув-

шись, долго смотрелась, пока из глаз у нее не выкатились две крупные слезы. Тогда она вздохнула и откинулась на подушки.

В ту же минуту она начала задыхаться. Язык вывалился наружу, глаза закатились под лоб и потускнели, как абажуры на гаснущих лампах; от учащенного дыхания у нее так страшно ходили бока, точно из тела рвалась душа, а если б не это, можно было бы подумать, что Эмма уже мертва. Фелисите опустилась на колени перед распятием; фармацевт — и тот слегка подогнул ноги; г-н Каниве невидящим взглядом смотрел в окно, Бурнизьен, нагнувшись к краю постели, опять начал молиться; его длинная сутана касалась пола. Шарль стоял на коленях по другую сторону кровати и тянулся к Эмме. Он сжимал ей руки, вздрагивая при каждом биении ее сердца, точно отзываясь на грохот рушащегося здания. Чем громче хрипела Эмма, тем быстрее священник читал молитвы. Порой слова молитв сливались с приглушенными рыданиями Бовари, а порой все тонуло в глухом рокоте латинских звукосочетаний, гудевших, как похоронный звон.

Внезапно на тротуаре раздался топот деревянных башмаков, стук палки, и хриплый голос запел:

Девчонке в жаркий летний день
Мечтать о миленьком не лень.

Эмма, с распущенными волосами, уставив в одну точку расширенные зрачки, приподнялась, точно гальванизированный труп.

За жницей только поспевай!
Нанетта по полю шагает
И, наклоняясь то и знай,
С земли колосья подбирает.

— Слепой! — крикнула Эмма и вдруг залилась ужасным, безумным, исступленным смехом — ей привиделось безобразное лицо нищего, пугалом вставшего перед нею в вечном мраке.

Вдруг ветер налетел на дол
И мигом ей задрал подол.

Судорога отбросила Эмму на подушки. Все обступили ее. Она скончалась.

IX

Когда кто-нибудь умирает, настает всеобщее оцепенение — до того трудно бывает осмыслить вторжение небытия, заставить себя поверить в него. Но как только Шарль убедился, что Эмма неподвижна, он бросился к ней с криком;

— Прощай! Прощай!

Оме и Каниве вывели его из комнаты.

— Успокойтесь!

— Хорошо, — говорил он, вырываясь. — Я буду благоразумен, я ничего с собой не сделаю. Только пустите меня! Я хочу к ней! Ведь это моя жена!

Он плакал.

— Поплачьте, — разрешил фармацевт, — этого требует сама природа, вам станет легче!

Шарль, слабый, как ребенок, дал себя увести вниз, в столовую; вскоре после этого г-н Оме пошел домой.

На площади к нему пристал слепец: уверовав в противовоспалительную мазь, он притащился в Ионвиль и теперь спрашивал каждого встречного, где живет аптекарь.

— Да, как же! Есть у меня время с тобой возиться! Ну да уж ладно, приходи попоздней, — сказал

г-н Оме и вбежал в аптеку.

Ему предстояло написать два письма, приготовить успокоительную микстуру для Бовари, что-нибудь придумать, чтобы скрыть самоубийство, сделать из этой лжи статью для «Светоча» и дать отчет о случившемся своим согражданам, которые ждали, что он сделает им сообщение. Только когда ионвильцы, все до единого, выслушали его рассказ о том, как г-жа Бовари, приготовляя ванильный крем, спутала мышьяк с сахаром, Оме опять побежал к Шарлю.

Тот сидел в кресле у окна (г-н Каниве недавно уехал), бессмысленно глядя в пол.

— Вам надо бы самому назначить час церемонии, — сказал фармацевт.

— Что такое? Какая церемония? — переспросил Шарль и залепетал испуганно: — Нет, нет, пожалуйста, не надо! Она должна быть со мной.

Оме, чтобы замять неловкость, взял с этажерки графин и начал поливать герань.

— Очень вам благодарен! Вы так добры... — начал было Шарль, но под наплывом воспоминаний, вызванных этим жестом фармацевта, сейчас же умолк.

Чтобы он хоть немного отвлекся от своих мыслей, Оме счел за благо поговорить о садоводстве,

о том, что растения нуждаются во влаге. Шарль в знак согласия кивнул головой.

— А теперь скоро опять настанут теплые дни.

— Да, да! — подтвердил Шарль.

Не зная, о чем говорить дальше, аптекарь слегка раздвинул оконные занавески.

— А вон Тюваш идет.

— Тюваш идет, — как эхо, повторил за ним Шарль.

Оме так и не решился напомнить ему о похоронах. Его уговорил священник.

Шарль заперся у себя в кабинете, вволю наплакался, потом взял перо и написал:

«Я хочу, чтобы ее похоронили в подвенечном платье, в белых туфлях, в венке. Волосы распустите ей по плечам. Гробов должно быть три: один — дубовый, другой — красного дерева, третий — металлический. Со мной ни о чем не говорите. У меня достанет сил перенести все. Сверху накройте ее большим куском зеленого бархата. Это мое желание. Сделайте, пожалуйста, так».

* * *

Романтические причуды Бовари удивили тех, кто его окружал. Фармацевт не преминул возразить:

— По-моему, бархат — это лишнее. Да и стоит он...

— Какое вам дело? — крикнул Бовари. — Оставьте меня! Я ее люблю, а не вы! Уходите!

Священник взял его под руку и увел в сад. Там он заговорил о бренности всего земного. Господь всемогущ и милосерд; мы должны не только безропотно подчиняться его воле, но и благодарить его.

Шарль начал богохульствовать:

— Ненавижу я вашего Господа!

— Это дух отрицания в вас говорит, — со вздохом молвил священник.

Бовари был уже далеко. Он быстро шел между оградой и фруктовыми деревьями и, скрежеща зубами, взглядом богоборца смотрел на небо, но вокруг не шелохнул ни один листок.

Моросил дождь. Ворот у Шарля был распахнут, ему стало холодно, и, придя домой, он сел в кухне.

В шесть часов на площади что-то затарахтело: это приехала «Ласточка». Прижавшись лбом к стеклу, Шарль смотрел, как один за другим выходили из нее пассажиры. Фелисите положила ему в гостиной тюфяк. Он лег и заснул.

Господин Оме хоть и был философом, но к

мертвым относился с уважением. Вот почему, не обижаясь на бедного Шарля, он, взяв с собой три книги и лапку с бумагой для выписок, пришел к нему вечером, чтобы провести всю ночь около покойницы.

Там он застал аббата Бурнизьена. Кровать вытащили из алькова; в возглавии горели две большие свечи.

Тишина угнетала аптекаря, и он поспешил заговорить о том, как жаль «несчастную молодую женщину». Священник на это возразил, что теперь нам остается только молиться за нее.

— Но ведь одно из двух, — вскинулся Оме, — либо она упокоилась «со духи праведных», как выражается церковь, и в таком случае наши молитвы ей ни на что не нужны, либо она умерла без покаяния (кажется, я употребляю настоящий богословский термин), и в таком случае...

Бурнизьен, перебив его, буркнул, что молиться все-таки надо.

— Но если Бог сам знает, в чем мы нуждаемся, то зачем же тогда молиться? — возразил фармацевт.

— Как зачем молиться? — воскликнул священнослужитель. — Так вы, стало быть, не христианин?

— Простите! — сказал Оме. — Я преклоняюсь перед христианством. Прежде всего оно освободило рабов, оно дало миру новую мораль.

— Да я не о том! Все тексты...

— Ох, уж эти ваши тексты! Почитайте историю! Всем известно, что их подделали иезуиты.

Вошел Бовари и, подойдя к кровати, медленно отдернул полог.

Голова Эммы склонилась к правому плечу. В нижней части лица черной дырой зиял приоткрытый уголок рта. Большие пальцы были пригнуты к ладоням, ресницы точно посыпаны белой пылью, а глаза подернула мутная пленка, похожая на тонкую паутину. Между грудью и коленями одеяло провисло, а от колен поднималось к ступням. И показалось Шарлю, что Эмму давит какая-то страшная тяжесть, какой-то непомерный груз.

На церковных часах пробило два. Под горою во мраке шумела река. Время от времени громко сморкался Бурнизьен да Оме скрипел по бумаге пером.

— Послушайте, друг мой, подите к себе, — сказал он Шарлю. — Это зрелище для вас невыносимо.

Тотчас по уходе Шарля спор между фармацевтом и священником возгорелся с новой силой.

— Прочтите Вольтера! — твердил один. — Прочтите Гольбаха! Прочтите «Энциклопедию»!

— Прочтите «Письма португальских евреев»! — стоял на своем другой. — Прочтите «Сущность христианства» бывшего судейского чиновника Никола!

Оба разгорячились, раскраснелись, говорили одновременно, не слушая друг друга. Бурнизьена возмущала «подобная дерзость»; Оме удивляла «подобная тупость». Еще минута — и они бы повздорили, но тут опять пришел Бовари. Какая-то колдовская сила влекла его сюда, он то и дело поднимался по лестнице.

Чтобы лучше видеть покойницу, он становился напротив и погружался в созерцание, до того глубокое, что скорби в эти минуты не чувствовал.

Он припоминал рассказы о каталепсии, о чудесах магнетизма, и ему казалось, что если захотеть всем существом своим, то, быть может, удастся ее воскресить. Один раз он даже наклонился над ней и шепотом окликнул: «Эмма! Эмма!» Но от его сильного дыхания только огоньки свечей заколебались на столе.

Рано утром приехала г-жа Бовари-мать. Шарль обнял ее и опять горькими слезами заплакал. Она, как и фармацевт, попыталась обратить его

внимание на то, что похороны будут стоить слишком дорого. Шарля это взорвало, — старуха живо осеклась и даже вызвалась сейчас же поехать в город и купить все, что нужно.

Шарль до вечера пробыл один; Берту увели к г-же Оме: Фелисите сидела наверху с тетушкой Лефрансуа.

Вечером Шарль принимал посетителей. Он вставал, молча пожимал руку, и визитер подсаживался к другим, образовавшим широкий полукруг подле камина. Опустив голову и заложив нога на ногу, ионвильцы пошевеливали носками и по временам шумно вздыхали. Им было смертельно скучно, и все-таки они старались пересидеть друг друга.

В девять часов пришел Оме (эти два дня он без устали сновал по площади) и принес камфары, росного ладана и ароматических трав. Еще он прихватил банку с хлором для уничтожения миазмов. В это время служанка, г-жа Лефрансуа и старуха Бовари кончали убирать Эмму — они опустили длинную негнущуюся вуаль, и она закрыла ее всю, до атласных туфелек.

— Бедная моя барыня! Бедная моя барыня! — причитала Фелисите.

— Поглядите, какая она еще славненькая! —

вздыхая, говорила трактирщица. — Так и кажется, что вот сейчас встанет.

Все три женщины склонились над ней, чтобы надеть венок. Для этого пришлось слегка приподнять голову, и тут изо рта у покойницы хлынула, точно рвота, черная жидкость.

— Ах, боже мой, платье! Осторожней! — крикнула г-жа Лефрансуа. — Помогите же нам! — обратилась она к фармацевту. — Вы что, боитесь?

— Боюсь? — пожав плечами, переспросил тот. — Ну вот еще! Я такого навидался в больнице, когда изучал фармацевтику! В анатомическом театре мы варили пунш! Философа небытие не пугает. Я уже много раз говорил, что собираюсь завещать мой труп клинике, — хочу и после смерти послужить науке.

Пришел священник, осведомился, как себя чувствует г-н Бовари, и, выслушав ответ аптекаря, заметил:

— У него, понимаете ли, рана еще слишком свежа.

Оме на это возразил, что священнику хорошо, мол, так говорить: он не рискует потерять любимую жену. Отсюда возник спор о безбрачии священников.

— Это противоестественно! — утверждал

фармацевт. — Из-за этого совершались преступления...

— Да как же, нелегкая побери, — вскричал священник, — женатый человек может, например, сохранить тайну исповеди?

Оме напал на исповедь. Бурнизьен принял ее под защиту. Он начал длинно доказывать, что исповедь совершает в человеке благодетельный перелом. Привел несколько случаев с ворами, которые стали потом честными людьми. Многие военные, приближаясь к исповедальне, чувствовали, как с их глаз спадает пелена. Во Фрибуре некий священнослужитель...

Его оппонент спал. В комнате было душно; аббату не хватало воздуха, он отворил окно и разбудил этим фармацевта.

— Не хотите ли табачку? — предложил Бурнизьен. — Возьмите, возьмите! Так и сон пройдет.

Где-то далеко завывала собака.

— Слышите? Собака воет, — сказал фармацевт.

— Говорят, будто они чуют покойников, — отозвался священник. — Это как все равно пчелы: если кто умрет, они сей же час покидают улей.

Этот предрассудок не вызвал возражений со стороны Оме, так как он опять задремал.

Аббат Бурнизьен был покрепче фармацевта и

еще некоторое время шевелил губами, но потом и у него голова свесилась на грудь, он выронил свою толстую черную книгу и захрапел.

Надутые, насупленные, они сидели друг против друга, выпятив животы; после стольких препирательств их объединила, наконец, общечеловеческая слабость — и тот и другой были теперь неподвижны, как лежавшая рядом покойница, которая тоже, казалось, спала.

Приход Шарля не разбудил их. Он пришел в последний раз — проститься с Эммой.

Еще курились ароматические травы, облачка сизого дыма сливались у окна с туманом, вползавшим в комнату. На небе мерцали редкие звезды, ночь была теплая.

Свечи оплывали, роняя на простыни крупные капли воска. Шарль до боли в глазах смотрел, как они горят, как лучится их желтое пламя.

По атласному платью, матовому, как свет луны, ходили полны. Эммы не было видно под ним, и казалось Шарлю, что душа ее неприметно для глаз разливается вокруг и что теперь она во всем: в каждом предмете, в ночной тишине, в пролетающем ветерке, в запахе речной сырости.

А то вдруг он видел ее в саду в Тосте, на скамейке, возле живой изгороди, или на руанских

улицах, или на пороге ее родного дома в Берто. Ему слышался веселый смех пляшущих под яблонями парней. Комната была для него полна благоухания ее волос, ее платье с шуршаньем вылетающих искр трепетало у него в руках. И это все была она!

Он долго припоминал все исчезнувшие радости, все ее позы, движения, звук ее голоса. За одним порывом отчаяния следовал другой, — они были непрерывны, как волны в часы прибоя.

Им овладело жестокое любопытство: весь дрожа, он медленно, кончиками пальцев приподнял вуаль. Вопль ужаса, вырвавшийся у него, разбудил обоих спящих. Они увели его вниз, в столовую.

Потом пришла Фелисите и сказала, что он просит прядь ее волос.

— Отрежьте! — позволил аптекарь.

Но служанка не решалась — тогда он сам с ножницами в руках подошел к покойнице. Его так трясло, что он в нескольких местах проткнул на висках кожу. Наконец, превозмогая волнение, раза два-три, не глядя, лязгнул ножницами, и в прелестных черных волосах Эммы образовалась белая прогалина.

Затем фармацевт и священник вернулись к сво-

им занятиям, но все-таки время от времени оба засыпали, а когда просыпались, то корили друг друга. Аббат Бурнизьен неукоснительно кропил комнату святой водой, Оме посыпал хлором пол.

Фелисите догадалась оставить им на комоде бутылку водки, кусок сыру и большую булку. Около четырех часов утра аптекарь не выдержал.

— Я не прочь подкрепиться, — сказал он со вздохом.

Священнослужитель тоже не отказался. Он только сходил в церковь и, отслужив, сейчас же вернулся. Затем они чокнулись и закусили, ухмыляясь, сами не зная почему, — ими овладела та беспричинная веселость, какая нападает на человека после долгого унылого бдения. Выпив последнюю, священник хлопнул фармацевта по плечу и сказал:

— Кончится тем, что мы с вами поладим!

Внизу, в прихожей, они столкнулись с рабочими. Шарлю пришлось вынести двухчасовую пытку — слушать, как стучит молоток по доскам. Потом Эмму положили в дубовый гроб, этот гроб — в другой, другой — в третий. Но последний оказался слишком широким — пришлось набить в промежутки шерсть из тюфяка. Когда же все три крышки были подстроганы, прилажены, подо-

гнаны, покойницу перенесли поближе к дверям, доступ к телу был открыт, и сейчас же нахлынули ионвильцы. Приехал папаша Руо. Увидев черное сукно у входной двери, он замертво свалился на площади.

X

Письмо аптекаря он получил только через полтора суток после печального события, а кроме того, боясь чересчур взволновать старика, г-н Оме составил письмо в таких туманных выражениях, что ничего нельзя было понять.

Сначала бедного старика чуть было не хватил удар. Потом он пришел к заключению, что Эмма еще жива. Но ведь она могла и... Словом, он надел блузу, схватил шапку, прицепил к башмаку шпору и помчался вихрем. Дорогой грудь ему теснила невыносимая тоска. Один раз он даже слез с коня. Он ничего не видел, ему чудились какие-то голоса, рассудок у него мутился.

Занялась заря. Вдруг он обратил внимание, что на дереве спят три черные птицы. Он содрогнулся от этой приметы и тут же дал обещание Царице Небесной пожертвовать в церковь три ризы и дойти босиком от кладбища в Берто до Васонвильской часовни.

В Мароме он, не дозвавшись трактирных слуг, вышиб плечом дверь, схватил мешок овса, вылил в кормушку бутылку сладкого сидра, потом опять сел на свою лошадку и припустил ее так, что

из-под копыт у нее летели искры.

Он убеждал себя, что Эмму, конечно, спасут. Врачи найдут какое-нибудь средство, это несомненно! Он припоминал все чудесные исцеления, о которых ему приходилось слышать.

Потом она ему представилась мертвой. Вот она лежит плашмя посреди дороги. Он рванул поводья, и видение исчезло.

В Кенкампуа он для бодрости выпил три чашки кофе.

Вдруг у него мелькнула мысль, что письмо написано не ему. Он поискал в кармане письмо, нащупал его, но так и не решился перечесть.

Минутами ему даже казалось, что, быть может, это «милая шутка», чья-нибудь месть, чей-нибудь пьяный бред. Ведь если бы Эмма умерла, это сквозило бы во всем! А между тем ничего необычайного вокруг не происходит: на небе ни облачка, деревья колышутся, вон прошло стадо овец. Вдали показался Ионвиль. Горожане видели, как он промчался, пригнувшись к шее своей лошадки и нахлестывая ее так, что с подпруги капала кровь.

Опомнившись, он, весь в слезах, бросился в объятия Шарля.

— Дочь моя! Эмма! Дитя мое! Что случилось?..

Шарль, рыдая, ответил:

— Не знаю, не знаю! Какое-то несчастье!

Аптекарь оторвал их друг от друга.

— Все эти ужасные подробности ни к чему. Я сам все объясню господину Руо. Вон люди подходят. Ну, ну, не роняйте своего достоинства! Смотрите на вещи философски!

Бедняга Шарль решил проявить мужество.

— Да, да... надо быть твердым! — несколько раз повторил он.

— Хорошо, черт бы мою душу драл! Я тоже буду тверд! — воскликнул старик. — Я провожу ее до могилы.

Звонил колокол. Все было готово. Предстоял вынос.

В церкви мимо сидевших рядом на передних скамейках Бовари и Руо ходили взад и вперед три гнусавивших псаломщика. Трубач не щадил легких. Аббат Бурнизьен в полном облачении пел тонким голосом. Он склонялся перед престолом, воздевал и простирал руки. Лестибудуа с пластинкой китового уса, которою он поправлял свечи, ходил по церкви. Подле аналоя стоял гроб, окруженный четырьмя рядами свечей. Шарлю хотелось встать и погасить их.

Все же он старался настроиться на молитвен-

ный лад, перенестись на крыльях надежды в будущую жизнь, где он увидится с ней. Он воображал, что она уехала, уехала куда-то далеко и давно. Но стоило ему вспомнить, что она лежит здесь, что все кончено, что ее унесут и зароют в землю, — и его охватывала дикая, черная, бешеная злоба. Временами ему казалось, что он стал совсем бесчувственный, и, называя себя мысленно ничтожеством, он все же испытывал блаженство, когда боль отпускала.

Внезапно послышался сухой стук, точно кто-то мерно ударял в плиты пола палкой с железным наконечником. Этот звук шел из глубины церкви и вдруг оборвался в одном из боковых приделов. Какой-то человек в плотной коричневой куртке с трудом опустился на одно колено. Это был Ипполит, конюх из «Золотого льва». Сегодня он надел свою новую ногу.

Один из псаломщиков обошел церковь. Тяжелые монеты со звоном ударялись о серебряное блюдо.

— Нельзя ли поскорее? Я больше не могу! — крикнул Бовари, в бешенстве швыряя пятифранковую монету.

Причетник поблагодарил его низким поклоном.

Снова пели, становились на колени, вставали — и так без конца! Шарль вспомнил, что когда-то давно они с Эммой были здесь у обедни, но только сидели в другом конце храма, справа, у самой стены. Опять загудел колокол. Задвигали скамьями. Носильщики подняли гроб на трех жердях, и народ повалил из церкви.

В эту минуту на пороге аптеки появился Жюстен. Потом вдруг побледнел и, шатаясь, повернул обратно.

На похороны смотрели из окон. Впереди всех, держась прямо, выступал Шарль. Он бодрился и даже кивал тем, что, вливаясь из дверей домов или из переулков, присоединялись к толпе.

Шестеро носильщиков, по трое с каждой стороны, шли мелкими шагами и тяжело дышали. Священники, псаломщики, двое певчих, — это были два мальчика, — пели «De profundis»[15], и голоса их, волнообразно поднимаясь и опускаясь, замирали вдалеке. Порою духовенство скрывалось за поворотом, но высокое серебряное распятие все время маячило между деревьями.

Женщины шли в черных накидках с опущенными капюшонами. В руках у них были толстые

---

[15] Примечания: 15
«Из бездны [взывал я к тебе, господи]» (лат.).

зажженные свечи, и Шарлю становилось нехорошо от бесконечных молитв, от огней, от позывающего на тошноту запаха воска и облачения. Дул свежий ветер, зеленели рожь и сурепица, по обочинам дороги на живой изгороди дрожали капельки росы. Все кругом полнилось веселыми звуками: гремела нырявшая в колдобинах телега, пел петух, несся вскачь под яблони жеребенок. Чистое небо лишь кое-где было подернуто розовыми облачками; над соломенными кровлями с торчащими стеблями ириса стлался сизый дым. Шарлю был тут знаком каждый домик. В такое же ясное утро он, навестив больного, выходил, бывало, из калитки и возвращался к Эмме.

Черное сукно, все в белых слезках, временами приподнималось, и тогда был виден гроб. Носильщики замедляли шаг от усталости, поэтому гроб двигался беспрестанными рывками, точно лодка, которую подбрасывает на волнах.

Вот и конец пути.

Мужчины вошли на кладбище, раскинувшееся под горой, — там, посреди лужайки, была вырыта могила.

Все сгрудились вокруг ямы. Священник читал молитвы, а в это время по краям могилы непрерывно, бесшумно осыпалась глина.

Под гроб пропустили четыре веревки. Шарль смотрел, как он стал опускаться. А он опускался все ниже и ниже.

Наконец послышался стук. Веревки со скрипом выскользнули наверх. Бурнизьен взял у Лестибудуа лопату. Правой рукой кропя могилу, левой он захватил на лопату ком земли, с размаху бросил его в яму, и камешки, ударившись о деревянный гроб, издали тот грозный звук, который нам, людям, представляется гулом вечности.

Священник передал кропило стоявшему рядом с ним. Это был г-н Оме. Он с важным видом помахал им и передал Шарлю — тот стоял по колено в глине, бросал ее пригоршнями и кричал: «Прощай!» Он посылал воздушные поцелуи, он все тянулся к Эмме, чтобы земля поглотила и его.

Шарля увели, и он скоро успокоился — быть может, он, как и все, сам того не сознавая, испытывал чувство удовлетворения, что с этим покончено.

Папаша Руо, вернувшись с похорон, закурил, как ни в чем не бывало, трубку. Оме в глубине души нашел, что это неприлично. Он отметил также, что Бине не показался на похоронах, что Тюваш «удрал» сейчас же после заупокойной обедни, а слуга нотариуса Теодор явился в синем

фраке, — «как будто, черт побери, нельзя было надеть черный, раз уж так принято!» Он переходил от одной кучки обывателей к другой и делился своими наблюдениями. Все оплакивали кончину Эммы, в особенности — Лере, который не преминул прийти на похороны:

— Ах, бедная дамочка! Несчастный муж!

— Вы знаете, если б не я, он непременно учинил бы над собой что-нибудь недоброе! — ввернул аптекарь.

— Такая милая особа! Кто бы мог подумать! Еще в субботу она была у меня в лавке!

— Я хотел было произнести речь на ее могиле, но так и не успел подготовиться, — сказал Оме.

Дома Шарль разделся, а папаша Руо разгладил свою синюю блузу. Она была совсем новенькая, но по дороге он то и дело вытирал глаза рукавами, и они полиняли и выпачкали ему лицо, на котором следы слез прорезали слой пыли.

Госпожа Бовари-мать была тут же. Все трое молчали. Наконец старик вздохнул:

— Помните, друг мой? Я приехал в Тост вскоре после того, как вы потеряли свою первую жену. Тогда я вас утешал!

Я находил слова, а теперь... — Из его высоко поднявшейся груди вырвался протяжный стон. —

Очередь за мной, понимаете? Я похоронил жену... потом сына, а сегодня дочь!

Он решил сейчас же ехать в Берто — ему казалось, что в этом доме он не уснет. Он даже отказался поглядеть на внучку.

— Нет, нет! Мне это слишком больно. Вы уж поцелуйте ее покрепче за меня! Прощайте!.. Вы хороший человек! А потом я вам никогда не забуду вот этого, — добавил он, хлопнув себя по ноге. — Не беспокойтесь! Я по-прежнему буду посылать вам индейку.

Но с горы он все-таки оглянулся, как оглянулся в давнопрошедшие времена, расставаясь с дочерью на дороге в Сен-Виктор. Окна домов, освещенные косыми лучами солнца, заходившего за лугом, были точно объяты пламенем. Руо, приставив руку щитком к глазам, увидел тянувшиеся на горизонте сады: сплошную белокаменную стену, а над ней — темные купы деревьев. Лошадь у старика хромала, и он затрусил рысцой.

Шарль и его мать, несмотря на усталость, проговорили весь вечер. Вспоминали прошлое, думали, как жить дальше. Порешили на том, что она переедет в Ионвиль, будет вести хозяйство, и они больше никогда не расстанутся. Она была предупредительна, ласкова; в глубине души

она радовалась, что вновь обретает сыновнюю любовь. Пробило полночь. В городке, как всегда, было тихо, но Шарль не мог заснуть и все думал об Эмме.

Родольф от нечего делать весь день шатался по лесу и теперь спал крепким сном у себя в усадьбе. В Руане спал Леон.

Но был еще один человек, который не спал в эту пору.

У свежей могилы, осененной ветвями елей, стоял на коленях подросток; он исходил слезами, в груди его теснилась бесконечная жалость, нежная, как лунный свет, и бездонно глубокая, как ночной мрак. Внезапно скрипнула калитка. Это был Лестибудуа. Он позабыл лопату и пришел за ней. Подросток взобрался на ограду, но Лестибудуа успел разглядеть, что это Жюстен, — теперь он, по крайней мере, знал, какой разбойник лазает к нему за картошкой.

XI

На другой день Шарль послал за дочкой. Она спросила, где мама. Ей ответили, что мама уехала и привезет ей игрушек. Берта потом еще несколько раз вспоминала о ней, но с течением времени позабыла. Ее детская жизнерадостность надрывала душу Бовари, а ему еще приходилось выносить нестерпимые утешения фармацевта.

Вскоре перед Шарлем опять встал денежный вопрос: г-н Лере снова натравил своего друга Венсара, а Шарль ни за что не соглашался продать хотя бы одну вещицу из тех, что принадлежали ей, и предпочел наделать чудовищных долгов. Мать на него рассердилась. Он на нее еще пуще. Он очень изменился. Она от него уехала.

Тут-то все и поспешили «воспользоваться случаем». Мадемуазель Лампрер потребовала уплатить ей за полгода, хотя Эмма, несмотря на расписку, которую она показала Бовари, не взяла у нее ни одного урока — так между ними было условлено. Владелец библиотеки потребовал деньги за три года. Тетушка Роле потребовала деньги за доставку двадцати писем. Когда же Шарль спросил, что это за письма, у нее хватило

деликатности ответить:

— Я знать ничего не знаю! Я в ее дела не вмешивалась.

Уплатив очередной долг, Шарль всякий раз надеялся, что это последний. Но затем объявлялись новые кредиторы, и конца им не предвиделось.

Он обратился к пациентам с просьбой уплатить за прежние визиты. Но ему показали письма жены. Пришлось извиниться.

Фелисите носила теперь платья своей покойной барыни, но только не все: некоторые Шарль оставил себе — он запирался в гардеробной и рассматривал их. Фелисите была почти одного роста с Эммой, и когда Шарль смотрел на нее сзади, то иллюзия была так велика, что он нередко восклицал:

— Не уходи! Не уходи!

Но на Троицын день Фелисите бежала из Ионвиля с Теодором, захватив все, что еще оставалось от гардероба Эммы.

В это же время вдова Дюпюи имела честь уведомить г-на Бовари о «бракосочетании своего сына, г-на Леона Дюпюи, нотариуса города Ивето, с девицею Леокадией Лебеф из Бондвиля». Шарль, поздравляя ее, между прочим написал:

«Как была бы счастлива моя бедная жена!»

Однажды, бродя без цели по дому, он поднялся на чердак и там нащупал ногой комок тонкой бумаги. Он развернул его и прочел: «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь! Я не хочу быть несчастьем Вашей жизни!» Это было письмо Родольфа — оно завалилось за ящики, пролежало там некоторое время, а затем ветром, подувшим в слуховое окно, его отнесло к двери. Шарль остолбенел на том самом месте, где когда-то Эмма, такая же бледная, как он сейчас, в порыве отчаяния хотела покончить с собой. Наконец на второй странице, внизу, он разглядел едва заметную прописную букву Р. Кто бы это мог быть? Он припомнил, как Родольф сначала ухаживал за Эммой, как потом внезапно исчез и как натянуто себя чувствовал после при встречах. Однако почтительный тон письма ввел Шарля в заблуждение.

«Они, наверно, любили друг друга платонически», — решил он.

Шарль был не охотник добираться до сути. Он не стал искать доказательств, и его смутная ревность потонула в пучине скорби.

«Она невольно заставляла себя обожать, — думал он. — Все мужчины, конечно, мечтали о близости с ней». От этого она стала казаться ему еще прекраснее. Теперь он испытывал постоян-

ное бешеное желание, доводившее его до полного отчаяния и не знавшее пределов, оттого что его нельзя было утолить.

Все ее прихоти, все ее вкусы стали теперь для него священны: как будто она и не умирала, он, чтобы угодить ей, купил себе лаковые ботинки, стал носить белые галстуки, побрил усы и по ее примеру подписывал векселя. Она совращала его из гроба.

Ему пришлось постепенно распродать серебро, потом обстановку гостиной. Комнаты одна за другой пустели. Только в ее комнате все оставалось по-прежнему. Шарль поднимался туда после обеда. Придвигал к камину круглый столик, подставлял ее кресло, а сам садился напротив. В позолоченном канделябре горела свеча. Тут же, рядом, раскрашивала картинки Берта.

Шарль, глубоко несчастный, страдал еще и оттого, что она так бедно одета, что башмачки у нее без шнурков, что кофточки рваные, — служанка о ней не заботилась. Но девочка была тихая, милая, она грациозно наклоняла головку, на ее розовые щеки падали белокурые пряди пушистых волос, и, глядя на нее, отец испытывал несказанное наслаждение, радость, насквозь пропитанную горечью, — так плохое вино отдает смолой. Он

чинил ей игрушки, вырезал из картона паяцев, зашивал ее куклам прорванные животы. Но если на глаза ему попадалась рабочая шкатулка, валявшаяся где-нибудь лента или хотя бы застрявшая в щели стола булавка, он внезапно задумывался, и в такие минуты у него был до того печальный вид, что и девочка невольно делила с ним его печаль.

Теперь никто у него не бывал. Жюстен сбежал в Руан и поступил мальчиком в бакалейную лавку, дети фармацевта приходили к Берте все реже и реже, — г-н Оме, приняв во внимание, что Берта им уже не ровня, не поощрял этой дружбы.

Слепого он так и не вылечил своей мазью, и тот, вернувшись на гору Буа-Гильом, рассказывал всем путешественникам о неудачной попытке фармацевта, так что Оме, когда ехал в Руан, прятался от него за занавесками дилижанса. Он ненавидел слепого. Для спасения своей репутации он поставил себе задачу устранить его любой ценой и повел исподтишка против него кампанию, в которой ясно обозначились все хитроумие аптекаря и та подлость, до которой доходило его тщеславие. На протяжении полугода в «Руанском светоче» печатались такого рода заметки:

«Все, кто держит путь в хлебородные области

Пикардии, наверное, видели на горе Буа-Гильом несчастного калеку с ужасной язвой на лице. Он ко всем пристает, всем надоедает, собирает с путешественников самую настоящую дань. Неужели у нас все еще длится мрачное средневековье, когда бродяги могли беспрепятственно заражать общественные места принесенными из крестовых походов проказой и золотухой?»

Или:

«Несмотря па законы против бродяжничества, окрестности наших больших городов все еще наводнены шапками нищих. Некоторые из них скитаются в одиночку, и это, быть может, как раз наиболее опасные. И куда только смотрят наши эдилы?»

Иногда Оме выдумывал целые происшествия:

«Вчера на горе Буа-Гильом пугливая лошадь...»

За этим следовал рассказ о том, как из-за слепого произошел несчастный случай.

В конце концов фармацевт добился, что слепого арестовали. Впрочем, его скоро выпустили. Нищий взялся за свое, Оме — за свое. Это была ожесточенная борьба. Победил в ней фармацевт: его противника приговорили к пожизненному заключению в богадельне.

Успех окрылил фармацевта. С тех пор, если

только он узнавал, что в его округе задавили собаку, сгорел сарай, избили женщину, то, движимый любовью к прогрессу и ненавистью к попам, он немедленно доводил это до всеобщего сведения. Он рассуждал о преимуществах учеников начальной школы перед братьями-игнорантинцами; в связи с каждой сотней франков, пожертвованной на церковь, напоминал о Варфоломеевской ночи; раскрывал злоупотребления, пускал шпильки. Оме подкапывался; он становился опасен.

И тем не менее ему было тесно в узких рамках журналистики — его подмывало выпустить в свет книгу, целый труд! И он написал «Общие статистические сведения об Ионвильском кантоне, с приложением климатологических наблюдений», а затем от статистики перешел к философии. Он заинтересовался вопросами чрезвычайной важности: социальной проблемой, распространением нравственности среди неимущих классов, рыбоводством, каучуком, железными дорогами и пр. Дело дошло до того, что он устыдился своих мещанских манер. Он попытался усвоить «артистический пошиб», он даже начал курить! Для своей гостиной он приобрел две «шикарные» статуэтки в стиле Помпадур.

Но он не забывал и аптеку. Напротив: он был в курсе всех новейших открытий. Он следил за стремительным ростом шоколадного производства. Он первый ввел в департаменте Нижней Сены «шо-ка» и реваленцию. Он сделался ярым сторонником гидроэлектрических цепей Пульвермахера. Он сам носил такие цепи. По вечерам, когда он снимал свой фланелевый жилет, г-жу Оме всякий раз ослепляла обвивавшая ее мужа золотая спираль; в такие минуты этот мужчина, облаченный в доспехи, точно скиф, весь сверкающий, точно маг, вызывал в ней особый прилив страсти.

У фармацевта были замечательные проекты памятника Эмме. Сначала он предложил обломок колонны с драпировкой, потом — пирамиду, потом — храм Весты, нечто вроде ротонды... или же «груду руин». И в каждом его проекте неизменно фигурировала плакучая ива в качестве неизбежной, с его точки зрения, эмблемы печали.

Он отправился с Шарлем в Руан и там, захватив с собой художника, друга Бриду, некоего Вофрилара, так и сыпавшего каламбурами, пошел посмотреть памятники в мастерской надгробий. Ознакомившись с сотней проектов, заказав смету и потом еще раз съездив в Руан, Шарль в конце

концов выбрал мавзолей, на котором и спереди и сзади должен был красоваться «гений с угасшим факелом».

Что касается надписи, то фармацевту больше всего нравилось: «Sta, viator»[16], но дальше дело у него не шло. Он долго напрягал воображение, без конца повторял: «Sta, viator»... Наконец его осенило: «Amabilem conjugem calcas!»[17] И это было одобрено.

Странно, что Бовари, постоянно думая об Эмме, тем не менее забывал ее. Он с ужасом видел, что, несмотря на все его усилия, образ ее расплывается. Но снилась она ему каждую ночь. Это был всегда один и тот же сон: он приближался к ней, хотел обнять, но она рассыпалась у него в руках.

Целую неделю он каждый вечер ходил в церковь. Аббат Бурнизьен на первых порах раза два навестил его, а потом перестал бывать. Между прочим, по словам фармацевта, старик сделался нетерпимым фанатиком, обличал дух века сего и раз в две недели, обращаясь к прихожанам с проповедью, неукоснительно рассказывал о том, как Вольтер, умирая, пожирал собственные ис-

---

[16] Примечания: 16
Стой, путник (лат.).

[17] Примечания: 17
Стой, путник, ты попираешь [останки] любимой жены (лат.).

пражнения, что, мол, известно всем и каждому.

Бовари урезал себя во всем, но так и не погасил своих старых долгов. Лере не пошел на переписку векселей. Над Шарлем вновь нависла угроза аукциона. Тогда он обратился к матери. Та написала ему, что позволяет заложить ее имение, но не преминула отвести душу по поводу Эммы. В награду за свое самопожертвование она просила у него шаль, уцелевшую от разграбления, которое учинила Фелисите. Шарль отказал. Они рассорились.

Первый шаг к примирению был сделан ею — она написала, что хотела бы взять к себе девочку, что уж очень ей одиноко. Шарль согласился. Но в самый момент расставания у него не хватило духу. За этим последовал полный и уже окончательный разрыв.

Вокруг Шарля никого не осталось, и тем сильнее привязался он к своей девочке. Вид ее внушал ему, однако, тревогу: она покашливала, на щеках у нее выступали красные пятна.

А напротив благоденствовала цветущая, жизнерадостная семья фармацевта, которому везло решительно во всем. Наполеон помогал ему в лаборатории, Аталия вышивала ему феску, Ирма вырезала из бумаги кружочки, чтобы накрывать

банки с вареньем, Франклин отвечал без запинки таблицу умножения. Аптекарь был счастливейшим отцом, удачливейшим человеком.

Впрочем, не совсем! Он был снедаем честолюбием: ему хотелось получить крестик. Основания у него для этого были следующие:

Во-первых, во время холеры он трудился не за страх, а за совесть; во-вторых, он напечатал, и притом за свой счет, ряд трудов, имеющих общественное значение, как, например... (тут он припоминал свою работу: «Сидр, его производство и его действие», затем посланный в Академию наук отчет о своих наблюдениях над шерстоносной травяной вошью, затем свой статистический труд и даже свою университетскую диссертацию на фармацевтическую тему). А кроме того, он являлся членом нескольких ученых обществ! (На самом деле — только одного.)

— Наконец, — несколько неожиданно заключал он, — я бываю незаменим на пожарах!

Из этих соображений он переметнулся на сторону власти. Во время выборов он тайно оказал префекту важные услуги. Словом, он продался, он себя растлил. Он даже подал на высочайшее имя прошение, в котором умолял «обратить внимание на его заслуги», называл государя «наш

добрый король» и сравнивал его с Генрихом IV.

Каждое утро аптекарь набрасывался на газету — нет ли сообщения о том, что он награжден, но сообщения все не было. Наконец он не выдержал и устроил у себя в саду клумбу в виде орденской звезды, причем от ее вершины шли две узенькие полоски травы, как бы напоминавшие ленту. Фармацевт, скрестив руки, разгуливал вокруг клумбы и думал о бездарности правительства и о человеческой неблагодарности.

Шарль, то ли из уважения к памяти жены, то ли потому, что медлительность обследования доставляла ему некое чувственное наслаждение, все еще не открывал потайного ящика того палисандрового стола, на котором Эмма обычно писала. Наконец однажды он подсел к столу, повернул ключ и нажал пружину. Там лежали все письма Леона. Теперь уже никаких сомнений быть не могло! Он прочитал всё до последней строчки, обыскал все уголки, все шкафы, все ящики, смотрел за обоями; он неистовствовал, он безумствовал, он рыдал, он вопил. Случайно он наткнулся на какую-то коробку и ногой вышиб у нее дно. Оттуда вылетел портрет Родольфа и высыпался ворох любовных писем.

Его отчаяние всем бросалось в глаза. Он целыми

днями сидел дома, никого не принимал, не ходил даже на вызов к больным. И в городе пришли к заключению, что он «пьет горькую».

Все же иной раз кто-нибудь из любопытных заглядывал через изгородь в сад и с удивлением наблюдал за опустившимся, обросшим, неопрятным человеком, который бродил по дорожкам и плакал навзрыд.

В летние вечера он брал с собой дочку и шел на кладбище. Возвращались они поздно, когда на всей площади было освещено только одно окошечко у Бине.

Однако он еще не вполне насладился своим горем — ему не с кем было поделиться. Изредка он захаживал к тетушке Лефрансуа только для того, чтобы поговорить о ней. Но трактирщица в одно ухо впускала, в другое выпускала — у нее были свои невзгоды: Лере наконец открыл заезжий двор «Любимцы коммерции», а Ивер, который славился как отличный исполнитель любых поручений, требовал прибавки и все грозил перейти к «конкуренту».

Как-то раз Бовари отправился в Аргейль на базар продавать лошадь, — больше ему продавать было нечего, — и встретил там Родольфа.

Увидев друг друга, оба побледнели. После смер-

ти Эммы Родольф прислал только свою визитную карточку, и теперь он пробормотал что-то в свое оправдание, но потом обнаглел до того, что даже пригласил Шарля (был жаркий августовский день) распить в кабачке бутылку пива.

Он сидел напротив Шарля и, облокотившись на стол, жевал сигару и болтал, а Шарль, глядя ему в лицо, упорно думал, что это вот и есть тот самый человек, которого она любила. И казалось Шарлю, будто что-то от Эммы передалось Родольфу. В этом было какое-то колдовство. Шарлю хотелось сейчас быть этим человеком.

Родольф говорил о земледелии, о скотоводстве, об удобрениях, затыкая общими фразами все щели, в которые мог проскочить малейший намек. Шарль не слушал. Родольф видел это и наблюдал, как на лице Шарля отражаются воспоминания: щеки у него багровели, ноздри раздувались, губы дрожали. Была даже минута, когда Шарль такими жуткими глазами посмотрел на Родольфа, что у того промелькнуло нечто похожее на испуг, и он смолк. Но мгновение спустя черты Шарля вновь приняли то же выражение угрюмой пришибленности.

— Я на вас не сержусь, — сказал он.

Родольф окаменел. А Шарль, обхватив голо-

ву руками, повторил слабым голосом, голосом человека, свыкшегося со своей безысходной душевной болью:

— Нет, я на вас больше не сержусь!

И тут он первый раз в жизни прибегнул к высокому слогу:

— Это игра судьбы!

Родольф сам руководил этой игрой, и сейчас он думал о Бовари, думал о том, что нельзя быть таким благодушным в его положении, что он смешон и даже отчасти гадок.

На другой день Шарль вышел в сад и сел на скамейку в беседке. Через решетку пробивались солнечные лучи, на песке вычерчивали свою тень листья дикого винограда, благоухал жасмин, небо было безоблачно, вокруг цветущих лилий гудели шпанские мухи, и Шарль задыхался, как юноша, от невнятного прилива любви, переполнявшей его тоскующую душу.

В семь часов пришла звать его обедать дочка. Она не виделась с ним целый день.

Голова у него была запрокинута, веки опущены, рот открыт, в руках он держал длинную прядь черных волос.

— Папа, иди обедать! — сказала девочка.

Думая, что он шутит, она тихонько толкнула

его. Он рухнул наземь. Он был мертв.

Через полтора суток приехал по просьбе аптекаря г-н Каниве. Он вскрыл труп и никакого заболевания не обнаружил.

После распродажи имущества осталось двенадцать франков семьдесят пять сантимов, которых мадемуазель Бовари хватило на то, чтобы доехать до бабушки. Старуха умерла в том же году, дедушку Руо разбил паралич. — Берту взяла к себе тетка. Она очень нуждается, так что девочке пришлось поступить на прядильную фабрику.

После смерти Бовари в Ионвиле сменилось уже три врача — их всех забил г-н Оме. Пациентов у него тьма. Власти смотрят на него сквозь пальцы, общественное мнение покрывает его.

Недавно он получил орден Почетного легиона.

Примечания

В 1851 г., вернувшись в Круассе из своего двухлетнего путешествия на Восток, Флобер привез — вместе с экзотическими восточными сувенирами — намерение писать о современной французской жизни и вполне оформившийся замысел романа «Госпожа Бовари». Работа над романом продолжалась с сентября 1851 г. по апрель 1856 г. Это были четыре с половиной года медленного, тяжелого, кропотливого труда. Сюжет, построенный на перипетиях мещанского адюльтера, казался Флоберу достойным презрения, но это была сама жизнь, и он поставил перед собой цель — воспроизвести ее как можно объективнее. В объективности, или в «безличности», Флобер видел важнейший признак того идеала прозы, к которому он стремился в своем творчестве.

31 мая 1856 г. Флобер отправляет рукопись романа в «Ревю де Пари» (»Revue de Paris»), и с 1 октября по 15 декабря «Госпожа Бовари» выходит по частям в шести номерах этого журнала. В тексте романа были сделаны купюры помимо воли Флобера, что вызвало его негодование и протест,

опубликованный в том же журнале за 15 декабря 1856 г. Одновременно роман печатается в Руане, в «Нувеллист до Руан» («Nouvelliste de Rouen») с 9 ноября 1856 г.; но уже с 14 декабря этот журнал перестает публиковать обещанное «продолжение в следующем номере», так как возмущенные отклики многих читателей заставляют опасаться неприятностей. Эта предосторожность руанского журнала спасла его от судебного процесса, который предстоял Флоберу и издателям «Ревю де Пари». Либеральный журнал «Ревю де Пари» давно вызывал неудовольствие властей, и публикация в нем такого произведения, как «Госпожа Бовари», была прекрасным поводом к репрессиям.

Суд над Флобером, издателями и типографом продолжался с 31 января по 7 февраля 1857 г. Флоберу было предъявлено обвинение в безнравственности, в «реализме», то есть отсутствии положительного идеала, и «откровенности», угрожающей общественной морали. Тем не менее суд закончился оправданием Флобера и его «сообщников», и через два месяца роман вышел отдельным изданием в двух томах, с посвящением Мари-Антуану-Жюлю Сенару, адвокату, выступавшему защитником по делу «Госпожи

Бовари».

Право на издание романа в течение пяти лет получил издатель Мишель Леви по договору, подписанному с Флобером еще 24 декабря 1856 г. (В 1863 г. эти права издателя были продлены еще на десять лет.) М. Леви был известным и преуспевающим парижским издателем. Он выпустил в свет многие произведения современников — Бальзака, Стендаля, Ж. Санд, Ламартина, Готье, Э. Сю, Ж. де Нерваля, Диккенса, Гейне и других, благодаря которым немало обогатился. Его коммерческое чутье подсказало ему, что договор с Флобером тоже может быть для него выгодным, хотя Флобер до появления «Госпожи Бовари» был фактически не известен публике. Леви не ошибся. Первый же тираж, поступивший в продажу 15 апреля 1857 г., разошелся настолько быстро, что в 1856—1857 гг. издатель выпускает несколько дополнительных тиражей, а затем в 1862, 1866 и 1868 гг. он вновь переиздает «Госпожу Бовари». Флобер, участвовавший в договоре на правах начинающего автора и к тому же считавший, что заботы о материальном успехе недостойны настоящего художника, получил от издателя ничтожную сумму, которой изумляются почти все исследователи его творчества.

При жизни Флобера роман «Госпожа Бовари» издавался во Франции еще три раза: в 1873 г. (издатель Жорж Шарпантье) и в 1874 и 1878 гг. (издатель Альфонс Лемер). В издании 1873 г. в качестве приложения к тексту романа публикуются материалы судебного процесса по делу «Госпожи Бовари»: речи прокурора и защитника и постановление суда. С тех пор они множество раз воспроизводились вместе с новыми переизданиями романа.

Бурным дебатам французской критики вокруг романа Флобера положила начало статья Ш.—О. Сент-Бева, опубликованная в газете «Монитер» («Moniteur») от 4 мая 1857 г. и содержавшая подробный и в целом благожелательный анализ романа. Сент-Бев был в это время самым авторитетным критиком, но в полемике по поводу «Госпожи Бовари» у него появилось много оппонентов, враждебно принявших роман и повторявших все обвинения против Флобера, которые, казалось, были сняты с него официальным постановлением суда. Среди критических выступлений, приветствовавших «Госпожу Бовари» как выдающееся произведение литературы, больше всего по душе Флоберу пришлась статья Ш. Бодлера, так как в ней Флобер почувствовал

настоящее и глубокое понимание его романа. Через несколько лет Э. Золя в одной из своих статей о Флобере, вошедших в сборник «Романисты-натуралисты», скажет, как бы подводя итог этой дискуссии: «Появление романа Гюстава Флобера „Госпожа Бовари“ ознаменовало новую эпоху в литературе».

Один из вопросов, который возник в момент опубликования «Госпожи Бовари» и увлекает французских литературоведов до сих пор, это вопрос о прототипах романа. Об этом написано много книг и статей, строятся разные версии, догадки и домыслы. Максим Дюкан, современник и друг Флобера, утверждавший в своих «Воспоминаниях», что именно он подсказал Флоберу замысел романа, указывает на семью Деламар из городка Ри как на «подлинных» Шарля и Эмму Бовари. По новой версии, которая принадлежит Ж. Помье и Г. Леле, в романе воспроизведена история некой г-жи Прадье, жены скульптора[18]. Сам же Флобер отрицал как существование конкретных прототипов романа, так и его узко автобиографические источники. «Госпожа Бовари» — чистый вымысел. Все персонажи этой книги целиком

[18] Примечания: 18

G. Leleu et J. Pommier, Du nouveau sur «Madame Bovary», Revue d'histoire litteraire de la France, 1947.

вымышлены, и даже Ионвиль-л'Аббей — место несуществующее», читаем мы в переписке Флобера, «То. что рассказано в „Госпоже Бовари“, никогда не случалось в действительности. Это история целиком вымышленная. Я не изображал в ней ни моих чувств, ни моей жизни». История Эммы Бовари, характеры и роль других персонажей романа, весь сюжет в целом вымышлены Флобером на основе обобщения всего виденного и пережитого им, всех его наблюдений над окружающими нравами в Париже и Руане, над разными людьми, знакомыми и близкими.

Уже при жизни Флобера к нему обращались с просьбой о сценической переработке романа. Флобер отвечал неизменным отказом, он не разрешил переработку даже знаменитому писателю, карикатуристу и актеру Анри Монье, так как считал, что роман невозможно переделать в пьесу без искажающих сокращений, без ущерба для произведения. После смерти Флобера «Госпожа Бовари» была поставлена на сцене, впервые в 1908 г. в Руане, но не имела успеха. В 1936 г. осуществляется новая постановка в Париже, в театре Монпарнас, а в 1951 г, «Госпожа Бовари» появляется в Комической опере в виде музыкальной драмы на музыку Э. Бондевиля. В 1934 г. на

сюжет романа создается фильм режиссером Ж. Ренуаром.

Появление «Госпожи Бовари» тотчас же было замечено в России. В 1857 г. журнал «Современник» в разделе «Заграничные известия» сообщает о публикации этого романа в «Ревю де Пари». Правда, имя Флобера ставится в число писателей, у которых «заметны благородные стремления, но они не отличаются большими дарованиями». «Русский вестник» в июле 1857 г. подробно излагает содержание романа и приходит к выводу о неблагополучии и нравственном крахе французского общества. В «Отечественных записках» в этом же году дважды (№№ 5 и 7) появляются материалы, посвященные «Госпоже Бовари». Правда, обозреватель К. Штахель утверждает, что «г. Флобер — дилетант», что роман его «плох», а успех романа объясняет главным образом как следствие судебного процесса против Флобера и «Ревю де Пари». В 1859 г. на страницах «Отечественных записок» (№ 3) роман Флобера встречает уже более глубокое понимание, более серьезную и заслуженную оценку: «Роман этот действительно прекрасен: никто еще из французских писателей, кроме разве одного Рабле, не предлагал нам такого естественного произведения в целом и в

подробностях, как г. Флобер... Французская критика и французское общество недостаточно еще оценили его произведение». «Вестник Европы» (1870, № 1) в подтверждение своей высокой оценки творчества Флобера цитирует слова Тургенева из предисловия к роману М. Дюкана «Утраченные силы». «Госпожа Бовари», — бесспорно, самое замечательное произведение новейшей французской школы».

Первый русский перевод «Госпожи Бовари» появился уже в 1858 г. в «Библиотеке для чтения». В 1881 г. этот журнал публикует новый перевод романа. В 1881 г. выходит и отдельное издание «Госпожи Бовари» с приложением материалов парижского судебного процесса 1857 г. С тех пор «Госпожа Бовари» переиздается множество раз — в собраниях сочинений Флобера и отдельно.

В 1928 и в 1937 гг. появляются инсценировки романа, в 1940 г. «Госпожа Бовари» ставится на сцене Камерного театра, а в 1964 г. в Малом театре по роману Флобера создается спектакль «Провинциальные нравы».

Т. Соколова

* * *

Стр. 26. *Луи Буйле*(1828—1869) — поэт и драматург, друг Флобера.

Стр. 29. *Вот я вас!*— В 1 песни «Энеиды» Вергилия с этой угрозой обращался к разбушевавшимся ветрам бог моря Нептун.

Стр. 32. ...*растрепанный том «Анахарсиса»*... — Имеется в виду, роман французского археолога аббата Жан-Жака Бартелеми (1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию», где даются картины жизни греков IV в. до н. э., которые наблюдает скифский философ Анахарсис; книга служила школьным чтением.

Стр. 37. ...*гордость кошских птичников.* — Ко — обширное плато в Северной Нормандии.

Стр. 38. ...*лучше дьеппской слоновой кости*.... — Город Дьепп в северо-западной Франции славился производством токарных изделий из слоновой кости, дерева, рога.

Стр. 40. *Урсулинки*, — члены женского монашеского ордена святой Урсулы, основанного в XVI в.; занимались воспитанием девушек, главным образом дворянского происхождения.

Стр. 42. ...*увидишь на ветке крота*... — В Нормандии был охотничий обычай вешать убитых

кротов на деревьях.

Стр. 53. *...она прочла «Поля и Виргинию»...* — «Поль и Виргиния» (1787) — роман французского писателя Бернардена до Сен-Пьера (1737—1814), где изображена идиллическая любовь юных героев на фоне экзотической природы тропического острова.

...сцены из жизни мадемуазель де Лавальер. — Лавальер Франсуаза-Луиза (1644—1710), герцогиня, любовница Людовика XIV; когда король к ней охладел, в 1674 г. удалилась в монастырь, где и умерла.

Стр. 54. *«Беседы» аббата Фрейсину.* — Фрейсину Дени (1765—1841) — церковный проповедник, при Реставрации был министром культов. В 1825 г. опубликовал пять томов своих проповедей под названием «Беседы».

«Дух Христианства»— сочинение французского писателя Франсуа-Рене де Шатобриана (1768—1848), восхваляющее католицизм.

Стр. 55. *...обожала всех прославленных и несчастных женщин.* — Далее следуют имена персонажей, известных во Франции по школьным учебникам истории: Элоиза — девушка, которую любил французский теолог и философ Абеляр (XII в.), рассказавший о ней в трагической «Истории

моих бедствий»; ее имя стало нарицательным для несчастной влюбленной. *Агнеса Сорель*(1422—1450) — возлюбленная французского короля Карла VII. *Ферроньера*по прозвищу Прекрасная — любовница короля Франциска I (1515—1547). *Клеманс Изор*(род. ок. 1450 г.) — французская дама из знатного рода, возобновившая в Тулузе традиционные литературные состязания, которые были в обычае веком раньше; поэты, выступавшие на них, по большей части воспевали предмет своей любви — прекрасную даму.

...Людовик Святой под дубом... — Французский король Людовик IX (1226—1270), прозванный Святым за участие в крестовых походах, по средневековому обычаю, вершил суд, сидя под дубом в своей резиденции — Венсеннском замке близ Парижа.

...умирающий Баярд... — Баярд (Пьер дю Терайль, 1473—1524) — прославленный французский полководец, прозванный «рыцарем без страха и упрека»; умер от раны на поле боя.

...зверства Людовика XI... — Имеется в виду беспощадная борьба французского короля Людовика XI (1461—1483) против крупных феодалов, за укрепление центральной королевской власти.

...сцены из Варфоломеевской ночи... — то есть

сцены избиения протестантов (гугенотов) в Париже, в ночь на 24 августа 1572 г.

...султан на шляпе Беарнца... — Беарнец — прозвище французского короля (1588—1610) Генриха IV, который был родом из провинции Беарн, близ Пиренеев.

Кипсеки— роскошно изданные книги (или альбомы), состоящие в основном из иллюстраций.

Стр. 57. *...попалась в сети к Ламартину...* — Альфонс де Ламартин (1790—1869) — французский поэт, автор меланхолических стихов, где поется об утраченной любви, о недостижимом идеале, рисуются унылые романтические пейзажи.

Стр. 59. *...раскатывает... хлебные шарики.* — Хлебные шарики в XIX в. употреблялись для стирания карандаша.

Стр. 62. *Джали.* — Романтическое имя, которое Эмма дала своей собачонке, навеяно романом В. Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831); так зовут дрессированную козочку цыганки Эсмеральды.

Стр. 65. *Граф д'Артуа*(1757—1836) — брат казненного во время революции Людовика XVI; возглавлял монархическую эмиграцию; в 1824 г. сел на французский престол под именем Карла X и был свергнут революцией 1830 г.

Стр. 72. *«Майоран»*— популярная народная песенка.

Стр. 83. *...галльский петух... опирается на Хартию...* — Имеется в виду ублюдочная «Конституционная хартия Франции», «дарованная» стране Людовиком XVIII в 1814 г. и измененная в более либеральном духе после Июльской революции 1830 г.

Стр. 87. *Символ веры савойского викария*— эпизод из педагогического романа Жан-Жака Руссо «Эмиль» (1862), где провозглашается религия, основанная только на внутреннем чувстве и созерцании природы.

Стр. 95. *...закона от 19 вентоза XI года Республики...* — то есть закона, изданного в период революции конца XVIII в. (по республиканскому календарю — вентоз, «месяц ветров» — последний зимний месяц).

Стр. 97. *...дань... шедевру французской сцены.* — Имя Аталия взято из одноименной трагедии Расина (1791).

Стр. 98. *«Бог честных людей»*— песенка Беранже.

...цитатой из «Войны богов». — Имеется в виду поэма Эвариста Парни (1753—1814) под таким названием; пародировала Библию.

Стр. 100. *...валялся «Матвей Лансберг»*. — Имеется в виду «Льежский альманах», составленный в начале XVII в. каноником из Льежа Матвеем Лансбергом, — источник бессмысленных суеверий; пользовался широкой известностью среди французских крестьян.

Стр. 104—105. *«Иллюстрация»*(«l'Illustration») — парижский иллюстрированный еженедельник, основанный в 1843 г. с целью освещать все стороны современной жизни.

Стр. 111. *...вретишницу из «Собора Парижской богоматери»*. — Имеется в виду мать Эсмеральды из романа Гюго; вретишницы — монахини нищенствующего ордена, в знак смирения облекавшиеся во вретище (мешок из дерюги).

Стр. 133. *Помология*— наука о сортах плодовых растений.

Стр. 145. *...о Цинциннате за плугом, о Диоклетиане, сажающем капусту...* — Цинциннат Луций Квинкций (V в. до н.э.) — выдающийся римский полководец и государственный деятель; в частной жизни отличался необычайной скромностью и простотой, сам обрабатывал землю. Диоклетиан Гай Аврелий Валерий — один из самых могущественных римских императоров (284—305); отрекшись от власти, последние восемь лет

жизни провел в своем поместье.

Стр. 167. ...*книгу доктора Дюваля*... — Имеется в виду труд французского хирурга-ортопедиста Венсена Дюваля (1796—1820), вышедший в 1839 г. под названием «Рассуждение о практике лечения искривленной стопы».

Стр. 169. *Амбруаз Паре*(1517—1590) — ученый медик, служивший при королевском дворе. Упомянутые ниже *Дюпюитрен*Гильом (1777—1835), хирург, основатель парижского музея патологической анатомии, и *Жансуль*Жозеф (1797—1858), блестящий хирург, работавший в Лионской больнице для бедных, — выдающиеся представители французской медицины XIX в.

Стр. 182. ...*точно герцог Кларенс в бочке с мальвазией*... — Брат английского короля Эдуарда IV герцог Георг Кларенс (1448—1478) был приговорен к казни за предательство; избрал смерть в бочке со сладким вином — мальвазией.

Стр. 191. ...*словно под сенью манчениллы*... — Плоды дерева манчениллы содержат ядовитый сок. Существовало поверье, будто человек, уснувший в тени манчениллы, умирает.

Стр. 201. ...*в духе г-на де Местра*... — Жозеф до Местр (1753—1821) — французский писатель, ярый защитник монархии и светской власти

папы.

Стр. 207. *«Лючия де Ламермур»*(1835) — опера Доницетти на сюжет романа Вальтера Скотта «Ламермурская невеста».

Стр. 208. *...раздались три удара...* — Во французском театре о начале спектакля возвещает не звонок, а удары в пол сцены.

Стр. 215. *«Хижина»*— увеселительное заведение в Париже, открытое в 1787 г. — место публичных балов; особенно процветала в годы царствования Луи-Филиппа.

Стр. 219. *«Нельская башня»*— романтическая драма Александра Дюма-отца и Гайярде, поставленная в 1832 г. на сцене театра Порт-Сен-Мартен.

Стр. 222. *...под «Пляшущей Мариам»...* — По Библии, Мариам — старшая сестра пророка Моисея; руководила народными празднествами и сама плясала с тимпаном в руке (»Исход», гл. 15, ст. 20).

Стр. 224. *Диана де Пуатье*(1498—1566) — прославленная красавица, возлюбленная французского короля Генриха II.

Стр. 257. *Да пошлите вы к черту своих Куяциев и Бартолов!*— Имеются в виду знаменитый французский юрист Жак Кюжас (латинская форма

Куяций, 1522—1590) и один из крупнейших юристов средневековья итальянец Бартоло да Сассо Феррато (1314—1357).

Стр. 275. *...«Эсмеральда» Штейбена и «Жена Потифара» Шопена.* — Имеются в виду репродукции с картин немецких художников Карла Вильгельма Штейбена (1788—1856) и Генриха Фридриха Шопена (1801—1880). Жена Потифара, по Библии, пыталась соблазнить Иосифа Прекрасного («Бытие», гл. 39).

Стр. 279. *...сражался за родину под Баутценом и Лютценом...* — Баутцен и Лютцен — города в Саксонии, близ которых в 1813 г. произошли два больших сражения между армией Наполеона I и союзными русско-прусскими войсками.

Стр. 290. *Биша*Ксавье (1771—1802) — французский врач, анатом и физиолог; автор «Всеобщей анатомии».

Стр.292. *Каде де Гасикур*Луи-Клод (1731—1799) — французский фармацевт и химик.

Стр. 298. *Прочтите «Энциклопедию»... «Письма португальских евреев»... «Сущность христианства»...* — «Энциклопедия» (тридцать пять томов, 1751—1780) — издание, осуществленное под руководством Дени Дидро и Жан-Луи Даламбера, привлекших к сотрудничеству все передовые

умы своего времени; крупнейший памятник просветительской мысли XVIII в. «Письма португальских, немецких, польских евреев к г-ну де Вольтеру» (1769) — сочинение аббата Поля-Александра Гене, отстаивающее истинность библейских преданий. «Сущность христианства» (вероятно, «Философские этюды о христианстве», 1842—1845) — главный труд французского судейского чиновника и католического писателя Жан-Жака Огюста Никола (1807—1888).

Стр. 309. *Эдилы*— в древнем Риме выборные чиновники, наблюдавшие за порядком в городе.

Стр. 310. *Братья-игнорантинцы*— (то есть «невежественные») — члены монашеского ордена святого Иоганна; орден проповедовал смирение, ставил своей целью филантропическую помощь беднякам.

М. Эйхенгольц